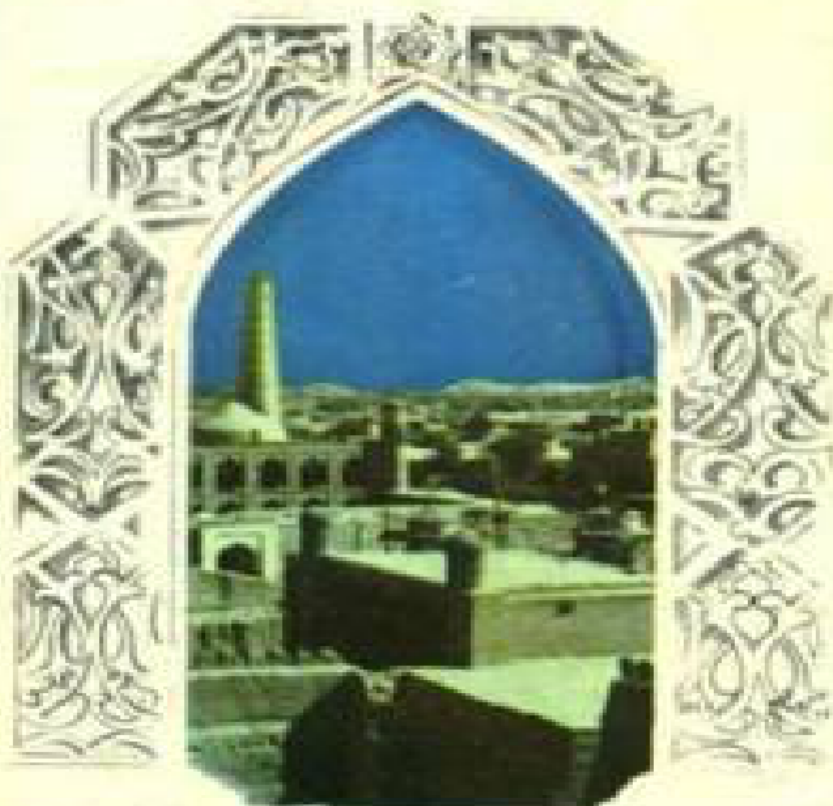




ВИКТОР ВИТКОВИЧ
КРУГИ ЖИЗНИ



SHOUT **IT**
SHARE



Annotation

Виктор Виткович (1908–1983) — автор нескольких книг и сценариев фильмов "Насреддин в Бухаре", "Волшебная лампа Аладдина", «Авиценна», "Сампо" и др. В своей последней книге он вспоминает о своем беспризорном детстве, описывает встречи с известными поэтами и режиссерами (Есенин, Маяковский, Мандельштам, Протазанов, Довженко и т. д.), рассказывает об интересных обычаях и преданиях народов Средней Азии, где ему довелось много путешествовать.

- **Круги жизни**

- ☐ ○
- ☐ ○ Караван Арсланова
- ☐ ○ Сторож Сарезского озера
- ☐ ○ Гап
- ☐ ○ Летаргия
- ☐ ○ Продавщица груш
- ☐ ○ Испытание стихией
- ☐ ○ Все краски жизни
- ☐ ○ Одесса! Одесса!.
- ☐ ○ Ошибка Сергея Эйзенштейна
- ☐ ○ Беспризорник
- ☐ ○ Ненаписанный сюжет
- ☐ ○ «Сахбо»
- ☐ ○ С тобой и султаном Бабуром...
- ☐ ○ Смерть поэта
- ☐ ○ Калиф на час
- ☐ ○ Солнышко
- ☐ ○ Гордыня
- ☐ ○ Калейдоскоп памяти
- ☐ ○ Есенин в Баку
- ☐ ○ «Многогранник»
- ☐ ○ Черная страница
- ☐ ○ Чуть-чуть о Маяковском
- ☐ ○ Человек и конь
- ☐ ○ Смерть птицы
- ☐ ○ Магия искусства
- ☐ ○ Горсть серебра
- ☐ ○ Звери «того, кто ходит ночью»
- ☐ ○ Зверь или человек?
- ☐ ○ Жалость
- ☐ ○ Древо познания

- ☐ Акын
- ☐ В гостях у Токтогула
- ☐ Прыжок с автобуса
- ☐ Подарок поэта
- ☐ Ромео и Джульетта Пишпекского уезда
- ☐ Друг юности
- ☐ Кабинет греческого посланника
- ☐ С рюкзаком за плечами
- ☐ Закаморный
- ☐ Корыто и сюрреализм
- ☐ «Слеза»
- ☐ Укротитель джиннов
- ☐ Н. Тихонов — не за столом
- ☐ Шутка судьбы
- ☐ «Отчаянный тигр»
- ☐ Поэт милостью...
- ☐ Встреча с Фучиком
- ☐ Правда светлее солнца
- ☐ Тень птицы
- ☐ Бабочка в трамвае
- ☐ Два случая с Зайчиковым
- ☐ «Насреддин в Бухаре»
- ☐ Севастопольский комендант
- ☐ С любимыми не расставайтесь...
- ☐ Золотая рыбка
- ☐ Смерть седьмого искусства
- ☐ Моя встреча с Биби-ханым
- ☐ Счастливый день
- ☐ Шейх
- ☐ Прадед Иван и два послесловия
- ☐ Рассказ с неожиданным концом
- ☐ Коробочка
- ☐ Крик ишака
- ☐ Святое искусство
- ☐ Карьера Фроси Ковалевой
- ☐ Избранный однотомика
- Роман о Гарибе и Шасенем
- ☐

Круги жизни

Повесть в письмах

*Пойми значение
сменяющихся дней.
Чем ты внимательней,
тем речи их слышней.*

Абу-ль Аля аль-Маарри



Пока мы откладываем жизнь, она проходит. Среди прошедших дней у меня было немало таких, о которых хочется рассказать. Настал день, когда решил вернуть их, вспомнить и поехал в милый мне край. Сколько ни пробовал оторвать его от сердца — не могу; пробовал, потому что уводила жизнь, не могу, вероятно, потому что все там в меня вросло.

Порок многих путевых рассказов (и моих) в том, что они неизвестно к кому обращены: ко всем, а значит ни к кому. Автор представляет себе читателя как некое туманное пятно, и интонация его неразборчива — неизвестно, как разговаривать с туманным пятном, где улыбнется оно и способно ли вообще улыбаться. Когда же обращаешься к близкому человеку — тут уж знаешь до тонкости, как писать и о чем, как отзовется на каждое слово. И если книга интересна одному человеку, наверно, будет интересна если не всем, на всех никто не может рассчитывать, но многим.

Случилось так, что, когда уезжал, у меня появилась острая потребность заполнять письмами чужой досуг, Я стал писать с дороги, две задачи соединились в одну, и пачка писем превратилась в книгу рассказов.

6 апреля. Ташкент

Ну вот я и за тридевять земель. Огорчена? Вздохнула с облегчением? Если бы знал! Как ни странно, уехал легко. А казалось: никогда не смогу с тобой разлучиться!.. Видишь ли, люблю Среднюю Азию, как люди любят свое детство. Здешние краски, запахи сводят меня с ума, особенно сейчас, весной.

Ночью была зима. Автобус привез меня на аэродром, дул ледяной ветер, я был в летнем пальто — не ехать же в теплом? — и совершенно продрог. Среди кучки заснеженных, поднявших воротники москвичей стоял я возле самолета и, проклиная ветер, ждал, когда наконец подвезут трап.

Подумал: хорошо, что не провожаешь, чего доброго, простудилась бы... И укол в сердце: «Не проводила!»

Останавливаю себя: когда вспоминаю количество глупостей, за последние месяцы сказанных мною тебе, только чтобы не молчать о том, что у нас с тобой делается, прихожу в отчаяние. Теперь твердо решил: о том, что у нас с тобой, — помолчать. Тем более что и охоты говорить об этом сейчас нет.

Как ни странно, совершенно перестал думать о тебе в ту минуту, когда вошел в самолет и сел в кресло. Сказал себе: «Утром — весна!» Весна! И в памяти возникли стихи, что с юности привязывались в первый день каждого путешествия:

О, как сердце пьянит желанье странствий!
Как торопятся ноги в путь веселый!..

Милый Катулл! Перед этими двумя строками есть такая: «Мы к азийским летим столицам славным!» Сегодня она как нельзя кстати, мы действительно летим к азиатским столицам — для

начала в Ташкент! «О, как сердце пьянит желанье странствий...» Самолет набирает высоту. Второй час ночи. Летим в тучах. За круглым окошечком-иллюминатором чернота: ни небесных звезд, ни земных; на языке леденец, в груди счастливая дрожь путешествия. И что удивительно — тебя нет, просто нет, и все. Впрочем, еще Стендаль говорил, что в самой сильной и самой несчастной любви бывают минуты, когда человеку кажется, что он больше не любит. Размышляю об этом, никак не заснуть...

Наконец глаза стали слипаться, но тут стюардесса принесла яблочный сок. Ритуал!.. Вновь стал засыпать. Стюардесса опять разбудила: пора есть! Все развернули полиэтиленовые мешочки — извлекли вилки и ножи! Сок, салат, булочка, масло, потом принесли чай.

А за окном стало светлеть: в пепельно-голубом где-то далеко внизу родилось розовое озеро... Неземной пейзаж! Розовое озеро рассыпалось на розовые полосы, потом утонуло в голубом. Голубое светлело, светлело, пока не сделалось белым: летели в сплошной белизне. Минут за пятнадцать до посадки, совсем недалеко от Ташкента, увидел несколько крошечных домиков — селение в степи, и только тогда понял, что белое внизу — это снег. Какая поздняя весна! А белое наверху — облака.

Но облака раздернулись, сквозь их дымные края глянула голубизна неба. Снег внизу тоже разлезся на клочья, зазеленела степь. Мы пристегнули ремни, и, когда опять повернулись к окнам, уже от белого не осталось и следа. На нас наплывал Ташкент — близкие и далекие цепи деревьев, сутолока на шоссе и подъездных путях железных дорог; над крышами зданий, сверкавших на солнце, — заводские дымы. Здравствуй, Ташкент!

Промчался через город в такси. На окраине в садиках цветут вишни, цветут с яростной силой. Зелень на улицах еще робкая, некоторые деревья совсем голы, но путаница веток вся испятнана набухшими весенними почками. Кое-где цветет иудино дерево: густо посаженные, яркие сиреневые цветы, прижатые к самым ветвям, как на японских картинах. На углах в корзинах продавцов — тюльпаны, огненно-красные. Весна! Запоздавшая, но все же весна!

И вот Авиационный проезд, тупичок, калитка... Знаю, найду здесь приют при любых невзгодах, как и прежде, при Алексее. Нет хозяина, неистощимого в шутках; не встретит меня на пороге, не услышу возгласа «Виталий!», не обниму. Его Галя, излучающая доброту, осталась одна. Услышав звонок, она просовывает мне в окно ключ от калитки...

Сидим с нею на шипанге — открытой, почти на уровне крыши площадке, осененной старым урюковым деревом, — не

наговоримся. Потом Галя занялась хозяйством. А я устроился в садике и пишу тебе. За последнее время между мной и тобой выросло столько лишних слов, что о жизни мы как то разучились разговаривать. Не могу примириться с мыслью, что это конец. Мне кажется (можешь посмеяться над этим), что мы, в сущности, ни разу с тобой о жизни и не поговорили. Сперва понимали друг друга с полуслова и наслаждались этим, так что договаривать было ни к чему. Потом то в одном, то в другом не вполне сходились, и возникали обиды: «Ты меня не любишь, если я перестала (перестал) быть для себя совершенством».

Вспомнил строки ибн-Хазма на сей счет, не поленился, сходил в дом, разыскал на полке у Гали «Ожерелье голубки»:

«Мы видим, что когда влюбленные одинаково любят и их любовь крепко утвердилась, учащаются между ними беспричинные приступы гнева, и умышленное противоречие в словах, и нападки друг на друга из-за всякого малого дела, и каждый из них наблюдает за каждым словом, которое проронит другой, и толкует его не в том смысле, — все это для проверки, чтобы выяснить, что думает каждый из них о другом. Разница между этим и настоящей неприязнью — в быстроте прощения».

Тысячу лет назад сказано. Невольно приходит на ум: сколько нас было за эту тысячу лет! Почему же за такой срок мы ничему не научились? Почему каждый раз все сызнава?! И неужто надо уехать за три тысячи километров, чтобы суметь тебе рассказать обо всем интересном, что было в жизни?!

7 апреля. Ташкент

Сегодня с утра шестнадцать раз принимался идти дождь. Кто-то, не помню кто, сказал: «Слезы — высшая степень улыбки». Как все шестнадцать раз улыбалось солнце после дождя! Удивительная для Ташкента погода. Отоспавшись после ночи полета, решил утром пройтись по местам моего отрочества.

Сперва отправился на улицу Фрунзе, прежде Долинскую... Одноэтажные особнячки, садики, окна в белых решетках. Вдоль уличных арыков — ряды тополей, белой акации. Смешно! Привык быть с тобою рядом: шел, и моя рука то и дело рвалась куда-то в пустоту — помочь тебе перепрыгнуть арык или перейти улицу, а то и просто чтоб притронуться и привлечь твое внимание к чему-нибудь. Тебя нет, а я тебе говорю: «Смотри! Здесь я жил».

Вон там, в глубине двора, у того сарая мы с увлечением играли в «ножички»; ножик должен был воткнуться в землю,

выходя из замысловатых фигур. Нам было по четырнадцать лет. На макушках тесно росших позади сарая тополей мы играли в пятнашки: раскачиваешься на верхушке тополя — ухватишься за соседнюю, переберешься. Отрочество не знает ни головокружений, ни страха. Запрещения взрослых на нас не действовали, спортивный азарт был сильнее.

Как-то раз все же сорвался с макушки тополя, летел вниз, обламывая по пути ветки. Они меня и спасли — амортизировали падение. В придачу упал в большой арык, да так, что туловище оказалось в воде, а голова на берегу. Лежу на спине, чувствую — не могу пальцем пошевелить, хочу крикнуть — не могу звука издать. Вот натерпелся страху! Прошло несколько минут, холодная вода, обтекавшая тело, вернула мне движения и речь.

Здесь, на Долинской, на меня возвели первую в жизни напраслину: соседи обвинили меня в том, что украл деньги, которые они почему-то спрятали где-то снаружи — не то под лестницей, не то в водосточной трубе. И хотя денег я не крал, мне никто не поверил. «Кому же еще украсть?! Беспризорник!»

Действительно, после смерти матери и отца беспризорничал. В Одессе, Потом, играя на ложках и подкармливаясь в красноармейских продпунктах, пересек Россию и приехал в Свердловск (тогда Екатеринбург). Разыскал сестру, которая жила с мужем и со своей матерью, первой женой моего отца. Они приютили меня, но вскоре переехали жить в Ташкент, а я остался на время в интернате. Перезимовал и в конце мая сбежал в Ташкент. Было это на хвосте той волны, что ринулась в «Ташкент — город хлебный» в дни поволжского голода.

Меня подобрал в пути военный фельдшер — переезжал из Челябинска на службу в Туркестан с женой и двумя детьми: две недели ехал с ними в раскаленной от июньского солнца теплушке. Не помню, к сожалению, ни имени, ни фамилии этого человека. Запомнил только, что дочку его звали Светланой, в ту пору уже стал заглядываться на девчат.

Сестра моя жила на Долинской, у нее и поселился. Спустя некоторое время мужа ее перевели в Москву. Они уехали, я остался в Ташкенте кончать школу и перебрался на Ниязбекскую, в сарайчик, стоявший в обширном саду. Сейчас там давно нет ни сада, ни моего сарайчика — большие дома, так что идти туда ни к чему.

Сарайчик был романтическим жильем. В углу был деревянный топчан с матрацем, покрытым тонким одеялом, а на стене висело расшитое цветными нитками сюзане — единственное мое богатство. Каждый вечер, ложась спать, проверял, нет ли за ним скорпионов. Где-то услышал: если в

помещении убить скорпиона, непременно приползет другой — мстить. Поэтому, обнаружив скорпиона, смахивал его на земляной пол, потом ботинком или веточкой вышвыривал в сад и убивал уже вдали от сарайчика.

Однажды нашел в постели змею, правда, это оказался безобидный полоз. Со змеями, надо сказать тебе, обращаться умел, мы, ребята, частенько ходили на речку Чирчик ловить их, палкой с рогулькой прижимали шею змеи к камням, хватали ее руками и засовывали в пустую банку. Змей продавали в музей и в университет.

Поселившись в сарайчике, я стал жить сам по себе. В школу ходил во вторую смену, по утрам зарабатывал: продавал «Туркестанскую правду», собирал в садах фрукты. Раз даже нанялся отогнать шесть лодок по Сырдарье от Чиназа до Казалинска: две недели с приключениями плыл один среди камышей великой среднеазиатской реки.

Был случай, когда даже намеревался бросить работу. На Воскресенском базаре, примерно там, где сейчас взлетает фонтан против оперного театра имени Навои, среди торговых помещений бойко вертелась рулетка. Азартные игроки ставили на номера механических лошадей. Это давало шанс на крупный выигрыш, но можно было ставить на чет или нечет, в этом случае выигрыш был скромный: только удваивалась поставленная сумма.

Хотя, ты знаешь, я не силен в математике, все же сообразил: если ставить все время на чет — в конце концов должен же выпасть выигрыш! Тогда одним махом верну проигранное плюс чистый выигрыш. После этого надо не зарываться, начинать вновь с двадцати копеек.

В первый же вечер этим беспроигрышным способом выиграл рублей пять — деньги, на которые по тем временам мог кормиться неделю. На следующий вечер дело пошло еще бойчей... Но тут хозяин тотализатора (были годы нэпа!) вывел меня за ухо из своего заведения:

— Если ты, мальчик, попробуешь прийти еще раз...

Не договорил и так скрутил мое ухо, что и без слов можно было догадаться, что меня ожидает. С тех пор понял: азартные игры рассчитаны на дураков.

На том месте, где сейчас красуется здание гостиницы «Ташкент», мне в те годы крупно повезло: выиграл в лотерею корову. Подгоняя ее ремешком, вышел на улицу, совершенно подавленный свалившимся на меня счастьем и смущенный — не знал, что делать с коровой. Больше всего боялся, что меня с нею увидят товарищи, поднимут на смех. Спасли перекупщики, догнали нас — меня и корову, отдал им ее почти задаром.

Существовали и другие развлечения.

В те дни ташкентцы увлекались партерной борьбой. В цирке выступали «красная маска», «черная маска»... Настоящим торжеством был день, когда борцы маски снимали, в этот день все устремлялись в цирк. Сами мы боролись во дворах, честно следуя правилам. Но про цирк ходили упорные слухи, что там борются не всерьез, что там сделки. Эти слухи бередили нашу подозрительность и отравляли удовольствие от зрелища. Мы были так ими раздражены, что хватило пустяка, и негодование взметнулось фонтаном.

Нашей жертвой стал «факир-гипнотизер» с каким-то немисливо пышным индийским именем: его афиши были расклеены по городу. Я собрался пойти на него посмотреть и сказал об этом Яшке — взрослому парню, жившему по соседству. Яшка как-то двусмысленно на меня поглядел и рассмеялся.

— Чего смеешься?! — насторожился я, готовый обидеться и дать в ухо.

— Да какой он факир, — сказал Яшка. — Он только для блезиру факир! — Яшка рассказал, как этот самый факир вчера встретил его возле гостиницы и нанял: вечером в цирке факир вызывал «желающих» из публики, и Яшка с какими-то еще двумя, как было уговорено, выскочили на арену и по приказанию факира то «засыпали», то «просыпались» и получили за это по червонцу.

Жил у нас на улице Митька. Несмотря на великовозрастность (было ему лет двадцать), почему-то играл с нами в «ножички» и другие мальчишечьи игры. Был куда сильнее нас, поэтому, не сговариваясь, мы признали его вожаком. Дали ему прозвище Цар: отсутствие мягкого знака придавало на наш слух этому титулу особенную значимость. Я привел Цара к Яшке, и тот все ему повторил.

Мы решили факира разоблачить, уговорили Яшку наняться еще раз, оповестили заранее ребят с нескольких улиц. Предвкушая скандал, они устремились в цирк брать билеты. Нанявшись к факиру, Яшка стал проявлять нерешительность.

— Ребята, — говорил он жалобным голосом, — а может, не надо, а?

Опасаясь его измены, мы со своей стороны собрали деньги. И Цар вручил ему червонец, чтоб уж наверняка нас не продал.

И вот сижу в цирке в первом ряду рядом с Царом, поглядывая на знакомые лица, рассеянные среди публики. Чувствую себя тайным режиссером предстоящего: придумал-то все я. По ту сторону арены сидит Яшка и почему-то упорно разглядывает свои ногти. Кончается первое отделение: на акробатов и дрессированных собачек никто из нас и не смотрит.

Наконец второе отделение! Выходит факир под звуки восточной мелодии. По тому, как преувеличенно-изящно раскланивается, я сразу смекнул: одессит! На голову намотана чалма непомерной величины, в нее воткнуто серебряное перо, с плеч свисает роскошный шелковый халат: индийский набоб, да и только! Сообщив публике как величайшую новость, что гипноз признан наукой, сославшись на Льва Толстого, Ганди и академика Павлова (тогда была мода все сомнительное подпирать научностью), факир спросил, нет ли желающих подвергнуться гипнотическому опыту.

Наш Яшка и еще двое проворно метнулись на арену и уселись на три заранее поставленных стула, так что, если бы нашелся четвертый желающий, ему просто не на что было бы сесть. Наше возбуждение нарастало. «Тебе интересно слушать меня?» — спросил бы сейчас тебя, ежели ты и впрямь была б рядом. Знала бы только, какое для меня удовольствие рассказывать тебе о своем отрочестве!

Итак, Яшка сидит на стуле, факир стоит перед ним и проделывает серию пассивов. Я захихикал, меня свирепо ткнул в бок толстяк сосед. Прошло минуты три, все трое заснули. Все трое! В том числе и Яшка! Это было непостижимо. Наш Яшка заснул! С закрытыми глазами он делал все, что приказывал факир: брал себя рукой за нос, становился, прижав к заду стул, на четвереньки, лаял по-собачьи... Мрачно глядя на Яшку, Цар прошептал:

— Взял червонец и хочет еще у него получить! Гад!

Факир предложил кому-нибудь выйти на арену — проверить, как спят загипнотизированные: это тоже входило в программу. Цар перескочил барьер раньше, чем кто-либо успел опомниться, подбежал к Яшке — и ему на ухо:

— Если сейчас же не бросишь дурить, получишь раза!

Яшка знал, что такое «раза»: за гнусный проступок против товарищей каждый имел право один раз наотмашь ударить виновника по лицу. Ребят, замешанных в эту историю, была добрая сотня, ни один не отказал бы себе в удовольствии ударить как следует. Заметив перешептыванье, факир подскочил к Яшке, повелительно крикнул:

— Спать!

Тут Яшка встал со стула и сказал:

— И все это, граждане, один сплошной обман и враки!

Воодушевившись, наши ребята повскакивали с мест, со всех сторон понесся свист. Непосвященная публика требовала не мешать гипнотизеру. Взметнулся скандал, истошные вопли ребят и голоса взрослых смешались в общем крике. Воспользовавшись

суматохой, один из «загипнотизированных» улизнул. Третий, розовощекий паренек-рабфаковец, встал со стула и чистосердечно признался, мол, факир и его нанял: червонец-то на земле не валяется! Факира уже хотели бить... Неожиданно он бросился бежать по проходу, кто-то рванулся за ним... Но он подскочил к билетерше, сидевшей у двери, громким голосом крикнул:

— Спать!

Билетерша сразу заснула. На высоко поднятой руке факир понес ее по проходу на арену, это вызвало замешательство, зал стал затихать, ожидая, чем все кончится: видать, дошлый человек был этот факир! Он поставил на расстоянии спинками друг к другу два стула. Положил билетершу, словно бревно, головой на одну спинку стула, ногами — на вторую, и принялся ей на живот громоздить гири одну тяжелее другой. Несколько негодующих воплей ребят захлебнулись, потушенные сидящими рядом людьми: они заплатили за билет и хотели досмотреть все до конца. Сеанс гипноза продолжался...

Так и осталось неясным, на чьей стороне победа. Правда, назавтра в газете напечатали фельетон, разоблачавший факира. Говорили, после этого он ходил к прокурору, показывал опыты гипноза, требовал опровержения. Опровержение опубликовано не было, и факир покинул Ташкент.

Не помню, рассказывал ли тебе: в те годы мне довелось видеть и настоящего индийского факира — в Старом городе, в азиатской части Ташкента. Как-то раз бродили мы по глиняным улочкам, похожим на русла высохших арыков, и попали на маленькую площадь, куда со всех сторон стекался народ. Оказалось: ждали выступления факира. Он сидел у водоема в тени карагача. Зрителями наполнились даже плоские кровли окрестных домиков.

Со мной был Ванюшка Плеханов: жил на Обсерваторской, недалеко от меня, учились в одном классе, вместе слонялись по Старому городу, вместе в Новом городе участвовали в мальчишеских драках — несколько улиц на несколько улиц. У Ванюшки была страсть к химии. Из бертолетовой соли, красного фосфора и еще чего-то он научился делать «бомбочки»; разрывались они с устрашающим грохотом и огнем, пугая всех, но не принося вреда. «Бомбочки» подарили нам сокрушительную победу в очередной драке. Позже, во время одного опыта, случился взрыв на моих глазах. Ванюшке опалило грудь и лицо (мизинец его я отыскал между рамами окна), но он остался жив и выздоровел.

Так вот, вместе с Ванюшкой примостились мы в первом ряду, лежа на животах, чтобы не мешать смотреть сидящим на земле

узбекам. Факир показывал классический номер массового гипноза — выращивал манговое деревце. Посадил в землю семечко, на наших глазах оно проросло, вытянулось в деревце, деревце расцвело, лепестки опали, набухли плоды, налились, созрели. Наконец факир сорвал с дерева несколько плодов и швырнул в толпу, нам с Ванюшкой посчастливилось поймать один плод и полакомиться. Потом всю жизнь помнил вкус манго. Много лет спустя, когда впервые в банках привезли к нам из Индии сок манго, и ты — помнишь? — дала мне попробовать, безошибочно узнал знакомый вкус. Ты на миг мне вернула одно из восхитительных воспоминаний отрочества.

Бродить по Старому городу было в ту пору огромным для меня удовольствием. Перейдя Урду, где стояли лотки продавцов хлебных лепешек, мы переносились в сказку «Тысячи и одной ночи». Правда, на главной улице, шедшей отсюда в глубь Старого города — на Шейхантаурской, — уже гроыхал трамвай: ходил по одной колее, останавливаясь на разъездах. Людям, трусившим на ишачках, приходилось сворачивать от трамвая в переулок: так узка была Шейхантаурская. В остальном это был средневековый город.

Женщина-узбечка бесшумной тенью скользила вдоль улочки, плотно закутанная в паранджу, с опущенной на лицо черной волосной сеткой. В годы отрочества не видел лица ни одной узбечки, и под каждым покрывалом мне чудилась красавица: застенчивость ни разу не позволила мне заглянуть под покрывало, чтобы опровергнуть это или подтвердить.

Муэдзины с минаретов призывали правоверных на молитву протяжными криками, и прямо рядом с горном расстилал молитвенный коврик кузнец, и базарный цирюльник, пускавший за деньги людям кровь, прерывал врачевание, чтобы склониться перед аллахом. Интересно было ходить по базару. Чего-чего не увидишь!

То в прохладе крытого шелкового ряда любуешься, как полумрак пререзают сверкающие мечи солнца, выхватывая из темноты яркие краски на чалмах и халатах идущих. То наблюдаешь, как базарный поливальщик разбрызгивает из бурдюка воду, да так бережно и искусно, что каждая ее драгоценная капля падает отдельно и, подобно капельке ртути, закатывается в пыль. То натыкаешься на каландаров — странствующих монахов ордена нищих: гнусавя молитвенные стихи, ходили они стайками по базарным рядам, с чашками для подаяния из скорлупы кокосовых орехов, в лоскутных халатах, в остроконечных шапках с меховой оторочкой. То следишь в

чайхане, как разгораются страсти вокруг перепелиных боев, а в стороне какой-нибудь франт перематывает чалму, и ему помогает знаток неторопливым советом. То останавливаешься возле писца: сидит с чернильницей, подвешенной на шее, выводит тростниковым пером арабские буквы, составляя для кого-нибудь жалобу или. любовное письмо. Женщины-узбечки в то время вообще не умели писать.

Рассказывают: когда узбечка тосковала по любимому, она вместо письма посылала пучок соломы и кусочек угля — хотела этим сказать: «Я без тебя пожелтела, как солома, и почернела, как уголь». Что, если бы в мое письмо к тебе я сейчас засунул уголек и соломинку?

Теперь-то понимаю: новое уже тогда врывалось свежим ветром в жизнь узбеков. Однако мы, русские ребята, пришедшие в Старый город из Нового — европейской части Ташкента, — видели одежды, но не видели сердца Старого города.

И все же один случай неожиданно обнажил передо мной, с какой силой уже в ту пору ворвалось новое в жизнь. Но поставлю заголовок, сама суть требует, чтобы выделил то, о чем собираюсь рассказать.

Караван Арсланова

Лето 1924 года. Пушкинская улица в Новом городе была так же широка, как и сейчас. Однако многоэтажных зданий на ней не было, сама мостовая на участке между Сергиевской церковью и Дархан-арыком не была залита асфальтом, лишь сбоку, вдоль колеи трамвая, улицу замостили булыжником, а посреди лежала «священная» пыль.

Однажды, идя в школу, увидел издалека, как на Пушкинскую из поперечной улицы выплыло облако пыли, поклубилось, наполнило собой улицу до вершины тополей и, повернув, быстро поплыло вдоль Пушкинской. Впереди облака ехал всадник в обычном хивинском красном халате. Из облака стали доноситься скрип колес, пощелкивание плетей, звон верблюжьего бубенца, оживленные голоса, смех. Потом сквозь пыль проступили фигуры передних всадников, ехавших на лошадях, на верблюдах, и очертания большеколесных арб, на которых сидели люди.

— Мальчик! — окликнул меня по-узбекски всадник, ехавший впереди.

Я подошел. Хивинец, который вблизи оказался едва ли годом старше меня, спросил, как проехать в ирригационный техникум. Показывая дорогу, зашагал рядом с его конем.

Спустя полчаса, когда пыльное облако вслед за нами докатилось до техникума и возле него растаяло, когда вздымавшие это облако узбеки, среди которых по одеждам угадывалось несколько туркмен и казахов, когда они и их кони, верблюды, арбы заполнили дворик техникума, а не поместившиеся образовали за воротами табор, когда, наконец, прибежал, запыхавшись, директор, — обнаружилось первое обстоятельство, достойное удивления: на двести двадцать шесть приехавших учиться было всего одно направление. Это было направление на имя Арсланова — молодого хивинца, что ехал впереди.

Но еще удивительней оказалась история рождения каравана. Как-то раз в одно из селений Хивинской Народной Республики пришло по разверстке направление в техникум. Сельский староста — аксакал — вручил его Арсланову, юноше, которого в селении считали передовым. Хорезм был в то время самым дальним, самым глухим углом Средней Азии. Арсланов, который мечтал по меньшей мере о подвигах Алпамыша, любимого им героя эпоса, ехать учиться не захотел. Ему казалось постыдным для мужчины делом, «подобно тощему писцу, сидеть, макая перо в чернильницу». Попробовал откупиться, не вышло. Делать

нечего, Арсланов оседлал, «подобно Алпамышу», коня, распрощался с родителями и отправился в путь.

Доехав до Хивы, он остановился на ночлег в караван-сараяе. Разговорился там с сыном хозяина, сверстником. На вопрос «Куда едешь?» Арсланов ответил, как по его представлениям надлежало мужчине: «Куда копыта коня приведут». Новый знакомец поведал, что хочет ехать учиться. Обрадованный Арсланов решил подарить ему свое направление в техникум, извлек бумажку из пояса. Однако фамилия Арсланова в нее была вписана, да и проехать в Ташкент было не так худо, парни рассудили: направление можно будет в Ташкенте обменять. Из Хивы выехали вдвоем.

В следующем селении к ним присоединились еще двое. Поехали дальше, из селения в селение, из города в город. По пути Арсланов, как ком снега, стал обрастать молодыми дехканами, пастухами и горожанами, жаждавшими учиться. Чем ближе был Ташкент, тем явственней людям был виден свет, идущий из этого города, тем большая назрела потребность окунуться в этот свет, испытать себя в новом мире. Многим, чтобы поехать учиться, нужен был только толчок.

А сам Арсланов, причудливой игрой судьбы и случая вознесенный на положение Алпамыша — богатыря, за которым следуют толпы, гордясь этим положением и ревниво оберегая его, начал в попутных селениях сперва робко, потом все больше воспламеняясь, призывать людей ехать учиться. Убеждая других в великой пользе приобретения знаний, он, как бывает, убедил в этом и самого себя.

Вот и вся история. Буду счастлив, если скажешь: «Что-то в ней есть».

7 апреля. Вечер. Ташкент

От улицы Фрунзе — тем путем, каким ходил в школу, — вышел сегодня на Пушкинскую.

Вот тут, рядом с почтамтом была велосипедная мастерская. Как прошлое меркнет в рассказе! Какими словами передать тебе интерес, который заставлял нас часами просиживать на корточках, глядя, как работает мастер! Все мечты о чудесной технике будущего были для нас воплощены в этой работе: в гаечных ключах, колесах, спицах, цепях передач. Сейчас трудно в это поверить: тогда это было единственное в городе техническое предприятие, если не считать мельницы и железнодорожных мастерских, но туда нас не пускали.

Помню, как на ташкентских улицах появилась легковая машина. Пять кварталов бежали мы за ней, задыхаясь. А сегодня долго стоял, задрав голову на жилые корпуса, выросшие после

землетрясения, переживая, пока пройдет поток запыленных автомашин. Другой город! Не разобрался бы — где бывшая Жуковская, где Гоголевская, если бы не приземистый четырехэтажный дом, уцелевший от подземных ударов. Стою возле него на углу, будто назначил свидание. Кому?

Помнишь, когда-то... уходя, я говорил:

— Я не ушел. Я буду сидеть вон на том стуле в углу, чтоб тебе не было скучно и одиноко.

Какие счастливые были, безоблачные, ничем не омраченные дни. А теперь уехал, не оставив себя ни на стуле, ни за окном, нигде не оставив. И ты глазом не моргнула: уезжаешь — ну и уезжай!

На месте дома, у которого стою, было в двадцатых годах три чайханы. На большой перемене мы бежали сюда съесть полпорции плова, выпить пиалу зеленого чая. В полуквартале выше, на Гоголевской, если чуть подняться в горку, и была наша школа имени Пржевальского.

Учителя мои! Все, что знали, они отдавали нам. А мы, признаться, постоянно смеялись над ними, многое не вспомнишь без стыда. Говорю не о таких безобидных вещах, как подсказки: некоторые были ничего придуманы. Наш учитель географии, например, был подслеповат. Мы пользовались этим и наводили солнечный зайчик на какой-нибудь Баб-эль-Мандебский пролив раньше, чем учитель успевал обернуться и рассмотреть, верно ли указывает ученик на карте. Но когда мы тому же учителю географии, добродушнейшему старичку, приделали к стулу два электрических провода и посреди урока закрутили под задней партой электрофор — это уже была жестокость! Старичок заплакал и покинул класс. Помню, как я хохотал, пытаясь прикрыть смехом гнетущее чувство стыда.

А над учителем математики Михаилом Владимировичем, человеком требовательным, хотя и суховатым, подшутили так. Он, как часто бывает со сдержанными людьми, не лишен был сентиментальности и мечтал о школьной рождественской елке. Где раздобыл он в Ташкенте елку — не знаю; но теперь понимаю, это было нелегко. Может, выписал ее из Сибири? Мне, как «культкомиссии», поручили елку украсить. Игрушки Михаил Владимирович принес из своего сундука. Мы нарядили елку, перед самым торжеством зал закрыли, сняли игрушки, оставили только свечи, вместо игрушек развесили стереометрические фигуры из картона и ниточек, которые он заставлял регулярно делать: ненавистнейшее занятие для всех нас.

Торжественно открылись двери, вошли учителя и ошолбенели. Такой елки им не приходилось видеть — между

стереометрическими фигурами колебалось пламя свечей. Школьники покатывались со смеху, Михаил Владимирович побагровел. Потом, конечно, игрушки на елку вернули, но настроение Михаилу Владимировичу мы сумели отравить. Каюсь перед его тенью, это придумал я нелюбимый его ученик, плохо занимавшийся по математике. Нет, не стоило ему учить меня, тратить на меня сердце.

Вот вспоминаю, и кажется — не я, кто-то другой рассказывает о себе. Как длинна человеческая жизнь! Сколько успевает пережить человек и темного и прекрасного! Надо ли темное вспоминать? Вероятно, надо, чтобы его от себя отделить. Иначе никогда от него не избавишься.

Были и любимые учителя. С благоговением вспоминаю Николая Леопольдовича Корженевского, путешественника и исследователя горных ледников, оказавшего на всех нас огромное влияние. В те бурные годы географы временно оказались не у дел, и известный путешественник вынужден был пойти в школьные учителя. Он преподавал физику, но и, преподавая физику, развивал у нас вкус к географии. Страсть к путешествиям была в нем столь велика, что нам, школьникам, не составляло труда сбить его на любимый предмет. И мы пользовались этим: частенько урок физики обрывался, и Николай Леопардович (так шутливо и вместе с тем влюбленно мы его величали, услышав из его уст о том, как однажды встретился в горах со снежным леопардом) рассказывал нам о своих путешествиях по Средней Азии.

Его рассказы посегодня живы в памяти. Вот один. Не буду пытаться передать тебе интонацию самого Николая Леопольдовича: слишком давно был тот урок физики, чтобы смог рассказать его словами, его голосом. Расскажу суть.

Сторож Сарезского озера

Озеро это существует на всех картах Памира. До 1911 года его не было — не только на картах, вообще не было. Было маленькое памирское селение Усой, его жители разводили овец и яков, делали из шерсти грубую одежду, а из сыромятной кожи чарыки — простейшую обувь. Кормились почти исключительно бараниной, брынзой и ячьим молоком. А по вечерам, греясь у очагов, когда наскучивало судачить друг про друга, рассказывали легенды об Искандере-Зуль-Карнайне, Александре Македонском, потомками воинов которого считали себя.

И вдруг землетрясение обрушило на Усой нависшую над ним гору. Лавина скал рухнула на домики селения, потащила их с собой, перевернула и погребла, перегородив русло Мургаба, горной реки, к которой усойские женщины спускались с кувшинами за водой. Лишь один усоец спасся, и то потому, что был в гостях в Сарезе, соседнем селении.

Воды реки позади километровой стены усойского завала стали подниматься, среди скал разлилось озеро. Нескольким селениям пришлось сняться с мест и уйти, а озеро все подымалось и ширилось. Возникла угроза: в какой-то день это новое озеро, нависшее в горах Памира, прорвется сквозь завал и устремится вниз, смывая все по берегам Бартанга и Пянджа вплоть до Термеза. Угроза эта заставила в 1913 году отправить к Сарезскому озеру небольшую экспедицию, в ней участвовал Николай Леопольдович. Экспедиция исследовала усойский завал, пришла к выводу: достаточно прочен, чтобы выдержать напор любой массы воды. Время подтвердило: Сарезское озеро существует по сей день. И если захочешь, мы с тобой можем совершить к нему путешествие, хотя добраться туда нелегко. Сможем даже искупаться в нем, впрочем, вряд ли тебе это доставит удовольствие — вода слишком холодна.

Однако в то время не было уверенности, не выкинет ли какой-нибудь неожиданный фокус это самое озеро. И экспедиция решила оставить наблюдателя. Сторожом Сарезского озера и наблюдателем был взят местный житель — памирский таджик. Рядом с завалом соорудили домик, чтобы он мог жить с семьей и скотом, положили жалованье, выдали его за год вперед, поставили восемь реек в разных концах озера — на них нужно было делать отметки — пожелали счастья и уехали.

Прошло много лет. Нет, ты только представь! В жизнь народов ворвалась империалистическая война, потрясла мир Октябрьская революция, на просторах нашей страны гуляла война

гражданская... Сколько событий! Наконец, кажется, году в 1923-м (во всяком случае, Николай Леопольдович рассказывал нам по свежим следам), вспомнили об угрозе, которая где-то там в горах Памира висела над людьми. Снарядили экспедицию, Николай Леопольдович возглавил ее.

Когда экспедиция добралась до синих вод Сарезского озера, навстречу вышел тот же памирский таджик, правда, постаревший на десять лет, и поздоровался как ни в чем не бывало. Все годы он продолжал нести свою вахту, аккуратно делал пометки на рейках. А когда озеро затопило рейки, поставил вместо них новые и делал отметки на них. Он терпеливо ждал и готов был отчитаться в проделанной, и действительно отчитался сразу за десять лет.

— С того дня, — сказал нам Николай Леопольдович, — люди делятся для меня на тех, кому можно доверить Сарезское озеро, и на тех, кому его доверить нельзя.

Сам Корженевский принадлежал к первым. Задолго до революции кончил военное училище в Киеве, кончил с отличием: мог выбирать, где служить, мог быть зачислен даже в гвардейский полк в Петербург. Посмотрел, какие есть вакансии, и выбрал город Ош в далекой Ферганской долине. Все удивились: «Куда вы?! В этой дыре только и делают, что пьют да в карты играют!» Но он знал, куда ехал. Он мечтал о «подножье солнца» — Памире! Мечтал открывать неизведанное!

Он приехал в Ош. Другие играли в карты, а он на арыке построил турбину и дал городу электрический ток, потом стал совершать экскурсии в горы, потом — экспедиции. Его открытия ледников сделали имя Корженевского известным. Ему стало помогать Российское географическое общество, Семенов-Тянь-Шанский. Никогда не забыть того трепетного чувства на уроках Корженевского, когда прикасались к живому в истории. Оно заставляло нас, весь класс, ощущать себя чуть ли не прямыми наследниками великих русских путешественников XIX века.

Имя Корженевского носят два крупнейших ледника — один на самом северном из тянь-шаньских хребтов — Заилийском, второй — на самом южном из киргизских хребтов — Заалайском. Ты догадываешься, что это имя дали ледникам другие исследователи, но имя величайшей вершине, открытой им, Николай Леопольдович дал сам в 1910 году!

Он познакомился с Евгенией Сергеевной в Оше, она там жила. Люди, не обладающие воображением, вырезают милое имя на скамьях. Николай Леопольдович назвал именем любимой пик и прославил ее на весь мир. Ты скажешь: «Вот пример! Учись!» Мне остается вздохнуть: опоздал родиться, все уже названо.

Правда, еще есть безымянные вершины, но по высоте ни в какое сравнение не идут с пиком Евгении Корженевской, их никто и не запомнит. Нет у меня и надежды открыть новую звезду, назвать твоим именем. Остается дать твоё имя... разве что солнцу. Я бы с радостью! Но не думаешь ли, что это может плохо кончиться для тебя? Слишком большая, незаслуженно полученная известность быстро переходит в презрение... Быть может, все-таки ограничиться тем, что имя твоё повторять про себя.

В 1960 году, спустя год после смерти Николая Леопольдовича, попав в Ташкент, я навестил Евгению Сергеевну. Ей было под восемьдесят, а она только что вернулась с Сырдарьи, с рыбалки, куда ездила вместе с подругой. Тут же мне и себе она налила по рюмке красного вина, помянуть Николая Леопольдовича. Тогда-то Евгения Сергеевна и сказала мне, что Николай Леопольдович умер, можно сказать, с моей книгой в руках.

Книгу «С вами по Киргизии» я заключил посвящением Корженевскому, «моему школьному учителю». В конце 1958 года, когда книга вышла, сейчас же ему отослал. Николай Леопольдович лежал в больнице, ему делали операцию. Потом долго не выписывали, наконец он приехал домой, приехал в отличном настроении, шутил, смеялся, даже выпил за обедом рюмку вина. Лег на диван, принялся разбирать почту, добрался до моей книги, перелистал, наткнулся на посвящение, взволновался, позвал Евгению Сергеевну, прочел вслух полторы страницы, относящиеся к нему, потом устал, заснул. Когда Евгения Сергеевна, обеспокоенная его долгим сном, к нему подошла, он был мертв.

— Значит, волнение, связанное с... — побледнел я.

— Что вы! Что вы! — замахала руками Евгения Сергеевна. — Врачи сказали, так и должно было быть. Наоборот, вы ему перед смертью подарили радость... — Помолчала и добавила: — Вы не знаете, как редко приходит к людям... Как бы это сказать?.. Не официальная благодарность — ему хватало её... Не вежливые восторги друзей — этого тоже было с избытком... А такой вот подарок давнего, живущего бог знает где ученика... Личным вниманием мы все не избалованы...

Сказала, и я вспомнил давний случай, свидетелем которого был. Поэт Кочетков Александр Сергеевич однажды позвонил Маршаку: только что прочел сонеты Шекспира в его переводе, было с большим запозданием, как-то так получилось, что первое издание сонетов в руки к нему не попало. Маршака за эти переводы наградили Государственной премией, можно представить, сколько поздравлений он получил. И вот вышло

массовое издание. Под свежим впечатлением Кочетков по телефону взволнованно заговорил, как прекрасны стихи. И Маршак на другом конце провода расплакался и, сконфуженный своими слезами, сказал:

— Простите меня! Но за эти два года ни один... ни один из моих товарищей по перу... не позвонил мне вот так просто... просто потому, что я доставил ему радость стихами... Вы первый... Личным вниманием я не избалован...

Когда разговор с Евгенией Сергеевной стал иссякать, я ища, о чем бы еще, спросил: неужели за столько лет на ее имя не было покушений? Неужели ни разу не пытались переименовать пик?

Она улыбнулась.

— Говорили мне, что было такое поползновение, но один умный человек сказал; «Пусть хоть одна женщина возносится над миром!»

Она умолкла, надолго задумавшись, А потом встала и заторопилась:

— Ну, мне надо проверить тетрадки..

— У вас ученики? — удивился я.

— Да, преподаю немецкий язык. Деньги за уроки не беру, так что у меня всегда хватает учеников... — светло улыбнулась, и мы распрощались.

Я уходил со странным чувством, будто со мной произошло необыкновенное. Впрочем, так оно и было: ведь я к самой истории прикоснулся рукой.

Но я еще не все рассказал тебе про школу... В 1923 году мне выделили комнатку и поручили создать школьную библиотеку. В районе дали ключи от подвала, где были свалены книги, реквизированные в годы революции. Перевез все, что мог, долго разбирался в этом богатстве, помню, как выбрасывал «Своды законов Российской империи» — многотомное издание в кожаных переплетах с золотым тиснением. Завел каталог, расставил книги по полкам и стал выдавать. Тут можно было наткнуться на что угодно: от романов графа Салиаса и детективных книжек о Нате Пинкертоне до философских фолиантов. Ницше и Штирнера. В нашей библиотеке участники общегородского школьно-театрального коллектива раскопали старинный водевиль «Графиня Эльвира», в котором солдаты исполняют роли графов и графинь. Есть там сцена, пользовавшаяся неизменным успехом: герой решает кончить жизнь самоубийством, приставляет к груди пистолет, оглядывается за сцену — ждет выстрела, чтобы «упасть мертвым», но с выстрелом не ладится, тогда герой хватается со стола вилку, втыкает себе в живот — в этот миг раздается

выстрел. Скажи: ну почему и у нас с тобой так?! Когда я в отчаянии от размолвки с тобой готов умереть, ты зришь на это с безмятежным спокойствием, но стоит мне вытворить что-нибудь нелепое, только тогда ты спохватываешься! Почему?

В нашей библиотеке было и старенькое Собрание сочинений Генрика Ибсена, по которому готовился я к городской школьной дискуссии «Брандт или Пер-Гюнт?». Большинство выступивших мальчиков и девочек были на стороне Брандта — с его философией сильной личности, готовностью жертвовать всем. Я тоже выступал и был, как догадываешься, на стороне Пер-Гюнта: веселость ставил выше всего!

В комнате этой библиотеки, уединившись, написал я и первое в жизни стихотворение. Ей? Конечно! Вера С., худенькая, «трепетная» (так мне казалось), сидела на второй парте. Посмотреть ей в лицо не решался, как можно глядеть на божество! Если встречал на улице, уже издалека переходил на другую сторону, чтобы не столкнуться нос к носу: ничего не могло быть страшней! Потом плелся за ней далеко позади, натываясь на прохожих и прячась за стволами деревьев. По ночам писал ей стихи, но ни ей и никому живому ни за что не решился бы их прочесть.

Только через полгода объяснился. И как! Написал записочку «Я вас люблю», вложив в эти слова, как мне казалось, все неисчерпаемое богатство чувств. Написал так, будто я эти слова открыл и до меня никто никому никогда их не говорил. Передал послание через ее подругу, немедленно получил через те же руки ответ: «Вы мне нравитесь, но сердце мое принадлежит другому»; написано было наспех, на клочке бумаги, оторванной от тетради в косую линейку. Неделью оплакивал свое разбитое сердце, сочинил еще несколько стихотворений, а к концу недели неожиданно обнаружил: остались одни слова. Они, будто скорлупки, были пустые и уже ничего не значили. Тогда сделал вывод, что чувства поддерживаются только надеждой: отними у человека надежду, и все само собою погаснет. Теперь знаю: когда приходит Оно, все «надежды» и «разочарования» лишь игрушки для малышей.

8 апреля. Ташкент

Отличную студию построили в Ташкенте за Комсомольским озером. Походил, поглядел... И всюду сопровождала меня тень Наби Ганиева. Как бы он радовался, если б увидел нынешние ее павильоны! Ведь это он создал первую киностудию в Ташкенте, добывая каждый аппарат, каждый гвоздь, и стал ее первым директором, мечтая открыть своему народу дорогу в кино, и

сделался первым кинорежиссером-узбеком, прославив своими фильмами узбекское киноискусство, и выпестовал первые национальные кадры узбекских кинематографистов.

Шестьдесят с лишним лет назад отец Наби Ганиева привел сына в мектеб — мусульманскую школу и сказал мулле:

— Кости у него мои, мясо — ваше. Учите его как хотите. Но если из моего сына не выйдет настоящего узбека, верного сына аллаха, то... Я мясник, я зарезал на своем веку не одну сотню баранов. Убить одного мальчишку мне будет нетрудно.

Спустя несколько лет, в 1921 году, когда Наби Ганиев сбежал из дому учиться в Москву, во Вхутемас, имам потребовал от отца, чтобы тот публично проклял сына в квартальной мечети. Но революция уже начала менять сознание людей, и старик ответил имаму:

— Я надеюсь, сын не опозорит меня! — И отказался выполнить требование, хотя это означало, что двери мечети перед ним закроются: самое тяжкое наказание для религиозного старика.

Через два года Наби Ганиев ехал домой на каникулы, по дороге, в Самаре, в вокзальной парикмахерской он побрил голову, а вернувшись в вагон, снял костюм, вместе с кепкой упрятал в чемодан и облачился в полосатый узбекский халат и в тюбетейку: своим «правоверным» видом хотел облегчить положение старика отца.

Спустя еще несколько лет, когда Наби Ганиев приступил к съемкам фильма «Тахир и Зухра», отец спросил его:

— Скажи мне честно, сынок, выйдет ли из тебя большой человек в кино?

— А если не выйдет?

— Тогда снова езжай учиться на инженера или врача.

Широкоскулое, с толстыми губами, по-монгольски раскосое, некрасивое лицо Наби Ганиева делалось прекрасным, когда он оживлялся, разговаривая об искусстве или просто шутил. У него было свое, особое, умение употреблять в разговоре народные поговорки. Впрочем, может быть, как человек талантливый, он их сам сочинял на ходу? Мне доставляло удовольствие записывать наиболее меткие, вот некоторые из них.

Художнику, который принес кричащие по пестроте эскизы костюмов, он сказал: «Яркие краски скорей выцветают». Молодому режиссеру, утверждавшему, что это только кажется, что снятые им сцены плохи, а на самом деле хороши, ведь он в них повторил Эйзенштейна: «Ворона подражала гусю и вывихнула себе ногу». Критику, который после выхода фильма давал советы, как надо было снимать: «Чужими руками хорошо змею ловить». А

одного мальчишку, который самонадеянно с трибуны начал рассуждать о том, как следует в фильме изображать любовь, Наби Ганиев уничтожил тихо сказанной фразой: «Бабочка рассуждала о снеге». Все рассмеялись, и больше не о чем было говорить.

Он знал, что такое любовь! «Лицо из-под паранджи, как солнце из-за тучи!» Эту фразу записал я, когда Наби Ганиев рассказывал, как познакомился со своей женой Максумой. В двадцать шестом году он руководил самодеятельностью на рабфаке, куда Максума бегала учиться под паранджой из Старого города. Было много счастливых дней... Был день, год спустя после свадьбы, когда Максума, вцепившись в руку Наби, впервые вышла с ним из дому без паранджи и, боясь взглянуть от стыда в сторону, опустив голову, прошла по своей улице; рассказывал об этом, и слезы блестели на его глазах. Он любил жену и обожал своих четверых детей, я знал, так оно и есть, хотя рассказывал он мне это в самые драматичные дни своей жизни.

«Сокол не должен влюбляться. Соколу любовь причиняет смерть», — говорят афганцы. Наби Ганиев был соколом. Он был в расцвете сил, был зрелым художником, им гордилась семья, гордилась республика. И он влюбился. Слишком слабое слово! Полюбил одну девушку так, как любят пропащие и безумцы. Он не спал ночи. Он пытался шутить по поводу своего чувства, но из глаз его лились слезы. Он в отчаянии метался, не зная, как поступить. Он сам едва мог поверить, что такое бывает. Когда один человек сделал грязный намек в адрес его любимой, Наби Ганиев чуть не выбросил его из окна второго этажа. Говорю «чуть», потому что этого человека спасли случайные свидетели сцены, вырвав его из рук разъяренного Меджнуна.

Он знал, что не имеет права на счастье: не мог нанести смертельного удара горячо любимой семье. Да в условиях Узбекистана это вообще исключено; нельзя и думать уйти от семьи. Он должен был ото всех, решительно ото всех скрывать свою любовь, оберегая честь любимой: знал и это. Но разве может скрыть любовь от посторонних глаз смертельно влюбленный человек?!

«Одна собака залает на тень — сто собак отзовутся». У Наби Ганиева, как у всякого талантливого человека, были завистники, значит, и враги. Были и просто обиженные. Среди ташкентцев — когдатощних торговцев — еще живучи освященные шариатом мусульманские обычаи: как следует вести себя. Неприлично громко восхищаться, надо сказать скромно: «Ничего». Неприлично воскликнуть: «Какой мерзкий тип!», прилично: «Он не обладает достоинствами». Эта мещанская сдержанность не была свойственна Наби Ганиеву, увлекавшемуся и негодовавшему

от всего сердца. Его откровенные восторги и проклятия вызывали презрительные усмешки и обиды. Словом, нашлись люди, которые, узревши «тень», обрадовались, и потекли анонимки. Понятно, Ганиева в конце концов вызвали объясниться по поводу «поведения».

Разве может нравоучение, от кого бы ни исходило, образумить Меджнуна?! Я подчеркиваю: Меджнуна! Наби Ганиев был человек, обезумевший от любви. Есть люди, которые этого никогда не испытывали или испытывали лишь отблеск, лишь краткое мгновение такой любви. Они никогда этого не поймут.

Вызывало особенное недовольство, что Ганиев не признался в своей любви. Но в этом он никому не признавался! Даже мне — другу, приехавшему издалека. Не могу ручаться, что он признался в любви и самой любимой. Во всяком случае, он и это, как положено истинному влюбленному, передо мной отрицал.

— Мне нужно умереть, чтобы обрезать языки людям, которые о ней судачат! — воскликнул он, разговаривая со мной.

Как раз в эти дни — может быть, потому что перед человеком, приехавшим издалека, легче раскрыться, чем перед живущими по соседству, — Наби Ганиев выложил мне свою жизнь: это была исповедь художника и человека.

Он говорил:

— Раньше я думал, что любовь Меджнуна выдумка! Теперь понял: это история настоящей любви, когда-то случившаяся и потрясшая современников. В туркменском варианте народной легенды о Тахире и Зухре есть такая сцена. Тахира хватают разбойники, смеются над ним, когда он рассказывает, как любит Зухру. Атаман говорит; «Докажи, что в груди твоей любовь!» Тахир сказал! «Подойди ко мне!» Тот подошел. Тахир представил себе образ Зухры, ударил себя в грудь и выдохнул воздух. Из рта его полыхнул огонь и опалил разбойнику бороду. Тогда все поверили: «Поистине он влюбленный!» — и отпустили его. Ах, если бы я мог доказать, что действительно люблю ее больше жизни? — Поморщившись, сказал задумчиво: — Странно мне, что умирает и тот, кто ничего не знает о любви...

Понимаешь! Он уже тогда догадывался, что многие проживают жизнь и не подозревают о существовании страстной, всепоглощающей любви, потому и не верят в нее. Он описал мне свою жизнь с детства, особенно подробно рассказывал — думаю, для себя, чтоб самому все вспомнить, самому все вновь пережить и все бросить на весы, — историю того, как встретил, как полюбил, как любит жену Максуму. Спросишь: как можно любить двоих сразу? К сожалению, или к счастью, или еще точнее — к чему-то счастью, к чему-то несчастью, такое бывает. Конечно,

говоря о настоящей любви: о любви, а не о связях, не о них речь. И всего несчастней из троих тот, чье сердце разрывается между двумя, особенно когда этот человек с таким открытым сердцем, как Наби Ганиев.

Я уехал в Москву с тяжелым предчувствием. Из головы не выходила фраза, которую он сказал в минуту отчаяния: «Я как та девушка — со скорпионом в горле!» В Ташкенте тогда у всех на памяти был случай: одна девушка, второпях глотнула воды из носика чайника, а в носике сидел скорпион, он попал ей в горло, укусил, и девушку задушила опухоль раньше, чем успели оказать помощь.

Спустя несколько месяцев (осенью 1949 года) узнал, что Наби Ганиев тяжело заболел и умер. Потом мне рассказали: продолжал работать с яростной силой, но в своем заколдованном круге запутывался все больше. Только в работе на съемочной площадке забывался, лицо его молодело, загоралось вдохновением и весельем, хотя перед тем несколько ночей не мог сомкнуть глаз! А там опять... приступы тоски и отчаяния. Так или иначе: он умер. О Наби Ганиеве говорят как о зачинателе узбекской кинематографии. Его фильм-легенда о трагической любви «Тахир и Зухра» занял по количеству зрителей одно из первых мест в нашей стране. А комедия «Похождения Насреддина» как произведение киноклассики нет-нет да и появится на экранах, чтобы ее могло увидеть новое поколение.

А какой был рассказчик Ганиев! Заслушаешься. Вот три истории из тех, что слышал от него.

Как-то раз мы — я и Ганиев — вышли из киностудии после ночной съемки. Отдыхая, медленно шли по улице Навои и молчали. Улица Навои — та самая бывшая узенькая Шейхантаурская, о которой тебе писал. Она уже тогда превратилась в проспект сплошь из новых домов. Мы шли, наслаждаясь утренней прохладой, мимо проехала поливочная машина, и заблестел на солнце асфальт. Прохожих почти не было, вдруг Ганиев тихо сказал мне:

— Посмотрите на этого старика...

Навстречу неспешной походкой, неся высоко голову, шел седой старик в темном халате, хорошо скроенном, подчеркивающим его сухощавую фигуру. Он прошел, ответив кивком на почтительный поклон Ганиева.

— Этот старик, — начал рассказывать Ганиев, — пережил одну из самых больших трагедий, какие выпадают на долю человека. У него был единственный сын... Но, пожалуй, начну с другого. Знаете ли вы, что такое гап? У нас, узбеков, до недавнего времени, как вам известно, ни театра, ни кино не было. А каждый вечер, когда опускалась прохлада, сорок молодых горожан из одной махалы (квартала) — большей частью холостые, бывали среди них и женатые — собирались вместе, угощали по очереди друг друга и развлекались как умели.

Начинался каждый гап с того, что бросали ошичку: по-вашему, по-русски, — бабку, баранью косточку. К кому ошичка обращалась одной стороной — становился на этот вечер «шахом»: его приказ был для всех обязателен. К кому второй стороной — делался «визирем»: должен был помогать «шаху» выдумывать развлечения. К кому третьей — «палачом»: исполнял шахскую волю. А к кому четвертой — назывался «вором»: все над ним подшучивали, он обязан был все терпеть, всему подчиняться.

«Шахи» и «визиряи» изошрялись в выдумках. Рассказывают, например, про одного юношу. Он был из тех, кто на людях: «Гей! Гей!», а один: «Ой! Ой!», трусоват был парень. Ошичка сделала его «вором», и «шах» решил его проучить. Его заставили ночью пойти на кладбище. Туда принесли казан, ненаколотые дрова, ненарезанную морковь, невымытый рис, ненарубленную баранину и оставили одного. Он должен был среди могил сходить к арычку, принести воду, обмазать грязью сырцовые кирпичи, приготовить по всем правилам плов, и половину сам съесть, а половину оставить. Когда, дрожа от страха, он все проделал и принялся есть приготовленный плов, рядом из кладбищенских носилок

Вдруг протянулась рука: «Дай и мне плову!» Это в носилки незаметно забрался «палач». Вот как забавлялись!

Так вот, жил-был молодой парень, его дом стоял недалеко от нашего, назову его для удобства Ахмед. Настоящего имени не скажу, а то знаю вас, писателей, — тиснете типографскими литерами, а ему (может, жив еще) не по душе будет. Значит, Ахмед! Он с трудом собрал калым и женился. Молодые после свадьбы полюбили друг друга и были счастливы. Говорю «после свадьбы», потому что до свадьбы они друг друга, наверное, и в лицо не видали: у нас, у узбеков, раньше так было.

А у того старика, что навстречу прошел, был сын. назову его Мансур, тоже для удобства. Он был из тех, каких у нас и на студии хоть отбавляй: «Я всех выше, меня мать родила на крыше!» Гордый, самоуверенный парень. Три года мечтал он о той девушке: прослышал где-то когда-то про ее красоту, вот и мечтал! Но калыма не собрал вовремя, и девушку утянули у него из-под носа, ну и затаил на Ахмеда обиду. Оба из одной махали, оба каждый вечер встречались на гапе.

И однажды ошечка упала так, что Мансур стал «шахом», а Ахмед «вором». «Шах» и говорит: «Долго ждал я этого дня, даже с визирем советоваться не стану. Прикажи, Ахмед, своей жене, чтоб пришла сюда, пусть откроет лицо и поднесет каждому по пиале чая». Побледнел Ахмед. Во дворике — грозное молчание, неловкость. Видят: «шах» не шутит. А Мансур посмеивается: «Давай, давай, торопись!»

Делать нечего, пошел Ахмед домой. Входит в ичари — на женскую половину: «Одевайся, жена!» Как да что?! Объяснил. Жена в слезы! Позор! Ахмед поторапливает. Его отец и мать вмешались, уговаривают Хадичу не идти. Но слово мужа — закон.

Пришла Хадича с Ахмедом в тот дворик. А там по приказу «шаха» «палач» уже самовар вскипятит, разлил чай в пиалы. Взяла Хадича в руки поднос с налитыми пиалами, откинула чачван — покрывало. И сразу тридцать восемь голов опустились к земле, чтобы не смущать молодую женщину, только одна гордо поднята.

Хадича стала обносить всех чаем, дошла до Мансура. Тот и говорит: «Об одном я мечтал, чтобы раз в жизни ты мне поднесла пиалу чаю. Спасибо тебе!» Она не ответила ничего, обошла до конца круг сидящих, опустила покрывало и ушла. Все молчали, знали: не жить после эдакого позора молодым вместе.

Так и вышло. Вернулся Ахмед домой, собрал ее вещи, свои вещи ей отдал, четыре арбы нагрузил, взял переднюю лошадь под уздцы и отвез Хадичу в дом родителей. На том его семейная жизнь и кончилась.

Прошло несколько месяцев. Каждый вечер встречались на гапе Ахмед и Мансур. Мельница сломалась, а колесо все шумит: все понимали — Ахмед ходит на гап, потому что ждет своего часа, а Мансур ходит, чтобы трусом его не сочли. Настал день, когда ошичка сделала Ахмеда «шахом», а Мансура «вором». И Ахмед говорит: «Дождался я, Мансур, этого дня. Долго ждал! И тоже с визирем советоваться не буду...» Все молчат, ждут, что скажет Ахмед. И он сказал: «Отрубить ему голову!»

«Палач» обязан исполнять приказание «шаха». Делать нечего, связал Мансура. Тот побледнел, но сопротивляться не стал: знает, виноват. И «палач» топором отрубил ему голову. Во всей махалия — крик, плач, волнение. Привели отца, вот которого мы с вами встретили, увидел сына: лежит в крови, отрублена голова. Зашатался отец, спрашивает: «Кто сделал?» — «Шах». — «А кто был шахом?» Показали на Ахмеда. А отец знал все. Все знали. Подошел к Ахмеду. Тот стоял, опустив голову. Посмотрел отец Мансура, посмотрел на Ахмеда и вдруг обнял его как сына. И все заплакали. А тут принесли саван. Отец Мансура сказал: «На что ему саван, для него и могилы нет!» Вот какой человек этот отец. И суда потом не было: все по шариату.

Наби Ганиев помолчал и заключил так свой рассказ:

— Старик всех своих пережил, один остался. Вокруг давно живут по-другому и развлекаются по-другому: кто — в театр, кто — в кино, кто — на стадион. А он все еще носит свое старое горе, живет один, ни с кем не общается... Он словно тень прошлого между нами.

— Если ты умен, ты должен знать, что совершаемые тобой поступки — здание, находящееся на берегу реки или поблизости от пожара... — этой строкой Корана начал Наби Ганиев рассказ.

В нашей махале произошел всем случаям случай.

У соседей умерла дочь, школьница, — перешла в последний класс и вдруг умерла. Единственная дочь!

По обычаю, чтобы смягчить горе семьи, после похорон в доме умершей собрались родственники, друзья, соседи. Пришел туда и я. Беседа, что бурдюк, — пробей дырочку, и потечет... В калитку вошла старуха, никто не удивился, жене кладбищенского сторожа — омывальщице положено приходить в этот час. Родители умершей должны одарить ее полной одеждой, издавна повелось.

Окинув взглядом дворик, она направилась ко мне. «Есть разговор...» — вывела за ворота и решительно сказала:

— У вас в кино бывает все! Вас не напугаешь! Знайте же: она жива! — и рассказала...

Но прежде надо вам кое-что объяснить. У нас, узбеков, омывальщица обязана снять с покойницы кольца, серьги, браслеты. Делается это, как правило, в присутствии хозяйки дома. Так вот, когда старуха принялась снимать золотое колечко, никак не слезавшее с пальца девушки, мать заплакала и сказала: «Не хочу... Не надо мне ничего... Пусть украшения останутся с нею...»

Похоронили. Кладбище опустело. Старуха и говорит мужу: зачем-де пропадать колечку да серьгам с цветными камушками. Старик запротестовал, однако дал себя уговорить, и они отправились к свежей могиле. Раскопали. Старуха в нее забралась. Надо ли вам говорить — вы-то знаете! — у нас не в гробах хоронят: вырывают глубокую яму, сажают покойника лицом к Мекке, прикрывают сверху досками и засыпают землей.

Итак, забралась она в могилу, нащупала руку девушки — та руку вяло убрала. В испуге выскочила старуха наверх. Рассказала мужу: поняли — жива девушка. Хоть и страшно, но привыкла к покойникам: сняла с мужа халат и назад — в могилу! Притронулась в темноте к девушке — та голову отодвинула. Дрожащими руками сняла с нее саван, облекла в халат — и на воздух!

Девушка без сознания, однако дышит, сердце бьется. Отнесли в свою хибару на краю кладбища. Извлекла старуха из сундука свое девичье платье, одела девушку, говорит старику:

— Поставь самовар! Придет в себя, скажи: «Вы в гостях, скоро

тетя придет!»

А сама в дом покойницы.

— ... Посоветуйте, что делать? Как сказать им?

Ясно представил себе: убьют фанатики старуху за то, что залезла в могилу — на колечко да серьги польстилась.

— Вас же убьют! — говорю.

— Во всем воля аллаха! Пусть убьют! Разве я могла живую оставить в могиле?! Величайший грех!

Понял, разубеждать ее нет смысла. Что ж... Значит, быть соучастником убийства старухи?! Ну нет! Надо спасти ее от нее самой, от ее языка. Но как заставить ее слукавить перед лицом аллаха?! Значит, мне самому, спасая старуху, надо слукавить. И сыграл. Даром что ли каждый день показываю актерам.

— Надо сперва, — говорю, — вызвать отца, чтобы мать не напугать!

Пошел к калитке... Внезапно рухнул на колени, будто услышал голос свыше. Ткнулся лбом в землю, помедлил, затем пробормотал: «Благодарю тебя, всемогущий!..» — и бегом — назад к старухе. Говорю:

— О чудо из чудес! Я шел... и вдруг услышал голос, нисходивший с небес: «Велико благодеяние этой женщины! И высока вера ее! Дабы уберечь ее от гнева праведных людей, повелеваю говорить всем: не она разрыла могилу, а ее собака! И пусть это останется тайной между вами!»

Старуха слушала с благоговением.

— У вас ведь есть собака?

— А как же, кладбище охраняет...

Мы оба опустились на колени, совершили намаз, возблагодарив всевышнего за то, что удостоил нас чуда. Чтобы закрепить в голове старухи веру, что все на самом деле, я громко произнес строку из Корана:

— Аллах — творец небес и земли, а когда он решает какое-нибудь дело, то только говорит: «Будь!» И оно бывает!

Только после этого я вошел во дворик, радуясь, что моя выдумка и старухе защита, и всему собачьему племени польза — поднимет значение псов в глазах правоверных.

Недоумевая, отец вышел со мной на улицу. Омывальщица поклонилась ему в пояс и начала издалека:

— Успокойте свою душу и прохладите глаза... Стоит отец, не понимает, куда она гнет. Тут она возьми и сразу выложи:

— Жива ваша дочь!

Я рассказываю, как могилу разрыла собака. Отец стоит, держась одной рукой за бороду, не понимает. Еще Ал-Газали говорил: «Человеческий разум подобен летучей мыши, которая

слепнет, увидев яркий свет». С полчаса растолковывали ему, прежде чем отец уразумел наконец, что дочка жива.

Уже втроем решили: прежде всего посвятить во все двух женщин, ближайших родственниц — им сподручней сказать матери. Отец вернулся во дворик, родственницы увели куда-то мать. Потом рассказывали: никак не могла взять в толк, что дочка жива. Почувявши что-то неладное, сидевшие во двореке начали расходиться по одному, по два...

Быстро прибрали дом, чтобы все — как вчера. На кладбище поехали отец и омывальщица. Добрались на трамвае. Глянул отец в окошечко хибары: сидит дочь, поджав ноги, пьет чай. Он забрал ее, и поехали домой опять же на трамвае.

Очень он боялся, что их увидит кто из соседей, обошлось: оберегли от чужих глаз наши глинобитные заборы-дувалы.

Мать приняла дочь так, будто та просто-напросто вернулась из гостей. Уложила в постель — мол, обморок был. Вызвали из районной поликлиники женщину-врача, предупредили обо всем. Врач прописала лекарство, сказала — месяца два нельзя ей рассказывать, чтобы не было нервного потрясения.

Отец и мать предупредили родственников и соседей, оповестили и подружек по школе. Что-что, а молчать, когда надо, мы, узбеки, умеем, это у нас в крови. Но разве все предусмотреть!

Кончились каникулы. Первый урок. Входит в класс учительница биологии (была на похоронах своей ученицы и в тот же день улетела в Крым на курорт, потом отдыхала дома в Фергане, ничего не знала):

— Ты же умерла!!

— Как умерла... — пролепетала девушка.

— Я же тебя хоронила!

Школьники все сразу загомонили, пытаясь остановить учительницу, объяснить. Девушка заплакала и бросилась в дверь.

После этого целый месяц болела.

Наби Ганиев, поведав мне эту историю, взял с меня слово: не рассказывать никому, чтобы не вышло беды. Ну и по сей день в Ташкенте бродит миф про собаку, которая разрыла могилу, спасла девушку. Только теперь, когда Наби умер и старухи давно нет на свете, могу рассказать не только тебе, но и всем, как оно было на самом деле.

Продавщица груш

Году в сорок шестом зашли мы однажды с Наби Ганиевым на старогородской базар. Уже в те годы это был лишь осколок базара, куда бегали в детстве. Раньше базар был «средоточием мира», главным нервом жизни среднеазиатского феодального города. По сути дела, и города-то возникали здесь не как города, а как огромные базары, обраставшие со всех сторон глинобитными мазанками, двориками, улочками. Мало-помалу базар сжимался-сжимался, пока не превратился в то, чем сейчас должен быть, — рынок, где продают свои продукты и изделия узбекские колхозники и кустари.

Итак, зашли на базар. Мне захотелось купить груш или яблок. Было это в конце дня: базар уже почти опустел. Во фруктовом ряду под навесами стояло трое-четверо продавцов в тюбетейках и одна женщина в парандже с закрытым лицом. В то время на улицах еще попадались узбечки в парандже. На прилавке перед женщиной красовалась корзина с грушами. Знал этот сорт: на вид груши плотные, грязновато-зеленого, несъедобного цвета, но надкусишь — и стремительно наклоняешься, чтобы не закапать себя сладким, пахучим соком.

Ткнул я пальцем в корзину и задал стереотипный вопрос:

— Неча пуль бир кило? (то есть: «Почем кило?»), И услышал из-под паранджи ответ:

— Пять рублей, касатик.

Я разинул рот: русская речь из-под паранджи?! Уже собирался пуститься в разговор, но Наби Ганиев сжал мою руку и насильно увел. Я остался без груш, зато был вознагражден рассказом.

— Знаете ли вы, кто такие «самарские»? — спросил Ганиев.

Мне ли не знать?! Я и сам был в некотором роде «самарский», хотя отродясь не жилал ни в Самаре, ни в Самарской губернии. «Самарскими» в Ташкенте прозвали всех, кто бежал сюда в дни поволжского голода 1921–1922 годов. Большею частью это были крестьяне — голодные, разутые, раздетые. По городу пошло воровство. И хотя «самарские» в Старом городе не воровали, боясь самосуда, именно в те дни наиболее осторожные из торговцев стали на свои лавчонки навешивать замки. До того, уходя, просто прикрывали вход циновкой и завязывали веревочкой. Воровство у узбеков было крайне редким, почти исключительным явлением. Обмануть, всучить какую-нибудь дрянь у здешних торговцев считалось доблестью, этим хвастались. Но украсть? Никогда!

— Среди «самарских» была и Маруся, — начал рассказывать

Ганиев. — Ее мать и отец умерли в деревне от голода. Она с братом поехала в Ташкент. Однако брат по дороге тоже умер: от тифа. Так что попала в Ташкент Маруся совсем одна, и как-то вышло, что угодила в публичный дом. Во времена нэпа какой-то ловкач ухитрился содержать подпольный дом такого рода. Как Маруся оказалась там, врать не буду, не знаю. Скорей всего растерялась — куда пойти, куда деться? Она ведь девчонкой была лет пятнадцати, обмануть такую — раз плюнуть!

И вот попал в этот самый дом, к Марусе, молодой узбек по имени Хасан. И влюбился! Да как! С ума сошел! Любовь не спрашивает «кто», любовь говорит «она», и погиб человек, пропал на всю жизнь!..

— Что ж, она была очень красивая? — спросил я Ганиева.

Он блеснул глазами и усмехнулся:

— Я ее не видал. Но у нас говорят: красива не красавица, красива любимая. Да и разве в красоте дело? Дело в... впрочем, вы сами знаете в чем.

— В чем? — спросил я.

Наби Ганиев уставился на меня, видимо желая удостовериться, не смеюсь ли, и спросил:

— Сказать?

Я кивнул. Он улыбнулся и заговорил:

— Однажды Ходжа Насреддин взобрался на минбар (кафедру для проповедей) и обратился к собравшимся: «Знаете ли вы, что хочу сказать?» Все закричали: «Не знаем!» — «Если не знаете, то нечего вам и говорить», — сказал он и ушел. На следующий день он задал с минбара тот же вопрос. «Знаем!» — закричали все. «Если знаете, о чем же буду вам говорить?» — и ушел. На третий день на его вопрос все закричали: «Половина из нас знает, а половина не знает. Пусть тогда те, кто знает, расскажут тем, кто не знает», — сказал Ходжа Насреддин. Я, как и он, дал вам исчерпывающий ответ, а теперь не мешайте! Я рассказываю вам серьезную жизненную историю, а вы меня все время перебиваете...

Чудо что за человек был Наби Ганиев! Я молчал пристыженный, он продолжал рассказ:

— Пришел к себе домой Хасан, рассказал про Марусю. И объявил, что хочет на ней жениться. Жениться?! На русской?! Уже одно это значило, что мулла проклянет в квартальной мечети и родственники отвернутся. Уходи навсегда в Новый город, ищи себе русских друзей! А тут еще не просто на русской, а на женщине из такого дома. Помню, когда я объявил, что поеду всего-навсего учиться в Москву, моя мать и то плакала: «Заклинаю тебя, сын мой! Заклинаю молоком, которым

вспоила, — не говори таких слов, чтобы кто-нибудь не услышал и не сказал, что ты сошел с ума!» Если моя мать говорила так, то как убивалась его мать!

Но еще Абуль-Фаррадж сказал: «В двух случаях трудно владеть собой: когда охвачен страстью и когда разговариваешь с глупцом». Хасан был охвачен страстью. Он уехал из дому, купил на окраине Нового города хибару, пристроил к ней домик. Его проклял мулла, от него отреклись не только родственники, но мать и отец. А он был счастлив, работал сцепщиком на железной дороге и обожал Марусю. Единственное, что сразу попросил ее сделать: закрыть лицо, надеть паранджу, чтобы никто никогда не посмел на нее указать пальцем, — никто из тех, кто бывал в том проклятом доме! Да и, кроме того, Хасан был сын своего народа, в нем жили предрассудки: для него паранджа была символом супружеской верности.

Прошло много лет, у Хасана и Маруси — большая семья, много детей, с добрый десяток. За эти годы... Сперва по трое-четверо женщин сжигали паранджу на кострах... Потом все больше, все чаще... Наконец все наши женщины открыли лицо. А Маруся по-прежнему носит свою паранджу, носит как знак супружеской верности, как знамя своего счастья! Кстати, захотите о них написать, смело называйте имена, их придумал я, а настоящих не узнаете: подите попробуйте теперь ее отыскать!

И Наби Ганиев по-детски рассмеялся: как перехитрил!

9 апреля. Ташкент

Когда я вернулся из Ташкента после землетрясения, ты (помнишь?) спросила: «Надо ли на этом месте опять строить Ташкент?» Я не задумываясь ответил «Да!» не потому, что знал это твердо, а просто потому, что не мог представить себе землю без Ташкента. Но на сердце у меня скребли кошки (теперь могу тебе признаться), как бы из-за спешки не понаковыряли тут своих Черемушек: Черемушек в тысячный раз.

Кто-то (не помню, кто) сказал, что маленькая доза равнодушия — надежная броня для сердца. Не согласен. Как говорят узбеки: «Дурное слово возвращается обратно», равнодушие мстит. Даже маленькая доза его быстро, а главное, незаметно опустошает сердце. Когда человек наконец замечает, что одинок, уже ничего поправить нельзя. Тогда, вместо того чтобы корить себя, он обычно озлобляется на жизнь. Между тем жизнь, в особенности в дни народных бедствий, являет нам удивительные примеры людского неравнодушия.

«От хорошего друга раньше смеха засмеешься». В полной мере ощутил это, побывав тогда в лагере «Дружба-5»: в нем жили

парни и девушки из Грузии и Литвы, Ростова и Новочеркасска, приехавшие на помощь Ташкенту. Провел с ними вечер в той особой атмосфере, когда люди еще рта не раскрыли, а уже начинаешь улыбаться, хотя происходило это сразу после шестибалльного толчка, он у всех был на устах:

— ... Это у меня шестибалльный порез: брился, вдруг шесть баллов в руку — и землетрясение на лице!

Возле палаток строителей на Чиланзаре — новом жилом массиве — видел писанную от руки афишу «Вечер двенадцатибалльных танцев». Бальные да еще двенадцати — представляешь? Не запомнил всех шуток, да они и кажутся остроумней, когда среди общего веселья их вдруг скажет человек счастливый счастьем молодости. Сидели, балагурили, а утром расходились по своим стройкам, над которыми краны, краны, краны...

Конечно, торчащие всюду краны вызывали почтение. Скажу больше, кабы не этот размах строительства, я и у себя в Москве, наверно, посегодня теснился бы в гомоне, толчее и обидах. Множество счастливых новоселий справили люди и в домах-кубиках! Но... Напишет человек плохой роман — можно не издавать, а издадут — можно не читать. Напишет плохую музыку — можно не слушать. А в доме нельзя не жить, дом стоит, мозолит глаза.

Недомолвки, словно пятна сырости на счастье. Не могу от тебя скрыть: когда нынче летел в Ташкент — думал с тревогой, каким увижу его. Неужто на смену поэтичным домикам с садиками всюду пришел вездесущий стандарт? Ах, если бы мог, подобно мечу, направить перо в грудь тем, кто живет только сегодняшним днем да завтрашним, а о послезавтрашнем знать ничего не желает! Если бы мог врезать им в сердце понимание того, что потребность в красоте у человека так же сильна, как в еде и одежде! И даже сильнее! Ведь именно в жажде красоты прежде всего проявляется человеческое в человеке.

Сошел с самолета, готовясь придиричивым оком осматривать город. Покатили улицей Богдана Хмельницкого, и почувствовал, как разглаживаются морщины на лбу, стал успокаиваться сердцем, а мгновение спустя проникаться и нежностью. Подарок, какого не ожидал! Свое, совсем свое — современное, вместе с тем самобытное, национальное в пространственных линиях и бирюзе отделки, гармоничное, родившееся на свет, чтобы радовать глаз!

Особенно восхитило меня одно здание (как жалел, что нет тебя рядом — смотреть в четыре глаза!): едешь от аэропорта — балконы фасада глядят на тебя. Миновав его, оборачиваешься взглянуть еще разок — балконов как не бывало — сплошная

стена. Остроумное архитектурное решение, чтобы летом не задыхаться от зноя: вечером выходи дышать прохладой на балкон, днем громада дома защищает твоё жильё от прямых лучей солнца. Узнал имя архитектора — Андрей Касинский.

Праздник для меня продолжался и сегодня: бродил по центру Ташкента, не мог оторвать глаз от многих кварталов. Можно, оказывается — только приложи немножечко любви! — строить красиво! Сколько неповторимого! Чайхана под группой голубых куполов на новом широком бульваре! А водоемы, облицованные замечательным художником и мастером цветной керамики Александром Кедриным! А вереницы грандиозных фонтанов! Слова бедны, чтобы все описать.

Испытание стихией

В трагический для Ташкента апрельский день Александр Твардовский позвонил мне: «Конечно, вам необходимо лететь в Ташкент? Угадал? Приходите в «Новый мир», оформим командировку». Так я очутился в Ташкенте, моем милым, прекрасном, разоренном бедой.

Как не вспомнить, с чего началось! Ранним утром, еще до зари, 6 апреля 1966 года, вдруг загрохотала земля, зашевелились стены, посыпалась штукатурка, кое-где рухнули потолки, многоэтажные дома заскрежетали, будто кто-то невидимый сжимал их в гигантских тисках, и собаки всего города завыли, залаяли, ташкентцы, вскочив с постелей, ринулись на улицы, толком не понимая еще, что происходит.

— ...Горка падает, летят со звоном мои чашки-бокалы. Бежим по лестнице, а он кричит: «Не плачь! Разбитая посуда к счастью!» Выбежали кто в чем. Видик у всех! Не то пляж, не то психбольница. Стоим под аркой нашего дома, обсуждаем землетрясение. Только потом сообразили, что стоим в самом опасном месте: привыкли укрываться под стеной дома.

Так рассказывали мне в те дни о первом, самом мощном толчке 26 апреля, когда все городские часы остановились в 5 часов 20 минут.

— ...Я проснулся от грохота. Дом ходуном — вот-вот развалится. Собаки рвутся в дверь, лают, рычат. За окном — странный, ни на что не похожий свет, которым окрашены дома, деревья, небо. Первая мысль: атомная война! Может, ахнуло-грохнуло где-нибудь в Чирчике, а сюда волна докатилась? Сунул в карман военный билет, схватил «Спидолу» и вслед за домочадцами — вниз, на улицу...

Это мне рассказывал по свежему следу живущий в Ташкенте интереснейший писатель Олег Сидельников.

Все счастье Ташкента, что толчки были вертикальными: дома здесь попрыгали, попрыгали да и встали на место. Едва ужасный гул затих, люди начали осматриваться. В первое мгновение казалось: как стоял Ташкент, так и стоит, обрушившихся кровель почти не видно. Количество их и впрямь оказалось ничтожно для города с миллионным населением. Но когда, постепенно смелея, прислушиваясь к недрам земли, поглядывая на потолки, люди вошли в квартиры, они увидели: положение куда серьезней: глубокие трещины избородили стены, некоторые совсем отошли, держались на честном слове.

Остановился я в те дни, как всегда, у Козловских. Внутри

дома все было обычно, только полочки пустые: вещи сняты, чтобы не упали, да кое-где по штукатурке змеились трещины. Дом финский, фанерный — при толчках трещал, прыгал... что ему сделается! Хуже тому, у кого дом из кирпича: сколько их, таких домов, вокруг стали негодными для жилья!

Первомай город встретил в палатках. Не так-то просто жить в палатке с детьми — грудными и школьниками, с чемоданами, кроватями и сундуками, кошками, радиоприемниками и холодильниками, кастрюлями, со всем скарбом. Да еще при плюс сорока градусах Цельсия в тени. Прошелся по городу, добрел до Хоршинской. Палатки, палатки...

В обрушившемся доме среди обломков штукатурки и битых кирпичей завтракала семья, развязав узелок: имущество увезли, вернулись за последними мелочишками, какие удастся откопать. Шел мимо сосед:

— Что-нибудь нашли?

— Да, кубышку с золотом.

И добрые улыбки на лицах. Ну разве не грустные шутки?

Ты понимаешь, что побывал и на милых улицах детства... Подошел к школе с замиранием сердца: стояла на месте! Только потолок нашей бывшей учительской был провален, на полу крошево кирпичей. А во дворе маленькие ребятишки воткнули в строительный песок палочки и держались за них, девочка лет шести в синеньком платьице торжествующим голоском выкрикнула: «Ты, земля, трясися, а мы за колышки держися!» Все, отпустив свои палочки, бросились кто куда, хватаясь за чужие палочки. Одна девочка осталась без колышка и стала «водить»: «Ты, земля, трясися...»

Навестил и Корженевскую, встретила меня Евгения Сергеевна радушно, угостила. Во время первого толчка дом, в котором она жила, тоже прыгал и скрежетал. Хотел задать ей вопрос — почему не переселилась, как ее сосед, в палатку, во двор? — да вовремя удержался. Глупый вопрос! Ей, Евгении Корженевской, дрожать от страха перед стихиями?!

Буквально на второй день после землетрясения тут сумели организовать уличный быт! Рестораны расставили столики прямо на мостовых, открылись уличные парикмахерские, уличные камеры хранения вещей. В палатки переселились медицинские пункты, сберкассы, отделения связи, универмаги и магазины. Палатки, палатки... И вот на их месте — современный громадный город, с которым меня роднит словно бы подсушенное солнцем небо, и то, как асфальт белеет сквозь зелень листвы, и на проспектах многоязычная речь...

Ташкент выдержал испытание стихией. А наша с тобой

дружба? Она выдержала испытание временем — хоть и с бурями, с подводными камнями, с порогами. Ну а если ворвется стихия? Выдержит ли дружба это испытание? Ведь со стихиями шутки плохи. При них нельзя быть равнодушным к друзьям. Вот истинное испытание сердца! Но я здесь, а ты... Впрочем, еще Гоголь говорил: «На свете большей частью бывает так, что одна вещь находится в одном углу, а другая, которой следовало бы быть возле нее, в другом...» Я здесь, а ты далеко: так далеко, что у меня очень длинные дни.

10 апреля. Ташкент

Прекрасно ранним утром в садике Козловских. Поют дрозды на свой особый флейтовый манер. Воздух... чудо! Запахи тополевых весенних клейких листочков. Садык, садовник и цветовод, старый друг семьи Козловских, разделал сад в чисто узбекском вкусе. В глубине купы персиковых и вишневых деревцев, кусты гранатов и цветущей японской айвы. В стороне полуарка виноградника. Посреди садика водоем.

Вставши, неумытый, чтоб не тревожить хозяйку, вышел в сад, извлек из футляра свою «колибри» — поговорить с тобой. Рядом Гоппи — ручной журавль, смешно приседая и кланяясь, танцует для меня свой танец. Танцует он его только перед мужчинами, а женщин, даже Галю (может, он журавлиха?), танцем не удостаивает. Летел в журавлином косяке, кто-то подстрелил, упал в садик Козловских, Алексей его выходил, научился и сам курлыкать по-журавлиному. Спал Гоппи обычно в комнате, стоя на одной ноге возле дивана Алексея, спрятав голову под крыло. Когда Алексей окликал его журавлиным гортанным возгласом, из-под крыла раздавался ответ.

Случалось в первые годы (сколько раз видел!) — на журавля нападала тоска по стае. Поднимет клюв к поднебесью, откинув две пряди седых волос, издаст трубный крик... Ни звука в ответ. Ни звука! Наклонит в раздумье голову, в фигуре его совершенно человеческая тоска. Но глаз красный — не человеческий, птичий, и, кажется, лишен всяких чувств.

Сколько лет прошло с тех пор, а журавль все еще жив. Теперь уже можно смело сказать: когда с подбитым крылом рухнул сюда, ему подвезло — попал в человечесные руки. Его собратьям, египетским журавлям-красавкам, подвезло меньше: за эти годы журавлиные стаи так поредели от выстрелов, что красавки угодили в Красную книгу.

Нынче страстью Гоппи сделался телевизор: едва Галя включает его, прибегает из садика в дом, стоит на одной ноге, глядит не отрываясь. Всех потряс Гоппи в годовщину смерти

Алексея: собрались в доме друзья, кто-то принес и включил магнитофонную запись говорящего Алексея. Что сделалось с журавлем! Кинулся по всем углам искать хозяина, тыкаясь всюду головой, призывно крича и жалуясь... Пришлось выключить магнитофон, но журавль долго не успокаивался. Кто мог ждать такое от птицы?

Хочется рассказать тебе побольше об Алексее... Невысокий, плотный, стремительно поворачивавшийся к собеседнику, поблескивавший глазами, всегда взметенный, шуткой отвечавший на шутку. Удивительная память! Цитировал наизусть целыми страницами Гоголя и Толстого, Пушкина и Пастернака. Знал великих композиторов прошлого, будто близких друзей.

Бывало, спросишь: «Как написал Шопен такой-то этюд? Когда и при каких обстоятельствах Лист создал такую-то вещь?» Расскажет так, что возникнет живая картина: где и когда написано, среди какой природы, среди каких людей, в каком драматическом повороте жизни, какие вокруг были разговоры, восклицания, отзвуки... Не ответ, а целая историческая новелла!

Удивительно ли, что люди влюблялись в Алексея. Анна Ахматова посвятила ему несколько стихотворений и часто заглядывала в гости, когда жила в Ташкенте, а уехав, писала письма из Ленинграда. Приехал на гастроли, вернувшись из заграницы на родину, Вертинский, побывал у него и писал до самой смерти письма.

Шутки и затеи без конца! Отправился как-то Алексей в Бухару, впервые в жизни. Сговорясь с Галей, уезжая, оставил ей семь писем. На конвертах числа: распечатать тогда-то... Каждый вечер собирались у Гали друзья Алексея, среди них композитор С. Н. Василенко. Галя распечатывала «свеженькое, прямо с почты» письмо и читала вслух. Описывалась Бухара, что ожидал увидеть, в чем обманулся, какие неожиданные подарки подбрасывала ему в поездке судьба, рассказывал веселые дорожные случаи... Письма выслушивались с живейшим вниманием, обсуждались. Вернулся Алексей через неделю, все собрались, и когда смолк одобрительный хор голосов по поводу писем, Алексей признался в розыгрыше и рассказал о подлинной поездке.

За шутливостью Алексея, за пустячной болтовней ни о чем угадывалось нежное сердце, которое стыдилось быть напоказ. Ведь именно, чтобы не быть напоказ, — буйство шуток и нескончаемая изобретательность в совершенно детских проделках. И это издавна... Еще Константин Сергеевич Станиславский называл Алексея «стрункой» театра.

Нет, ты послушай! В тридцать первом году Алексей кончил Московскую консерваторию по классу Н. Я. Мясковского. Станиславский попросил рекомендовать ему способного молодого дирижера «без рутины». Рекомендовали Алексея: музыку писал с шести лет, «Героическая увертюра», исполненная

при выпуске из консерватории, пленила всех свежестью. Когда Алексей вышел первый раз за пульт, Константин Сергеевич сказал:

— У вас некоторая скованность в руках. Но я вам сейчас ее развяжу. Выходя на сцену, поправляйте себе запонку.

С тех пор этот жест на всю жизнь.

Блестящий взлет музыканта. Дирижер у Станиславского. И успех первых собственных сочинений. На беду! Приехал с гастролями из США Вильямсон — главный дирижер «Вестминстерского хора», попросил показать партитуры хоров советских композиторов. Из сотен хоров выбрал «Сюиту для хора а капелла» Козловского, увез исполнять в Америке. Потом по просьбе Вильямсона Алексей отослал ему второй хор.

Вскоре Козловский переселился в Ташкент. Галя уехала с ним. В том же тридцать шестом году ему переслали письмо Вильямсона: писал, что показал хоры Алексея Леопольду Стоковскому (ни много ни мало). «Они очень понравились ему. И он сказал, что в следующем сезоне исполнит любое ваше произведение».

Была у Алексея черта, которая помогла ему себя сохранить. Председатель одного из исык-кульских колхозов как-то при мне сказал: «Надо любить все краски, а не говорить: «Выношу один только черный цвет!» Уж если кто любил все краски — так это Алексей! И краски, колорит. С увлечением окунулся он в пиршество Дебюсси, он в особенности ценил в музыке именно краски, колорит. С увлечением окунался он в пиршество красок узбекского народного мелоса.

Когда Николай Каразин впервые услышал узбекскую песню, он решил, что оплакивают покойника. Теперь, если не считать безнадежно тугоухих людей, трудно найти в Средней Азии русского или узбека, которые не отыскили бы в музыке друг друга красот, способных глубоко растрогать человека, вдохновить и зажечь стремлением к великому. Две совсем разные и (это было убеждением многих) неслиянные музыкальные культуры встретились, оплодотворив друг друга. Больше других для этого сделал Козловский: вот почему очень скоро после приезда в Ташкент он стал народным артистом Узбекской ССР, а потом и профессором Ташкентской консерватории.

После войны Алексею не раз предлагали кафедры композиции и инструментовки и в Московской и в Ленинградской консерваториях. Он остался верен Средней Азии — ее природе, ее музыке. Очень люблю его «Танавар» — симфоническую поэму, родившуюся из старинной женской песни о невозможности исполнения мечты, но как написанную Алексеем! По

завораживающему ритму единственной и в то же время никогда не повторяющейся, волшебной темы, во всей мировой музыке, мне кажется, есть только один аналог — «Болеро» Равеля.

Люблю симфоническую поэму «Лола», рожденную весенним праздником, приуроченным к цветению диких тюльпанов. По богатству, трепетности и чистоте красок ее могу сравнить разве лишь с «Морем» Дебюсси. Люблю возникшую на скрещении древних среднеазиатских макомов и современного симфонизма поэму «По прочтении Айни». Люблю оперу «Улугбек»... Да мало ли что еще!

Когда Джавахарлал Неру приехал в Ташкент, на концерте была исполнена в его честь «Индийская поэма» Козловского. Надо тебе сказать, что в Индии, как и почти всюду на зарубежном Востоке, между народной музыкой и европейской до сих пор пропасть: за три века владычества англичане не сумели перебросить через нее мост. Неру был так взволнован, услышав в европейском оркестре родную музыку, не потерявшую национального колорита, приобретшую совершенно новые краски, оставаясь в то же время глубоко индийской, что тут же на концерте попросил подарить ему «манускрипт с нотами». Целую ночь Алексей с тремя музыкантами переписывал партитуру. В четыре тридцать утра под окнами зарокотала машина: приехали из мастерской «примерять» папку к нотам. И Неру увез подарок домой,

О дирижерском искусстве Алексея при жизни его ходили легенды. Симфонии Скрябина никто не умел исполнять, как он. Хорошо помню эти концерты! Каждый раз волнение, будто первый дебют. «Где черный носок? Где белый платок?» — все летало по комнате, вещи оживали, прятались в самых немыслимых местах, их надо было разыскивать, и когда машина, наконец, увозила Алексея, чудилось — по комнатам прошлась буря: все перевернуто, ничего не найти.

Однажды Алексей сыграл при мне Баха и Генделя, рассадив оркестр, как во времена Баха: дирижер лицом к публике. Это был единственный в своем роде концерт. Отзвуки слышал спустя несколько месяцев в Москве. Когда дирижер стоит в глубине сцены лицом к публике, каждый жест его, обращенный к оркестру, раскрывает музыку с невероятной выпуклостью. Как ты понимаешь, при этом нужно, чтоб был дирижерище!

Главными распространителями легенд о гениальном дирижере Козловском, живущем где-то за горами, за долами, были пианисты и скрипачи, приезжавшие с концертами. И о композиторском даровании его тоже ходили легенды — потому что, кроме музыкантов, мало кто знал его музыку. Личная, почти

детская незащищенность художника, инстинктивно сторонящегося обид и уколов, которые закрывают доступ в сердце самым тонким, самым глубоким и трепетным ощущениям жизни, какие одни только и дают жизнь истинному искусству, — вот причина того, что он и пальцем не ударил, чтобы как-нибудь «пристроить» свое произведение.

И вот он умер, клавиры его сочинений и пластинки с записями музыки расходятся все большими тиражами, и к его домику ширится паломничество со всего света.

«Обыденное становится интересным в столкновении с трагическим и смешным»: могу приводить тебе без конца многие тонкие наблюдения Алексея об искусстве. Но больше всего обязан ему тем, что он ввел меня в понимание симфонизма и его возможностей.

Ты, конечно, замечала не раз, что в наши дни поиски путей в самых разных жанрах искусства все больше тяготеют к симфонизму. Но задумывалась ли над этим? В симфоническом построении решающее значение приобретает умение стремительно перейти от одной темы к другой, умение остро стыкать темы, открывая в их столкновениях глубину жизни, умение, разрывая пути сложившихся жанров, смело скрещивать их и, казалось бы, несоединимое соединять...

Не договорил, как-нибудь в другой раз. Раздался голос Гали из дома: «Витя! Где ты?» Пойду попивать «фирменный» чаек дома Козловских и за дружескою беседой коротать утро.

10 апреля. Вечер. Ташкент

За чайком, за разговорами Галя спросила меня, какими судьбами впервые попал я в Ташкент. Стал рассказывать, и, как всегда при воспоминаниях, к горлу подступало волнение, но такого, как сегодня, признаться, не ожидал. Вернулся нынче к истокам моего бродяжничества — к годам, когда вместо дома, вместо койки, был у меня ночлег на камнях и соломе в темных — совершенно темных, без света — подвалах Павловского здания, известного еще в дореволюционной Одессе «здания дешевых квартир». Мне не терпится поделиться этим с тобой. Придется начинать с того, «Как очутился в Одессе»: иначе не расскажешь!

Одесса! Одесса!

Никогда не знаешь заранее, где получишь урок, который для тебя на всю жизнь. В школе, в вузе проходишь десятки дисциплин, а потом оказывается, они просеялись сквозь тебя, как сквозь сито, осталось только «высшее образование». А какой-нибудь случайный толчок... Таким толчком, потрясшим меня и в конечном счете определившим жизнь, был день, когда осенью 1914 года с борта прибывшего из Варны парохода «Королева Ольга» впервые ступил в Одессе на русскую землю.

В Швейцарии, где родился, у меня было два языка: язык быта — французский, на нем болтали все на улицах, в садах и лавчонках, и язык нашей семьи — таинственный, русский. На нем можно было разговаривать с лохматыми сенбернарами, развозившими молоко в тележках. А еще лучше было в Шаи — торговом центре Лозанны, задрав голову вверх, приветствовать двух кукол-старичков (на нем шляпа с перышком!): показывались из крошечного домика-барометра, предвещая хорошую погоду, и скрывались в домике перед дождем. Ну разве обратили бы они внимание на мальчишку, который умеет говорить только на обыденном французском?

А тут сошли в Одессе, все говорят по-русски — на колдовском языке, принадлежащем лично мне, придуманном родителями для меня! Скоро и для меня русский стал языком быта, но колдовской налет на нем остался, а потом, когда вырос, превратился и в настоящее колдовство. Не перестаю удивляться, все на свете можно выразить с помощью этого колдовства!

Впервые на русской земле! Был слишком мал, чтобы понимать, какая это драматичная была минута в жизни нашей семьи: узнал об этом позже. Видишь ли, маму в 1906 году арестовали в Воронеже за революционную деятельность. Удалось сделать так, что до суда ее под залог отпустили на поруки, она перешла на нелегальное положение и с чужим паспортом эмигрировала в Швейцарию. Вслед за нею туда приехал отец — народоволец, профессиональный революционер (краткая его биография — в библиографическом словаре революционных деятелей в разделе «восьмидесятники»). Вот меня и угораздило родиться в Женеве!

Началась первая мировая война. Русские революционеры-эмигранты, предчувствуя революционные события, потянулись на родину. Мама успела получить в Цюрихе медицинское образование. Семь лет разлуки с Россией немало: авось за это время ее дело передали в архив и позабыли о нем! А ежели нет,

что ж: скорей отсидеть срок, чтоб вернуться к жизни, к революционной борьбе.

Когда в Одессе сходили с парохода, маму полицейские не заметили, пронесло, но потом докопались, нашли, судить перевезли в Киев. Отец подкинул меня к одесским теткам. Младшая, тетя Богуся, неизменно ходила в длинном черном платье с черным же кружевным воротничком, ее столик украшали миниатюрный портрет Тадеуша Костюшко и католическое распятие. Она ревностно взялась за мое воспитание, водила в костел, огорчалась, что вместо того, чтобы страстно интересоваться молитвенником, пялил глаза на ее сумочку из разноцветного бисера — очень нравилась мне! — или же глядел да глядел сквозь сомкнутые пальцы на солнце; пробовала приобщить меня к польскому языку и, вероятно, преуспела бы в этом, если бы не пришел день суда над мамой. Ее приговорили к четырем годам тюрьмы, и мы с отцом перебрались «к ней» в Киев.

Обосновались вдвоем на Крещатике, на верхотурке, в комнате, куда шли мимо чердачных клетей. Из комнаты был выход на открытую плоскую площадку на крыше, где мог бегать, прыгать и оставаться наедине с небом (кстати, этот дом наискосок от Бессарабского рынка пережил гитлеровский разгром Киева и стоит по сей день). По четвергам у нас с отцом были свидания с мамой в Лукьяновской тюрьме: разговаривали через решетку, рядом стоял, слушал жандарм. Мама радовалась, что сидит в одиночной камере: каждый день ее засчитывали за два, это значило, что она сможет обнять меня и расцеловать не через четыре года, а через два — какое счастье!

О жизни моей между двумя Одессами как-нибудь тебе в другой раз. Здесь только скажу, что в качестве школьно-санитарного врача маму в 1920 году бросили на борьбу с сыпным тифом, она многих вылечила, сама заразилась и умерла в Сураже — городке между Брянском и Гомелем. Я вернулся с отцом в Одессу в разгар гражданской войны.

Не помню, рассказывал ли тебе, как мы поселились в Павловском здании (на третьем этаже жила офицерская семья, снимавшая квартиру у домохозяина, сдавшая, в свою очередь, одну комнату нам), как очень скоро вслед за этим мой отец погиб, как вместе с товарищами-ребятишками хоронили его на христианском кладбище, собрав в складчину достаточно монеток, чтобы записать отца в кладбищенскую книгу, как после похорон вернулся домой, но жена офицера меня не пустила в квартиру: «Пусть кто старший за вещами придет!» Тетя Тося к тому времени умерла, тетя Богуся переехала жить в Варшаву, в Одессе оставался только двоюродный брат отца, с которым отец не был

близок, — дядя Шура: Александр Грабовский.

Старый холостяк, жил он вдвоем с ручным, сказочной красоты попугаем, причудливые кресла и пуфы, затейливые этажерки с книгами, граммофон с розовой рифленой трубкой, расшитые зелеными лилиями портьеры, на всем — слой пыли... Был дядя Шура литератором, какие писал книги и печатали ли, не знаю, маловат был, не интересовался.

Пришел со мной дядя Шура в Павловское, сложил в чемодан наши вещички, у себя дома в них разобрался, завернул метрики и свидетельство о крещении в детские мои штаны и рубахи, связал все в узелок, вручил мне. Две «драгоценности» (как тогда мне казалось) — отцовские серебряные часы и стереоскоп с бархатными надглазниками и набором картинок, спрятал в ящик письменного стола:

— Когда вырастешь, получишь. А теперь иди!

И я вышел на улицу. Куда идти? Вернулся во двор Павловского здания: старинные четырехэтажные, распространившиеся на целый квартал, корпуса, связанные решетками наружных палисадников. Знал кое-кого из беспризорников, ночевавших в его нежилых подвалах, из которых можно было проникнуть в Одесские катакомбы — уже тогда полузасыпанные: далеко пробраться по ним даже мы не могли. Водворился в подвалах. Ну и...

Мы, орава голодных мальчишек, опрокинем, бывало, лоток, схватим по пирожку и врассыпную! Вслед за нами вопли торговков, проклятия! Это для пропитания. А для развлечения карусель: бежим внутри под пологом, пахнущим гнилыми тряпками, толкаем обеими руками тяжелые, неотесанные спицы-бревна, по нашим рубахам текут солнечные пятна, просеивающиеся сквозь дырочки в полотне. Сигнал остановки — прыгаем животами на бревна, катаемся, карусель быстро сбавляет ход. Пять полных конов, за это один раз бесплатно едешь верхом на расписном скакуне.

Вечерами слонялись по Дерибасовской, по Ланжеронской... Сквозь горящие витрины заглядывали в кафе Фанкони. Знаменитое! Артистическое! Теперь знаю: созвездие имен связано с ним! Бунин и Саша Черный, Вера Холодная и Яша Хейфиц... Но к чему перечень? Взялся рассказывать о себе: так вот даже я, одесский беспризорник, «столовался» в кафе Фанкони.

Не шучу, было так: когда части Красной Армии заняли Одессу, в кафе Фанкони стали днем два раза в неделю бесплатно кормить детей, при входе выдавали алюминиевые ложки, ставили перед нами горы нарезанных ломтей хлеба и ведра с борщом. Ели наперегонки: кто успеет проглотить больше, тот больше и съест.

Вот откуда привычка, над которой ты подтруниваешь, есть стремглав.

Бывал и потом в Одессе не раз. Ю. В. Тарич, известный режиссер эпохи немого кино, снимал там мой первый фильм «Небеса». Кажется, это был и первый его звуковой фильм.

Что поражает приезжающего в Одессу — даже самое фантастическое там сразу становится бытом. Первым это понял Бабель, точнее поднял, на земле валялось — и превратил в эстетический принцип. Художественные открытия нередко валяются на земле. Большинство людей проходит мимо, не замечая либо не давая себе труда наклониться, чтобы поднять. Вот, к примеру, мне рассказал один художник-одессит историю, случившуюся на его глазах. Было это на знаменитой одесской лестнице, спускающейся широкими уступами к морю в центре Приморского бульвара.

Ошибка Сергея Эйзенштейна

— Если вы не видели драки в «Броненосце «Потемкине», считайте, что вы не родились на свет, — так он начал рассказ. — Товарищ Эйзенштейн снимал ее у нас на лестнице.

Драка — это вам не у дамского портного, она не делается на заказ. Зонтиком махать — это, видит бог, еще не драка. Ну, значит, мы деремся, выбиваемся из сил, А товарищ Эйзенштейн, всемирно известный корифей, говорит: «Смех разбирает от вашей драки! Вот что! Забудьте разные ваши там одесские штучки! А лучше вспомните, какие есть грязные слова! Все равно мой фильм — это Великий Немой, и ни одна приличная дама ваших слов не услышит. Покрепче ругайтесь! Да погромче! А ну, орлы!..» От его речи мы переполнились энтузиазмом, и посыпались такие слова, что я даже на ухо вам, простите, их не скажу: те слова, к которым прибавляют доски, когда строят, извините, забор. И от этих слов такая началась драка, что Эдуард Тиссэ, знаменитый кинооператор, стал крутить ручку. И в итоге киноленте «Броненосец «Потемкин» бурно аплодировал земной шар.

Только одного товарищ Эйзенштейн не додул. Вдруг приходит ему письмо: «Я повел мою горячо любимую на ваш исторический фильм «Броненосец «Потемкин» и не ожидал хулиганства с вашей стороны. Она краснела и бледнела, и я вместе с ней досрочно покинул кинозал». Глухонемые! Представляете, номер? Эти несчастные читают по губам даже такие понятия, как «у попа сшит колпак не по-колпаковски». А прочесть на губах общеизвестные слова для них — это тьфу!

Август двадцать первого. Еду в «Максимке» — поезде из девяноста с лишним вагонов четвертого класса: впереди два паровоза, посреди состава еще два паровоза-толкача. Где-то под Бирзулой взорван мост, поезда из Одессы в Киев идут кружным путем через Кременчуг. В вагоне веселье, хоть выбиты окна и гуляет ветер, а в животе урчит (есть хочется!), и вокруг все пропахло карболкой. Душа веселья — матрос, плечистый, щеголяющий ленточками бескозырки, перебирает лады гармони. «С дымом! — кричит матрос. — С дымом!» И все понимают, это значит: все прекрасно на свете.

На какой-то станции в вагон садится группа анархистов, деловито вытесняют всех из крайнего купе, разворачивают черное знамя, к полотнищу приклеены серебряные буквы: «Анархия — мать порядка». Матрос весело задирается: «Все валяете дурочку?» Анархисты не склонны шутить, молча выбрасывают его из купе.

К ночи все попривыкли друг к другу, утихомирились, опустили полки-нары, вагон превратился в трехэтажный барак. Огарок свечи в фонаре над дверью погас. Состав качал и тряс нас всю ночь, влезали на станциях какие-то женщины с мешками, билетов на южных дорогах в те поры не было, ехали по мандатам, по справкам, а то и просто так.

Темно, бледный отсвет станционного фонаря, кто-то пробирается по мешкам, возглас: «Осторожно, товарищ!» Сквозь перестук колес звонкий голос: «Марьюшка! Сало почем платила?» Кто-то третий: «Теперя расчет есть спички возить...» Рядом со мной на верхней полке (сели засветло) две женщины — худые, запуганные жены питерских рабочих. Держась руками за мешки, разговаривают шепотом, расспрашивают всех, что можно провозить, а что отбирают заградительные отряды.

Я тоже везу! Соль. Собравшись ехать в Екатеринбург, на Урал, разыскивать сестру, жившую там с мужем, внял чьему-то совету, смотался из Одессы на лиман, нагреб и насушил фунт соли, сказали: «В Киеве за фунт соли телянка дают!» Ну и решил: выменяю соль на шамовку — не помру в дороге с голоду. Когда греб соль в лимане, ноги так разъело, что недельку провалялся в подвалах Павловского. Отлежался, еду...

На рассвете — скрежет, грохот буферов! Вагон подскакивает. Откуда-то спереди многоголосый вопль ужаса. Мы бросились к окнам: на фоне светлеющего горизонта всадники, нацеленные на нас пулеметы. Всадники подскакали, спешились. «Швыдче! Швыдче!» И уже грохочут прикладами в дверь вагона:

«Выдчиняй!»

Ворвались в вагон. Перво-наперво выгнали без вещей женщин и ребятишек: меня с ними — хоть и тринадцать лет, а низенький и говорил дискантом. Пригрозили — кто побежит, тому пуля вдогон. Глянул вперед: понял, нас спустили под откос, десяток вагонов — в щепы! За ними несколько опрокинулись, из них через окна выбирались люди. Остальные вагоны подпрыгнули, но остались на рельсах. Мое счастье, что ехал в хвосте! Не знаю, была то банда Григорьева, или махновцы, или Тютюник: мало ли орудовало на Украине банд!

Между тем в вагонах потрошили узлы и корзины, в нашем послышалась возня и выстрел: потом там нашли убитого анархиста. Вывели нескольких мужчин, среди них матроса, руки связаны. Горбясь и не глядя по сторонам, они прошли к перелеску, видневшемуся невдалеке. Из других вагонов туда же провели еще людей: коммунисты! Долетели нестройные выстрелы! Расстрел...

Всадники умчались, пулеметы исчезли, некоторое время все стояли оцепенев. Кто-то решился, за ним другие бросились по вагонам разбирать свои вещи. Нашел и я свою котомку и мешочек с солью, перешагнул через валявшееся полотнище «Анархия — мать порядка» и зашагал следом за всеми вдоль железнодорожного полотна к Кременчугу. Запомнил по дороге сожженную будку путевого сторожа: обгоревшая стена, на ней начертано углем и полусмыто дождями: «Смерть коммунистам, да здравствуют большевики!» Все спуталось в темных головушках.

... Мощенная булыжником базарная площадь в Киеве: солома, навоз, грязь, скрип подвод, выкрики торговцев, гогот гусей, шарканье подошв, среди всего этого я — обладатель фунта соли! И впрямь можно выменять на живого теленка! Теленок мне ни к чему, зато до чего вкусны борщи на базаре! А кныши с луком! Расплачивался солью. По горсточкам соль разошлась так же быстро, как сейчас расходятся деньги. На завтра у меня не было ни крупинки.

Поехал к Москве. В Брянске какой-то командир привел меня на продпункт, выдали красноармейский паек: две воблы, три кусочка сахара, четверть буханки хлеба. Дальше на узловых станциях сам разыскивал продпункт, ни разу не отказали: дети были надеждой будущего. Пользовался щедротами продпунктов не задумываясь, как пользуются заботами родителей сыновья.

... На северных дорогах уже ездили по билетам, какой-то машинист отечески вошел в мое положение, взял на паровоз, довез до Ярославля: там он сменился. В Ярославле, скорей чтоб почувствовать себя самостоятельным, чем по нужде, забрался под

вагон в ящик для инструментов. Вылезал на станциях и, подыгрывая себе на деревянных ложках (выменял их на соль в Киеве), пел песенки на перроне.

Весь поезд кормил меня и поил. Кончилось тем, что кунгурский милиционер, проследив, как я пробрался под вагон, выволок меня оттуда и заставил мыть лестницы станции Кунгур. Следующим поездом, опять же в ящике, отбыл в Екатеринбург.

Сестру нашел. Прожил у нее недолго: мужа перевели в Ташкент, они на время оставили меня в интернате.

Ребятишки, оставшиеся без родителей. На всех ватные телогрейки, американские штилеты желтые, шикарные, с толстыми подметками, но при здешних морозах с какой охотой обменяли бы их на валенки! Поверх штилет черные обмотки до коленей. Хоть одеты по стандарту, держались группами. Верховодили бывшие кадетики (самыми организованными были): измывались над бывшими реалистками, к примеру, заставляли их вымерять спичками школьный зал. Однако нас, беспризорников, хоть мы держались каждый сам по себе, задевать остерегались: нарвешься ненароком на нож.

Никогда не забуду забот воспитательниц и воспитателей интерната! Мучились с нами — строптивыми, обидчивыми, требовательными, проделывавшими над ними грубые шутки. Каким терпением и любовью надо было обладать, чтобы, несмотря на все, стараться нас поставить на ноги.

Как все далеко! Перелистываю жизнь, будто читаю кем-то написанную книгу... Голод, морковный чай и сладковатый вкус мерзлой картошки, брюквы и репы. Покровский проспект весь в подводах, над лошадьми облака морозного пара. Главное занятие в интернате — рубить дрова. Морозы такие, что в интернатском сарае однажды ночью гвозди стали из стен выпадать.

Пришла весна... Едва побежали ручьи и солнышко стало припекать на пригорках, в меня вселился бес бродяжничества: при первом удобном случае сбежал из интерната, держа путь к солнцу, в далекий Ташкент.

12 апреля. Коканд

Вчера на заре к калитке Козловских подкатила серая «Волга», мне ее дали как гостю. Из Ташкента выехали по узеньким улочкам между садов. Хотя солнце то скрывалось за рассеянными по всему небу облачками, то вновь появлялось, на цветущие вишни больно было смотреть: точнее, они ослепляли белизной, когда сидел спиной к солнцу, а когда поворачивался лицом к нему, вишневые деревья впереди рисовались черными — волшебство света!

Выехали за город, помчались холмистой степью по великолепному шоссе. Решили ехать в Коканд кратчайшим путем: через горы Чаткала. Проносимся через мост: внизу проплывает Чирчик, бегущий среди камешков многими руслами, сплетенными в огромную косу. (Интересно, была ли у тебя коса в детстве? Никогда не думал об этом.)

Потом ехали ущельем Ангрена, начались дивной красоты места: строй где хочешь курорт! Вот когда пожалел, что не взял с собой моей АК-8 — узкоплечной камеры. Всем бы доставил удовольствие — может, и тебе! В глубине ущелья — река, взъерошенная на камнях. На противоположном зеленом склоне — в расщелинах скал, за кустами, в выбоинах — пятна ослепительно белого снега разной формы и величины, и природа иногда создает, черт возьми, абстрактную красоту!

Дорога поворачивает вверх вдоль речки Камчик, притока Ангрена. Еще немного — и вокруг нас сплошной снег, снег, зима. И вот уже побеленный столб: «Перевал Камчик — 2268 м».

Быстрый спуск серпантинном вниз, и снега нет: южный склон хребта — все другое. Прыгает с камня на камень речонка Резак, вокруг скалистые громады, также желтые; сплошь желто-охристые, что серая лента дороги кажется синей: теперь вся красота концентрируется в ней. Мчимся по этой синей ленте, и уже опять цветущие сады — сады Ханабада, мост через Сырдарью, катящую мутно-белесые воды.

... Окраина Коканда встретила нас грязновато-белым цветением яблонь и груш. Вглядываюсь... Ба! Да это ощущение грязноватости оттого, что при нашем движении смешиваются цвета белых и розовых лепестков, зеленых листьев, красных тычинок у груш и желтых тычинок у яблонь. Весна, как видишь, идет здесь на добрую неделю, а то и на две впереди ташкентской весны. Пока обосновывались в гостинице, на город опустился вечер. Поужинали внизу, в ресторане: со стены, прищурясь, глядели «охотники» Перова, перемигнул с ними — как-никак старые знакомые.

Наездились, насмотрелись, устали. Короткая дневная передышка. Арип Аюпов, невысокий шофер с приятной, сдержанной улыбкой, сейчас дремлет в соседней комнате на кровати. Воспользовался этим, чтобы поговорить с тобой.

Ехал сегодня в машине и думал, почему так нелепо устроено? Сидела бы ты со мной рядом, повела бы бровью, и я уже спрашивал бы себя: «Почему повела?» Когда рядом и любишь — в этом содержание жизни. Если не любишь (уже не любишь), такие вопросы начинают раздражать. Для меня каждый твой взгляд, каждый жест — словно обвал. Но вот теперь, когда ты далеко, я (и

это меня поражает) думаю с облегчением о том, что лишен возможности спросить тебя: «почему оглянулась?» После стольких дней беды какой-никакой отдых, я бы сказал даже больше — счастье! — если бы время от времени за грудь не хватала тоска.

Вспомнил историю про Леонида Соловьева, про первую его книгу «Песни народов Востока о Ленине». Не могу удержаться, чтобы не рассказать тебе. Видишь ли, Леня Соловьев — кокандец, во всяком случае, отрочество и раннюю юность провел здесь.

В своей последней, недописанной «Книге юности» он рассказал несколько трагикомических историй, приключившихся, с ним в те годы. Хотел включить в книгу восемнадцать таких историй, а успел написать только девять; той, что собираюсь с тобой поделиться, хотел книгу завершить. Вот она вкратце — как сам помню.

Ненаписанный сюжет

— Знаете, Витя, если бы я родился в узбекской семье и жил до революции, я бы, верно, брэнчал на дутаре и гнусавым голосом пел на базаре.

Тяга к фольклору и народному языку у Лени проявилась очень рано. После уроков в Кокандском железнодорожном училище он любил побродить по знаменитому в те времена крытому базару Коканда — одному из самых больших базаров Средней Азии. И особенное удовольствие ему доставляли базарные певцы и рассказчики.

— «Высокочтимый тигр, я говорю истинную правду!» Услышу фразу вроде этой — и заливаюсь смехом...

Еще учеником он начал приспособливать узбекский фольклор к русскому языку и очень этим забавлялся. В зрелом возрасте эти детские забавы воплотились в «Повести о Ходже Насреддине»: как ты знаешь, она написана словно бы от лица узбекского рассказчика, владеющего всем арсеналом народных поэтических оборотов и юмора. Кроме этой работы, получившей признание во всем мире, был в его жизни еще эпизод, связанный с фольклором.

Смерть Ленина потрясла всех. Даже я хорошо это помню, хотя был моложе Лени: в день похорон Ленина вместе со всей школой ходил на ташкентскую Красную площадь, а на следующее утро мы с нашим учителем рисования начали лепить во дворе школы первый в Средней Азии памятник Владимиру Ильичу. Лене Соловьеву тогда было семнадцать, и он отозвался на смерть Ленина стихами. Он чувствовал: безыскусная народная речь сильнее способна передать скорбь. В те дни все народные акыны, ашики и гафизы Средней Азии сложили песни на смерть Ленина, и одним из этих акынов был семнадцатилетний Соловьев:

Ленин дал гафизам право петь о чем угодно —
И они все сразу запели о нем.

Целиком не помню ни одного стихотворения, лишь строки:

Мы не знаем, откуда пришел Ленин,
Мы не знаем, куда ушел Ленин.
В 17-м году мы испугались его слов,
В 18-м — шли против него,
В 22-м — наши сердца бились любовью к нему,
В 24-м мы лили слезы о нем.

Исписал такими стихами объемистую тетрадь, потом всюду возил с собой и наконец привез в Москву, куда приехал учиться на сценарный факультет Института кинематографии. Здесь знакомые молодые литераторы прочли и восхитились.

— Смерть Ленина вас потрясла. Видно по стихам. Это настоящее!

— Допустим. Но кто поверит в издательстве, что их написал я? Они явно фольклорны!

— Ну, издайте как фольклор. Не все ли равно...

И тогда (бесшабашность юности!) в конце каждого стихотворения Леня сделал сноску «записано там-то»: назвал несколько кишлаков в районе Коканда и Ходжента, где довелось быть, а под двумя-тремя стихотворениями для правдоподобия — выдуманные фамилии каких-то стариков и отнес книгу в издательство «Московский рабочий». Вышла она в 1929 году. Книгу встретили хорошо, хвалили талантливого молодого фольклориста. Но это послужило причиной трагикомической истории, которую взялся тебе рассказать.

В Ташкенте научные сотрудники только что созданного Института языка и литературы были обескуражены: столько песен о Ленине, а они их в оригинале видеть не видавали. И летом 1933 года была отправлена на место фольклорная экспедиция — записать эти песни на узбекском и таджикском языках. Сначала об этом узнал я: от Миши Лоскутова. (Это был талантливый писатель, выпустивший две книги о Средней Азии: «Тринадцатый караван» и «Рассказы о дорогах». Лоскутов только что вернулся из Каракумского пробега, где испытывались первые автомобили советских марок, и мимоходом сообщили мне эту новость.)

Решил обрадовать Леню. Услыхав про это, Леня аж подскочил, несколько раз переспрашивал, что за человек Лоскутов, можно ли верить ему, вдруг начал хохотать. И так же внезапно умолк, помрачнел и в конце концов мне все рассказал.

По его просьбе я написал Тане Емельяновой (вместе когда-то учились в школе, а в то время она организовала в Ташкенте «Театр чтеца»), просил разузнать, чем кончилась экспедиция. И потянулись для Лени недели ожиданий, тревог. Как он себя проклинал! Японцы говорят: за три года и новорожденный трехлетним становится. А тут прошло четыре года со дня выхода книги, а то и пять. И вдруг...

Леня то предавался мрачным видениям, что подделка обнаружится, он будет опозорен, и придется покинуть Москву.

«Боюсь, Витя, как бы мне не пришлось бить в барабан отъезда!» То закрывал тревогу смешными рассказами:

— Ехал путник. Вдруг из-за забора голова в чалме: «Брат! Ты, наверное, устал — будь гостем!» — «А куда мне привязать лошадь?» — «Привяжи к моему длинному языку», — ответил смущенный хозяин. Так и мне — останется лишь отшучиваться.

Всякая ложь начинает гнить. Кто это сказал? Когда? Кому? По какому поводу? Именно в те дни мы со стереоскопической ясностью поняли: так оно и есть. И пожалуй, как раз тогда впервые родился у Лени повышенный интерес к нравственным вопросам, который не оставлял его всю жизнь.

Ответ от Тани Емельяновой пришел через месяц. Она писала, что экспедиция задержалась, лишь теперь возвратилась и что, по наведенным справкам, съездила успешно: все песни, за исключением одной, найдены и записаны. Мы с Лене́й смотрели друг на друга, выпучив глаза. Потом Леня начал хохотать, задыхаясь от смеха и заливаясь слезами. Я поглядел-поглядел на него, все понял к тому же начал смеяться.

Фольклорная экспедиция — это ясно! — не захотела возвращаться ни с чем: время затрачено, командировочные съедены... И они попросту перевели песни с русского языка на узбекский и таджикский, а одну песню «не нашли» — для правдоподобия. Нет, этим людям нельзя было бы доверить Сарезское озеро!

Несколько лет спустя зашел я как-то к Лене, у него на столе была раскрыта знаменитая на Востоке книга о любви Вис и Рамина: не поэта Гургани, а ее древнегрузинское прозаическое переложение. Леня усмехнулся:

— Любопытные строки! Глядите! — Взял книгу в руки и прочел мне вслух: — Два дьявола вражды всегда следуют за человеком. Один советует: «Сделай так-то и так-то, и тебе будет выгодно!» И когда человек его послушается, другой, в свою очередь, говорит: «Почему ты так поступил? Ты погиб!» Первый дьявол заставляет тебя делать то, в чем второй принуждает раскаиваться. — Захлопнул книгу: — Это про меня! Помните, Витя, историю с фольклорной экспедицией?

Его зубы сверкнули в улыбке, и мягко сузился зрачок — тот зрачок неправильной формы, который только у него одного и был на всем белом свете. Врожденная неправильность: в одном глазу к его зрачку будто кто-то прилепил снизу еще ползрачка, и, когда глаз загорался весельем, эта половинка вся светилась, озаряя лицо.

Вспомнил сейчас другую мистификацию, жертвой которой стал как раз Соловьев, правда, когда его уже не было в живых.

Приехав в Ленинград года четыре спустя после его смерти, навестил в Пушкине живших там его мать и сестру Зину. За разговорами Зина вдруг извлекла из шкафа книжечку и протянула мне:

— Витя, знаете ли вы это?

Увидев только что изданную под таким названием книжку Л. Соловьева, удивился: ничего о ней не знаю, а ведь он мне читал все! Пока Зина ушла ставить чайник, стал листать страницы. Вначале явно его рука, мне ли не знать?! Правда, много словесного мусора, наверное, оттого, что черновик. Однако дальше... Дальше в книгу ворвался чужой язык, сентиментальный, с общими местами и пустой болтовней... Когда Зина вернулась, сказал ей:

— Думаю, начало набросал он, а дальше чужая рука!

— Мне тоже так показалось... — задумчиво сказала Зина.

Прошло несколько лет. Однажды в Москве телефонный звонок: двоюродная сестра Марии Марковны, последней жены Лени, литераторша Н. В. Сталинская спрашивает, не соглашусь ли вместе с нею написать воспоминания о Соловьеве? Пожал плечами — Сталинскую видел всего раза два-три в квартире у Лени: мне с нею писать воспоминания?! Вежливо отказался. Внезапно задает мне вопрос: знаю ли «Сахбо»? Сказал, сразу вспомнив: вначале рука вроде бы и его, а дальше чужая рука!

— Какой вы проникательный! — воскликнула Сталинская. — Это написала я!

Изумился.

— Зачем?!

И она рассказала, как, сидячи однажды у Марии Ивановны, поспорила: мол, теперь, после смерти Леонида Васильевича, под его бирку можно напечатать что угодно! Взявши начатый Ленею рассказ, она его досочинила, снесла в издательство, и вот — вышла книжка, выигран спор!..

Случается же такое!

Не одна ты, многие в Москве и Ташкенте то и дело спрашивают меня: «Расскажите, как вы работали с Леонидом Васильевичем над «Ходжой Насреддином». Даже здесь, в Коканде, сегодня двое уже меня спросили об этом. О работе с Ленею вспоминаю как о лучших днях жизни. Расскажу тебе, заодно и всем, как оно было.

В 1938 году киностудия «Таджикфильм» предложила Лене написать сценарий об этом любимом народном герое. Леня предложил мне писать вместе с ним. Ничего, кроме имени героя и народных анекдотов о нем, за душой у нас не было. Понимали оба: работать над сценарием вдвоем будет не только веселей, но и быстрее. Видишь ли, в сценарии главное — диалог: и то и другое придумывать и писать вдвоем — удовольствие! В прозе же

главное, ведущее — интонация, в ней сильнее всего проявляется личность автора. Оба мы ясно понимали, что писать прозу вдвоем значило только мешать друг другу. Это удастся немногим и крайне редко. Хочу, чтобы ты правильно меня поняла: если бы мы писали роман вдвоем, книга получилась бы хуже. Вот мы сразу и уговорились, что роман на основе сценария будет писать Леня.

В начале тридцать девятого года, когда наш сценарий «Насреддин в Бухаре» был похоронен в Министерстве кинематографии, Леня засел за «Возмутителя спокойствия». Спустя недели две он меня позвал прочесть написанные страницы.

Я ужаснулся: понимаешь ли, интонацию он нашел восхитительную, погрузил все в атмосферу сказочной Бухары, пронизав язык Востока тонкой иронией, но при этом старательно обходил мои сюжетные находки и мой диалог — явно в ущерб книге. Он и сам это понимал. Я буквально умолял его брать из сценария все лучшее. Он пошел на это не без внутреннего сопротивления. Это укрепило нашу дружбу.

Когда Леня поставил точку на «Возмутителе спокойствия» и мне первому дал прочесть рукопись, внизу на заглавном листе я прочел, что в основу положен наш общий сценарий, и я опять решительно восстал. До вежливостей ли было; сноски подобного рода в ту пору могла помешать судьбе книги. Я вымарал сноски своей рукой.

«Возмутитель спокойствия» был напечатан, широко разошелся... Ни одной статьи, ни одной рецензии! Леня был в отчаянии: «Неужели, Витя, я так плохо написал?!» — «Наоборот! — говорил я. — Серую книгу легко похвалить, но когда и где хвалили сразу после выхода книгу талантливую?! Радуйтесь, что вас не изругали! А у читателей книга обречена на успех — пройдет год-два, и вы это почувствуете!»

Я оказался прав: в сорок третьем году, когда на экраны вышел (был все-таки поставлен!) фильм «Насреддин в Бухаре», в рецензии на него в «Известиях» говорилось: «Л. Соловьев написал о Насреддине увлекательную книгу «Возмутитель спокойствия», хорошо известную широким кругам советских читателей». Это было первым печатным отзвуком на роман четыре года спустя.

В 1944 году мы с Леной написали еще сценарий фильма «Похождения Насреддина». Оба сценария вышли отдельной книжечкой в 1945 году. По причинам, от него не зависевшим, Леня сумел закончить повесть «Очарованный принц» на основе этого второго сценария лишь в 1954 году. Перепечатав повесть на машинке, он подарил рукопись мне.

«Повесть о Ходже Насреддине», объединившая обе книги, на

мой взгляд, превосходна! Горжусь, что в ней есть и доля моего труда. Остается сказать тебе, что первая и единственная при жизни Соловьева статья об этой чудесной книге была опубликована совсем незадолго до его смерти: как радовался он ей! Эту радость подарил ему Дмитрий Молдавский.

За сумятицей, суматохой дня все время где-то глубоко-глубоко, закрытая дорожными впечатлениями, как единственное счастье существуешь во мне ты. Промчались с Арипом по центральным улицам Коканда, въехали в бывший Старый город: глинобитная кривая улочка, почти слепая, без окон, одни калитки. Машина остановилась у домика-музея Мукими. На пороге нас приветливо встретил смотритель музейчика, ввел в первую комнату — стены сплошь в фотографиях и картинах: наивно, но мило, тишина, прохлада. Выход во дворик: он отгорожен, отрезан от бывшего медресе.

Низенькая дверь, и мы вступили в миниатюрную комнатку самого Мукими, где все как было при жизни поэта: гладкие стенки, чуть подкрашенные синькой, низенький потолок, за деревянными, прибитые к потолку держак засунуты покрытые глазурью тарелки, пол устлан коврами и одеялами, бедными — какое у Мукими богатство, наоборот, сама скромность! — но чистенькими-чистенькими, и это создает совершенно особое впечатление уюта. Низенький столик, за которым работал поэт, перо, лист бумаги. Арип негромко произнес:

Я забыт, одна со мною собеседница — тоска.
Келья, где я умираю, будто печь, раскалена...

И я, будто только этого и ждал, отозвался тоже строками Мукими (мне почудилось — ты стоишь в дверях):

Тебя люблю, люблю, мой милый друг,
Тебя ищу, подруга из подруг!
О неженка с глазами палача,
Тобой забыт несчастнейший из слуг...
Лишь о тебе твержу, схожу с ума,
Твоих речей услышав сладкий звук.
Тебя не видеть больше не могу...

У выхода смотритель протянул мне скромный букетик мяты. Этот ароматный букетик потом сопровождал меня, я подносил и подносил его к носу, вдыхая с запахом мяты и частичку поэзии Мукими. Хотел сунуть несколько листиков тебе в письмо, но они

уже почернели, смялись. Жаль!

Ты, наверное, удивляешься, что пишу такие длинные письма? Неужели тебя устроит больше, если по примеру Ходжи Насреддина ограничусь словечком «так»? Он ел кишмиш, подошел сосед: «Что ты ешь?» — «Так...» — сказал Ходжа Насреддин. «То есть как — так? Что за ответ?» — «Я говорю коротко». — «То есть как коротко?» — «Ты спрашиваешь, что я ем. Если скажу — кишмиш, ты скажешь: дай мне. Я скажу: не дам. Ты спросишь, почему? А я отвечу: так... Вот я заранее и говорю коротко: так...»

Вот так.

14 апреля. Раннее утро. Хамзаабад

Со вчерашнего дня меня преследуют стихи султана Бабура:

Желанной цели должен ты добиться, человек.
Иль ничего тебе пускай не снится, человек.
А если этих двух задач не сможешь ты решить,
Уйди куда-нибудь, живи, как птица, человек...

С тобой и султаном Бабуром...

Вчера утром никакого султана Бабура еще не было. Мы выехали из Коканда, за городом распахнулись хлопковые поля, рассеченные рядами тутовых деревьев: короткие, почти черные стволы, наверху каждого причудливоросло морщинистое утолщение, из него — молодая поросль тонких ветвей. А между деревьями — женщины с кетменями, поблескивающими на солнце, одни женщины (когда это, наконец, кончится?) — правда, не в паранджах, а загорелые, в праздничных нарядах, ярких, цветных, но одни женщины, лишь кое-где возле трактора одинокий мужчина.

Остальные мужчины на велосипедах, на мотоциклах (треугольные кончики ярких поясов развеваются на ветру!), на легковых машинах (и в такси — тубетейки колхозников!), на грузовиках и автобусах: все спешат на базар. Мужчины сидят в придорожных чайханах, распивают чай на помостах, крытых коврами, пока их сестры и жены работают на полях. Когда это кончится? Сколько об этом писали, разговаривали на собраниях, высмеивали, вся жизнь стала другой, а это все еще держится — приходит базарный день, и узбек-мужчина садится на велосипед: «Пусть работают женщины!»

Я стал размышлять над отношениями в этих семьях. Как это сочетается с народной любовной лирикой, давшей нам образцы силы и тонкости чувства? Тем временем въехали в Риштан — районный центр, селение, истари славящееся искусными гончарами. Над крышами Риштана вздымался покрытый снегами, изборозженный складками Алайский горный хребет. В этих горах писал поразительные по силе стихи о любви великий поэт и историк султан Бабур. Лишившись трона Ферганы, целый месяц он скрывался в верховьях Соха, а его единственная, как видно, осталась в Андижане:

Клянусь, что и день в разлуке мне быть с тобой нелегко.
Но ладить с тобой, как с темной моей судьбой, нелегко.
Твой нрав прихотлив, ты очень резка, а я сумасброд,
И чести мужской униженной стать рабой нелегко.
Что плач мой, что стон, коль счастье мое, как мертвое,
спит?
Не только мольбой — его разбудить пальбой нелегко...

Только я проговорил эти строки, как машина остановилась.

Ну вот, даже аккумулятор не выдержал, будто вся энергия ушла в стихи! Бензин есть (перед выездом заправились), а энергии нет. Стоим посреди Риштана, в стороне — сельмаг, сверху — горы. Арип, не теряя присутствия духа, вытащил из багажника трос, прикрепил на переднюю ось, поднял руку, остановил какой-то самосвал, подцепился... Остановились, но мотора уже не выключаем. Расцепились... Поехали дальше сами. Спасибо самосвалу! Отвлек от грустных мыслей.

Выехали из садов Риштана, едем по адырам — предгорьям то зеленеющим от трав, то голым, каменистым. Отличное шоссе, разогнали машину, уже недалеко Фергана. Какой-то бес подталкивает меня: прочти еще несколько строк Бабур — и заглохнет мотор! Пытаюсь извлечь из памяти, но стихи не лезут в голову. Вспомнил, как, разбитый войсками Шейбани-хана, Бабур с горстью воинов завоевал Индию, основал империю Великих Моголов и стал первым шахом Индии, гордостью ее истории. Но и там, сделавшись властителем гигантской страны (это после маленького Ферганского царства), тосковал по той, которую ему ни одна не могла заменить.

Сзади — скорбь, рядом — горе, а передо мною — разлука.

Вот чем я окружен, твоей близости прежней лишенный...

Я покосился на мотор, прислушался: работал спокойно и ровно, как будто сам чеканил стихи.

Видишь, оторвалось мое сердце от жизненной нити
И повисло на пряди косы твоей, туго сплетенной...

В этот миг машина остановилась опять.

— Не надо выключать мотор! — вскричал я. Но Арип уже повернул ключ зажигания:

— Посмотрю, аккумулятор работает или нет.

— А если не работает?!

— Впереди дорога под горку, — сказал Арип. — Машина сама пойдет, и мотор заведется...

— Не заведется, — пробормотал я. — Стихи не дадут...

— Что? — не понял он.

— Нет, ничего, — сказал я.

Арип нажал на стартер: раз, и два, и три... Ни-ни! Аккумулятор «сидел». Делать нечего, Арип отпустил тормоза, машина покатилась, я бежал сзади, подталкивая ее, чтобы

сильней разогнать. Спуск под горку оказался мал и полог — мотор не завелся: пришлось опять цеплять трос и поднимать руку перед мчавшимися в Фергану грузовиками. Один пролетел, не остановившись, второй, пятый... Полчаса спустя мы катили вновь. Так между тобой, аккумулятором и султаном Бабуром шло у меня утро.

Въехали на широкие улицы Ферганы, окаймленные четырьмя, восемью, кое-где двенадцатью рядами могучих деревьев. Сразу выяснилось — выходной, никого не найдешь. Понял, оставаться в городе сейчас наедине с мыслями о тебе не могу, надо спешно заслонять тебя новыми впечатлениями. Решил немедленно ехать в горы, в Шахимардан, или, как он нынче называется, Хамзаабад, а назавтра, в обычный рабочий день, возвратиться.

Но аккумулятор? Как быть с ним? Ездим, мотора не выключаем. Что будет, если мотор заглохнет на горной дороге? Сунулись в один гараж, в другой... Весь город выходной! Наконец возле таксомоторного парка поймали двух таксистов. Они вместе с Арипом долго колдовали, крест-накрест соединяя в аккумуляторе какие-то банки и выключая те, от которых все зло. Аккумулятор заработал.

Конечно, рискованно было ехать... Но мы, даже не пообедавши (это было чем-то похоже на бегство! Гордись!), выехали по хамзаабадской дороге. Остановились лишь за городом — среди громадного совхозного сада, выключили мотор. Воздух наполнился звоном цикад. А на языке опять четверостишие султана Бабура:

Если б я знал, что разлука убьет меня злая,
С милой до смерти я жил бы, печали не зная.
Адом пугают.... Но перед пожаром разлуки
Адское пламя не больше, чем искра простая.

Достали из машины лепешки с тмином, масло, брынзу, копченую колбасу, термос с чаем, свесили ноги в кювет, поели-попили и помчались к горам.

Тоска и разлука рожают в мужчине не только письма, но побуждают, как говорится, высшую нервную деятельность. Это я вовсе не о себе, это я опять про султана Бабура. Мне кажется, что именно тогда, когда Бабур окончательно потерял надежду увидеть любимую, оставленную за долами, за горами, он, чтобы как-то приблизиться к ней, стал все чаще вспоминать в Индии и свою далекую родину. Так написалась книга «Бабур-намэ», в которой удивительно точно изображены места, где едем сейчас.

С той секунды, как мы въехали в сады Вуадия, уже на все

смотрел не своими — его глазами: это не я, а Бабур вернулся на свою далекую родину, и, может быть, вот сейчас у резной калитки какого-нибудь сада я встречу ту, на которую обменял бы все царство, все сокровища, всю Индию! У меня забилося сердце...

«Только не вспоминать его стихи!» — сказал себе, когда покинули Вуадиль и помчались вверх вдоль Шахимардан-сая, кипящего на камнях.

Лиловые сумерки быстро опускались на горные селения, через которые ехали, на близкие и далекие скалы. Чем выше, тем явственней отступала назад весна: в Кадамджае еще цвела джида, а в этих селениях только расцвел урюк. От снежных вершин веяло прохладой.

Хамзаабад встретил нас крошечной тьмою. В свете фар пронеслись призрачные заборы, деревья. Остановились возле чайханы, где, закутавшись в теплые халаты, сидела группа колхозников, наполнили чаем термос, поставили «Волгу» в колхозный сарай. И директор летней гостиницы для туристов, оказавшийся в чайхане, повел нас на ночлег: гостиница еще закрыта — сезон не наступил, но в одном помещении на всякий случай для ранних гостей приготовлено несколько постелей.

Нас встретил простуженным лаем пес, привязанный к конуре. Калитку открыл старик сторож и, приложив ладонь к сердцу, провел в помещение. На громадном столе мы с Арипом развернули лепешки, брынзу, масло, конфеты, стали угощать сторожа. Ему около восьмидесяти, голова седая, но борода черная. Сказал: «Знаете, почему?» — «Почему?» — «Потому что волосы на голове у меня старше волос на бороде на целых пятнадцать лет». Посмеялись и легли спать, накрывшись одеялами необычайной пестроты.

Не спалось, прямо под окном шумел Шахимардан-сай. Захотелось постоять у ночной реки с мыслями о тебе. Ощупью пробрался к выходу, вышел, стараясь не скрипнуть дверью, услышал близкий звук ударов хвоста о камень: с собаками у меня быстро налаживается дружба. Подошел к реке, обнесенной в этом месте невысокой, по колено, стенкой: белые пятна пены слабо виднелись на черной воде. Небо в звездах, и над краем селения, как синий факел, сияла Венера. Представляешь?

В голове понеслись бессвязные мысли. Недавно прочел, что ученые направили на Венеру мощный локатор и им удалось получить от нее слабое эхо. Наверное, сейчас, когда Венера ближе, им удастся получить от нее и более сильное эхо. Если бы мог вот в это мгновение повернуть мощный локатор к твоему окну! И уловить ответное эхо! Отзвук! Отзыв! Попросту получить здесь от тебя телеграмму или письмо, хотя бы и без посредства

Венеры...

Продрог, ушел назад под одеяло. Так и не заснул. Едва в оконце завиднелся рассвет, Арип поднялся и, стараясь не будить меня, отправился осматривать машину после вчерашних встрясок. Я оделся и выволок на улицу свою «колибри». Шахимардан-сай бежал, как и сейчас, красуясь белыми венками пены, вдоль берега увидел красную кайму водорослей. На домике, где спали, обнаружились нарисованные красками павлины. Я сел за письмо к тебе. В двадцати шагах от меня колхозники к мостику выгоняют коров. Вон и Арип возвращается... Пора начинать день. Желаю тебе того же, что пожелал своей милой Бабур:

Что б ни решила ты, всегда счастливой будь!
Царица красоты, всегда красивой будь!
Веселой будь всегда, здоровой будь всегда,
Всегда, всегда, всегда — до страшного суда.

15 апреля. Фергана

Вчерашний наш знакомец, директор гостиницы для туристов, утром вызвался показать нам Хамзаабат. Ожидая его, прогулялись по селению, вдохнули в себя запахи дымков над очагами. Из-за некоторых глинобитных заборов поднимались даже не дымки, а струи дрожащего воздуха, и в струях этих волшебным образом преображалась картина гор. Послушали, как тысячами шумов переговариваются речки Аксу и Коксу: сливаются тут, образуя Шахимардан-сай.

Наконец директор пришел; по серпантинам дороги поехали круто вверх к мавзолею Хамзы и, оставив «Волгу» на обочине, вышли на горную площадку, залитую солнцем. Несколько цветущих урюков, ореховое дерево, еще не выбросившее листьев, розоватая шапка карагача... Среди деревьев изящный мавзолей нежно-зеленого цвета с лепными украшениями, за решеткой внутри мавзолея — мраморная плита надгробия. На стене в изголовье лепной портрет поэта: простое дехканское лицо в тюбетейке. Пожалел, что не знал его, не был знаком, а ведь мог видеть: смотрел спектакли узбекского театра, когда он им еще руководил. Жаль, не могу тебе рассказать о нем, как о живом.

Смерть поэта

Хамза Хакимзаде Ниязи — узбекский поэт, драматург, композитор. По своему поэтическому облику походил на Маяковского: за что бы ни брался, во всем был новатором. Узбеки говорят: «У безумца сердце на языке», все истинные поэты — такие безумцы. Хамза смело ломал установившиеся традиции национального искусства в поэзии и музыке, уже в зрелом возрасте начал учиться в русской музыкальной школе, первый из композиторов Узбекистана стал пользоваться роялем, первый страстно выступил против старинной восточной манеры петь зажатым гортанным звуком, первый научил узбекских певцов петь стоя, первый начал работу над усовершенствованием чанга и гиджака, а главное, первый сочинил революционные песни, которые подхватил, запел узбекский народ.

Покинув Ташкент, Хамза уехал в кишлак Авваль близ Ферганы, создал там артель из бывших батраков и бедняков, открыл «красную чайхану» (тогда отмечали «день красной винтовки», «день красного подарка» — романтическое время!). Потом Хамза переехал в Шахимардан, где неистовствовали мусульманские мракобесы, открыл школу и курсы по ликвидации неграмотности, организовал посадку деревьев по склонам гор, начал строить канал для орошения новых земель... 8 марта 1929 года он провел первое в Шахимардане собрание женщин, и в этот день двадцать три женщины кишлака сбросили паранджу. Спустя десять дней кучка фанатиков зверски убила Хамзу.

Надо сказать тебе, что фанатиков в Шахимардане в то время было больше, чем где бы то ни было. На этой самой горной площадке с древних времен почиталась святыня Средней Азии: могила Али — четвертого халифа, двоюродного брата пророка Мухаммеда, человека, которого на Востоке зовут «Царь мужей», «Шахимардан». К его мазару пешком и верхом шли и ехали паломники со всей Средней Азии, даже из Казахстана. По мере того как поезда, автомашины и самолеты начали сближать страны, на мусульманском Востоке стали обнаруживаться другие могилы Али: их оказалось восемь, в разных странах.

Кинорежиссер Камиль Ярматов однажды рассказал мне, как рождаются подобные легенды. Перед войной снимал он фильм «Друзья встречаются вновь». Художник П. Галаджев невдалеке от Канибадама построил для съемок глинобитный мазар — можешь увидеть его в фильме. Спустя два года Ярматов побывал в тех же местах на охоте и, проезжая мимо «своего» мазара, увидел: куст перед ним увешан тряпочками — приходили молящиеся и

отрывали кусочки от своих халатов, как положено мусульманам у святых мест. В соседнем селении Ярматов спросил какого-то старика о мазаре, тот рассказал «старинную» легенду о святом, похороненном здесь: за два года она успела сложиться и укорениться. Сейчас на месте этого мазара катит серо-голубые волны новое Кайраккумское море, построенное для орошения Голодной степи: море вытеснило легенду,

Мне вспомнился случай, когда близко соприкоснулся с мусульманским духовенством, — случай, не имеющий никакого отношения к описанным трагическим событиям, да и было это почти за три года до убийства Хамзы, и не в Узбекистане, а в далеком Азербайджане, но хочется об этом тебе рассказать.

Ты знаешь, кончив школу в Ташкенте, я жил четыре года в Баку. Так вот...

Декабрь тысяча девятьсот двадцать шестого года. Страна готовится к 1-й Всесоюзной переписи населения. Я студент Азербайджанского государственного университета в Баку. Стихи в редакциях мне еще возвращают, но первые очерки — не очерки, а корреспонденции печатают, кормлюсь ими. Иду по Ольгинской, навстречу, в барашковой шапочке, кавказских сапожках, в черкеске с муравьиной талией — Владимир Татишвили, бакинский очеркист.

— Вот хорошо, что попался на пути! Ищу кого-нибудь, хоть черта...

Спрашиваю: зачем черт понадобился?

— Да перепись уже на носу! Все мало-мальски грамотные в уездах. Вчера убили уполномоченного по Казахскому уезду: отправился верхом в какой-то аул сделать пробную перепись, переступил без приглашения порог дома, а там одни женщины. Ну, прибежали мужчины, и кинжал в бок! Поедешь вместо него, а? Эстафету перехватить.

— Еще бы не поеду!

— И отлично. Предупреждаю: опасно. Темнота! Суеверия! Чуть что — кинжал! Тебе сколько лет?

— Восемнадцать.

— И прелестно, в восемнадцать лет человек бессмертен. Идем оформим документы. Ну а убьют, напечатаем некролог: все-таки моральное удовлетворение — не зря прожил жизнь!

Три часа спустя я уже ехал в поезде, в моем кармане покоилось ярко-желтое шелковое полотнище-грамота, на нем черной и красной тушью — арабские буквы, подписал Ага-мали-оглы, председатель АзЦИКа. Всякий мог прочесть по-азербайджански (а на обороте по-русски): «Имеет право мобилизовать любого уездного работника, может занять любое помещение». Словом, получил неограниченную власть, стал «шахом» Казахского уезда.

Всюду перепись должны были провести за один день — 16 декабря, однако нам дали пять дней: горные аулы быстрее не объехать, грамотных раз, два и обчелся. Обосновался в большом селении Тауз в комнатке у вокзала, облюбованной моим несчастным предшественником. Голубые маки на обоях, чугунная печка-«буржуйка» с трубой в окно. На заре просыпаешься, окоченев от холода, выходишь — морозный туман, иней садится на волосы, — бежишь через железнодорожное полотно напротив, в немецкое село Траубенфельд, согреться стаканом вина, — и на

коня, за работу!

Тот, убитый, мобилизовал в уезде всех азербайджанцев, умеющих держать перо: учителей, бухгалтеров, работников укома, даже умудрился мобилизовать двух мулл. В первый же день они пришли ко мне и, покачивая белыми чалмами, выразили скорбь по поводу гибели уполномоченного. Вероятно, странное впечатление я на них произвел: ломался голос, басок пробивался сквозь хриплые остатки дисканта, ничего себе повелитель!

Власть неограниченная, но применить ее к делу... Приехал в аул вдвоем с переписчиком показать на практике, как вести перепись. Возле мазанки бродит отвязанная кавказская овчарка, ощерила пасть, рычит, хвост и уши подрублены, шерсть клочьями. Мы замерли, завопили в две глотки:

— Э-эй! Ге-гей!.. — И опять. — Э-эй! Эге-гей!..

Из двери высунулась не столько- голова, сколько чадра женщины. Объяснения через пространство в четверть километра, свирепо лает собака, ничего не слышно, переспрашиваем раз и два. Наконец выясняется, женщина ничего и не отвечает, а тоже переспрашивает: овчарка — вот кто тут шах! Стараемся перекрычать лай, женщина наконец поняла, отвечает: «Никого нет!» Ушли не солоно хлебавши.

Из следующей мазанки вышел мужчина, даже двое мужчин. Один отозвал собаку, второй пригласил в дом. Садимся на пол на ковер. Глава дома вертит в руках шелковую грамоту — прочесть не умеет, почтительно возвращает, молча выслушивает, кто мы и зачем. Растолковываем, как малому ребенку, лицо непроницаемо. Потом вдруг выясняется — все знал и до нас, однако толку от этого чуть: отвечает на вопросы, (это ясно) многого не договаривая. Чего боится?

На третий день понял: боятся всего. Показывать детей — вдруг сглазим или, еще того хуже, привлечем внимание злых джиннов: от джиннов, как известно, не спасает даже амулет — зуб оленя, привязанный к колыбели! Боятся записывать жен: вдруг обвинят в двоеженстве! А если жена единственная, совсем плохо: свирепая аджина (джинн в юбке) может ее покрыть коростой. Верней промолчать. Попробуй тут быть точным на переписи! Вот те и неограниченная власть!

Сидели мы, властители декабрьских дней, в чайхане возле станции Тауз, было дня за четыре до переписи, поглядывали на дверь: черный край ее покрыт каймой инея, а когда входят, врывается облако пара. Ели жирный пити с плавающими кусками баранины и горохом, рассуждали, как быть? Внезапно в разговор вмешался один из моих двух мулл-переписчиков, молчавший доселе.

— Бить рукой по шилу глупость! — сказал он и, убедившись, что резкость фразы привлекла мое внимание, добавил: — Хитрость нужна...

— Какая?

Ответил не сразу; помолчал, чтобы придать вес словам, потом сказал:

— О себе человек промолчит, но о соседе... Свои пороки сзади, чужие спереди торчат... О соседе все расскажет!

— Дьявольский план... — пробормотал я. Мулла сказал:

— Аллах вознаградит тебя удачей за этот дьявольский план.

Надо ли говорить, что я отверг его с ходу. В Баку мне строго-настрого запретили переписывать кого-нибудь за глаза. Ночь повертелся на железной койке, раздумывая, и все ясней понимал: переписывать, действуя в лоб, все равно что с потолка, в словах муллы есть доля истины — соседи, в особенности враги, все скажут точней.

Провертелся ночь, и наутро, была не была, решил, съездил в Казах: поездом до Акстафы, там двенадцать верст лошадьми. В укоме, исполкоме и милиции, с карандашиком в руках, расспросил про аулы уезда: кто на кого писал жалобы, кто с кем друзья, кто враги. Выдумку муллы выдал за свою, не мог же в те времена признаться, что взял себе в визири ни много ни мало служителя культа! Благодарю судьбу, что поставила меня лишь «калифом на час» и что дальше не пришлось идти этой стезей!

Проинструктировал своих переписчиков: кто — кто; сам тоже взялся переписывать. Пять дней верхом из аула в аул... Проезжал сквозь горные облака, терял под собой землю, в тишине слышал, как мне перебегали дорогу ручьи. Опять из аула в аул... Соседей расспрашивал про соседей, накаплило отвращение к самому себе, уже раскаивался, что внял совету муллы. Пробовал сведения проверять: концы с концами не сходились, было неясно, где человек благородно скрывает своих жен и детей, а где завистливо привирают соседи. Собаки злобно облаивали меня, и поделом: не держи камень за пазухой! Ррр! Гав! Возомнил себя шахом? Получай сполна!

Бррр! Но коли взялся за гуш, не бросишь. Перепись провели, знал — грош ей цена. Возвратясь в Баку с кипами заполненных бланков, честно в этом признался. Спустя несколько дней республиканские статистики специально объехали Азербайджан, прихватив наугад по несколько бланков из каждого уезда. И в одно прекрасное утро меня вызвали в АзЦСУ: лучшим по итогам переписи оказался Казахский уезд! Мой!

Получил премию, купил на нее пальто. Но отвращение, едва вспомню, живет во мне до сих пор.

Р. С.

Ты знаешь по моим книгам, что прошлые мои поездки — куда бы ни ездил — были обращены в настоящее и будущее, эта поездка обращена в прошлое, и за это благодарен тебе: сколько поводов размышлять о том, как прожита жизнь.

Может, тебе эти строки будут и неприятны, но привык тебе рассказывать все. Здесь, в Фергане, родилась и выросла Таня, моя первая жена. Сюда к ней (как давно это было!) приезжал: в ее дом, к ее матери в гости. Отсюда, из этого дома, вместе с Таней вез в Ленинград ящик варенья, на ящике написал: «Осторожно. Верх. Груз Академии наук». Юношеская хитрость! В то время было трудно достать железнодорожные билеты: ехали-то к 1 сентября, к началу учебного года! «Груз Академии» — и билеты в кармане!

А варенье варила... и задумался. Оказалось, забыл даже имя матери Тани. Брожу по чужому, совсем незнакомому городу. Со стадиона идут толпы народа. Мои здесь умерли, все умерли, а я почему-то брожу тут (мало того, что брожу — письма тебе пишу!). Внезапно вспомнил, поднял из самых недр памяти — Агния Алексеевна! Имя матери Тани. Что ж, неужели жизнь так все заслонила, что остались лишь некоторые себялюбивые воспоминания? Иду по чужому городу, все новое — люди, здания, самый облик города, и только возле городского парка старые знакомые — белеющие при свете фонарей, огромные, в полтора обхвата тополя — единственные свидетели позабытого счастья.

Надо ли было Тане покидать Фергану и ехать учиться в Ленинград, чтобы там заболеть туберкулезом, который еще не умели лечить, и умереть в санатории в Крыму? И каков я... Каков? Похоронил и вычеркнул из памяти. Да и я ли это был или кто-то другой, носивший мое имя? Что за судьба мне выжить, именно мне, всех и вся похоронив?! Неужели сердце с годами становится тоньше, сильнее начинает чувствовать?! Неужели грозный призрак собственного конца тому причиной?! А может быть, потери, собравшись вместе, учат нас чувствовать непрочность счастья? И потому так тревожно, так жадно мы относимся к собственному счастью?!

16 апреля. Фергана — Кызыл-Кия

Собрался было начать день с осмотра города. Подкатил Арип, я сел рядом и на его вопрос: «куда?» неожиданно для себя сказал: «В Кызыл-Кия», а собирался заскочить туда завтра. Замечала ли ты, что от людей ускользают причины их собственных поступков? Иногда они забывают о причине даже раньше, чем успевают их совершить.

Если бы кто-нибудь рассказал человеку, чем вызваны все его поступки в течение дня, он, вероятно, многому удивился бы и далеко не всему поверил бы. Слишком часто наши поступки вызываются случайными ассоциациями и импульсами, необъяснимыми с точки зрения здравого смысла. Люди научились управлять собой лишь в том, что касается дел и жизненных потребностей. Как часто в отношениях двух любящих эта способность забывать о причинах сама становится причиной взаимных обид, обвинений и ссор. Спроси потом, чем была вызвана ссора? Вспомнят все слова, сказанные в пылу друг другу, а с чего началось, толком не помнит никто.

Итак, выехали из Ферганы. Почти сразу же «проголосовала» колхозница с грудным младенцем на руке, рядом на траве — огромный узел, сама в ярко-желтом бархатном жилете поверх зеленого платья. Киргизка. Ей в Араван (за Кызыл-Кия). Посадил ее бок о бок с термосом и «колибри». На первом же перекрестке шахтерского города наша попутчица с младенцем вылезла — пересаживаться на араванский автобус. Мы длинной улицей (садики, побеленные дома, ресторан «Уголек») докатили до входа в городской сад, в глубине которого на холме — шахтерский Дворец культуры, и наконец подъехали к копру шахты-4, по наклонному ходу которой когда-то с карбидным фонарем в руках поднимался и я из-под земли. Шахту давно выбрали и закрыли, на кирпичные стены копра наведена крыша: был копер, теперь отделение связи, могу тебе тут отправить письмо.

Грустно приезжать на старые рудники, у них тоже есть возраст. Всюду стоят немые, нерастущие терриконы выброшенной породы. Исчерпалась угольные богатства, а в городе все так же оглушительно цветут вишни... «Если тебе осталось жить до полудня, все же заработай, чтобы тебе хватило до вечера». Эту фразу слышал из уст Леонтия Григорьевича Солнышко, здешнего шахтера.

Случается, встретишь человека раз или два, не придашь никакого значения встрече, а потом жизнь все чаще возвращает тебя к нему, к его словам, и в конце концов оказывается, что это именно он дал тебе тот толчок, который стал определять твоё отношение к жизни и к людям. Такую роль в моей жизни сыграл Леонтий Григорьевич Солнышко, хотя видел его только в тридцатом году — первый раз, когда сюда попал.

Мне поручили тогда написать очерк об угольщиках. Приехав в Кызыл-Кия, я стал с наивной прямолинейностью молодости задавать вопросы товарищу Солнышко. Искал примеры под заранее припасенную схему: прежде жилось плохо, теперь хорошо.

Между тем шел тридцатый год — помнишь ли, что это значит? Время революции в деревне и разгар индустриализации: людям в те дни случалось отказывать себе в необходимом. Можешь представить, как мои вопросы должны были раздражать Солнышко. Он перестал отвечать и нахмурился, от смущения я смешался и умолк. Тогда Солнышко насмешливо глянул на меня и сказал:

— А из тебя шахтер выйдет. Трудновато придется только первые десять лет, а там привыкнешь.

В ответ я забормотал что-то вроде:

— При чем тут шахтер? Признаться, не собираюсь...

— А ты соберись! — сказал Солнышко.

И, как видно, убедившись по выражению моего лица, что загнал меня в угол, вдруг заговорил просто:

— Думаешь, мы боролись, кровь проливали только ради хлеба, ради крыши или даже ради вот этого? — Подвел меня к окну, за которым среди бочек с известкой и груд кирпича рабочие укладывали фундамент нового дома. — Нет! — сказал он и замолчал.

Инстинктивно почувствовал, что и мне следует молчать. Задай я в ту минуту вопрос «а ради чего?», он, думаю, опять срезал бы меня насмешливой фразой, и разговор на том бы кончился. Я молчал. Тогда Солнышко сам задал этот вопрос:

— А ради чего?!

Строго взглянул на меня и начал рассказывать историю Кызыл-Кия.

До революции здесь, по склонам глинистых холмов, поросших полынью, бурьяном да колючкой, лепились шахтерские землянки. Шестнадцать часов в сутки работали шахтеры: спускались под землю задолго до рассвета, выходили вечером в темноте. Фамилия Солнышко получилась из прозвища: от воскресенья до воскресенья шахтеры не видели дневного света, молодой же Леонтий Григорьевич в ту пору работал откатчиком, вывозил уголь на-гора, возвращался в шахту, его спрашивали: «Ну как денек?», отвечал: «Солнышко». Солнышко да солнышко, так и осталось за ним.

Входом в шахту служила дыра в земле. Сквозь эту «дудку» шахтер прямо на угольной бадье спускался в штольню, которая почти никак не вентилировалась, хотя глубина залегания угольных пластов доходила до двухсот метров. Задыхаясь без воздуха, лежа на животе, иногда в луже воды, прорубали кирками забойщики в стороны от штольни кривые штреки. «Шахтер в шахту опустил, с белым светом распростился...» Эти слова из старой песни имели в Кызыл-Кия реальное значение: каждую неделю бадья поднимала тела мертвецов — раздавленных породой, задохнувшихся или умерших от истощения.

— В будни мы работали, а по воскресеньям хоронили товарищей...

В Кызыл-Кия не было ни кладбища, ни священника, покойников заколачивали в гробы, выстраивали рядами в часовенке. И каждое воскресенье утром из Кызыл-Кия в город Скобелев (Фергану) на «кукушке» выезжала похоронная процессия. У всех провожающих, если это было зимой, в кармане лежали мочалки: своей бани в Кызыл-Кия не существовало; летом шахтеры купались неподалеку от поселка под водопадом, зимой, похоронив товарищей, заодно смывали с себя в городе недельную угольную грязь.

Интересно, что в 1917 году шахтеры этого маленького пролетарского поселка, затерянного, словно песчинка, в глубине феодальной Средней Азии, только одни здесь отозвались забастовкой протеста на расстрел июльской демонстрации в Петрограде; правда, отозвались с запозданием, так как номер большевистской газеты, посвященный этим событиям, проплутал больше месяца, прежде чем добрался в эдакую глушь. Солнышко был одним из вожakov забастовки. Леонтий Григорьевич рассказывал о том, как после революции шахтеры с оружием в руках отстаивали Советскую власть, как, отказывая себе в необходимом, перестроили шахты, как научили горняцкому делу киргизов, как многие разъехались по кишлакам — помочь дехканам объединиться в артели и как им там нелегко.

— А ты меня про что спрашиваешь?! — запальчиво заключил он. — Про живот?! Ты раньше про сердце узнай! Ты мне лишнее дай! Без необходимого я обойдусь!

Дня три после этого Солнышко приглядывался ко мне. Неожиданно зазвал к себе, усадил за стол в горнице, налил чаю, положил на блюдечко вишневого варенья, с простодушным видом спросил:

— Значит, хочешь принести вред Советской власти?

Я вздрогнул:

— Что вы?! Почему?! Совсем не хочу!

— Нет, хочешь, — строго сказал Солнышко. — Я тебя сразу понял. Ты хочешь писать, что дала нам Советская власть. Верно?

— Ну? — сказал я, вопросительно глядя на него.

— А чего не дала — об этом молчок?

Я пробормотал что-то нечленораздельное.

— Мычишь? — Смешливые огоньки зажглись в его глазах. — Мычи, мычи. Лучше не скажешь!

Я вспыхнул и встал, чтобы уйти, он с силой взял меня за плечо и посадил обратно на стул.

— Подумай сам — что делается на свете, если все будут писать про одну только сторону жизни! Все перестанут верить во все. И наступит царства отчаянного пессимизма! (Так и произнес — с мягким знаком.)

— Почему? — удивился я.

— А потому! — Леонтий Григорьевич пристально поглядел на меня, как бы испытывая мою серьезность и искренность, и заговорил: — Возьми врага... пишет про нас одно дурное. Прочту я, прочтет другой, отложит в сторонку и посмеется: «Ну и брехня!» Но если кто пишет про нас только беленькое — вот от кого вред! Полагаешь, каждое твое слово как застрянет в мозгах, так и останется: это, брат, все равно что верить в колдовство! Дураков мало... Прочтут твою писанину и скажут: «Вот гад! Половины не сказал — побоялся! Того не написал, и того, и того...»

Леонтий Григорьевич помолчал и заговорил опять:

— Будешь показывать одну сторону жизни, добьешься, что все увидят только другую. А ежели прочие станут вроде тебя в ту же сторону гнуть... тогда все во всем разуверятся: никакими статьями не уговоришь! Нет, ты так пиши, чтобы все было: и рожье, и божье, и красное, и черное, и серо-буро-малиновое... Вся как есть жизнь! Прочту я, прочтет другой, скажет: про меня тут правда, значит, и про других. Гляди на обе стороны жизни, и станешь человек!

Я не сразу понял глубину сказанного им — жизнь все чаще заставляла меня вспоминать этот разговор, и только много лет спустя по-настоящему его оценил.

17 апреля. Андижан

Никогда, пожалуй, не писал таких длинных писем, будто хочу ими занять все твое время. Пишу на дню иногда два раза, и меня снедает дурацкая тревога: чем я дальше, тем реже письма мои будут к тебе доходить, и, чего доброго, — сразу пачками. Нечеткая работа почты оставит тебе достаточно времени не

думать обо мне.

Бросить бы все! Неожиданно появиться перед тобой! Заглянуть в глаза! Спросить, что это было между нами?!

Ладно... Расскажу о сегодняшнем дне.

С утра казалось, в Фергане должен был пойти дождь, каждое облако имело серебряную подкладку, а с запада надвигалась темнота туч. Я ожидал машину в скверике. Возле детских колясок сидели на скамьях няни, поглядывая на небо. Ребятишки лет четырех-шести прыгали вокруг мальчика и кричали ему в оба уха: «Федя-редя съел медведя, продал душу за лягушу, за поганый котелок!»

Вот идет девушка-узбечка лет девятнадцати, с двумя длинными черными косами из-под тюбетейки. На груди новенький «Знак Почета»: наверно, на хлопкоуборочной машине работала. Ребятишки заметили орден, бросились к девушке, запрыгали вокруг: «Мать-героиня!.. Мать-героиня!..» Девушка вспыхнула, почти выкрикнула: «Надо разбираться в орденах и медалях!» Искоса взглянула на сидящих и пошла быстрее.

Мы поехали по городу. Во Фрунзенском жилом массиве, любуясь разноцветной окраской зданий, вспомнил, как некогда приезжим показывали тут один дом — достопримечательность города.

Жил-был в городе Скобелеве до революции офицер. Офицер как офицер. Поехал на охоту в Алайскую долину. И умудрился там продать киргизам эту самую Алайскую долину за тысячу рублей. «Алайская царица» Курбан-Джан-Дотхо, простодушная старая киргизка, сочла его погоны и мундир достаточной гарантией. Офицер составил документ, по которому значилось, что он, такой-то, продает Алайскую долину вместе с ее ручьями, травами и камнями. С таким же успехом он мог продать ей Ферганскую долину с ее городами и реками и вообще весь Туркестанский край, в придачу к нему и Каспийское море, а заодно и Северный Ледовитый океан. Когда «проделка» офицера выяснилась, царские чиновники посмеялись. Шутник отделался двадцатью сутками гауптвахты и потом за эту тысячу рублей построил себе роскошный по тому времени дом. (Где теперь этот дом? И не отыщешь...)

Сплошным садом, непрерывной цепью селений ехали через Маргелан, Ташлак... В придорожной чайхане, где остановились выпить по пиале чаю, прочел на стене: «Кто вырастит одно тутовое дерево, будет жить сто лет»: коленопреклоненно относятся здесь к деревьям. Вдоль шоссе — тутовники, тополя, карагачи у чайхан, кое-где огромные стволы таловых деревьев, так перекрученные, будто сказочные великаны, забавляясь,

хотели завязать их в узлы да и перекрутили. Весело ехать среди широколиственных стен!

По дороге к Ленинску стало заметно, что въехали в нефтяной район: в селениях среди молоденькой красноватой листвы виноградников газовые трубы, протянутые к жилым домам. И я вспомнил историю рождения одного из первых ферганских промыслов. Ее рассказал мне в 1937 году случайный собеседник — геолог, разведчик нефти.

За несколько лет до того приехал он с экспедицией в небольшое ферганское селение. По всем данным где-то тут должен был пролегать нефтяной пласт. Целое лето искали его геологи, не одну скважину пробурили, нефти не было. По вечерам в сельской чайхане, где геологи обосновались на жилье, собирались дехкане побеседовать о том о сем. Постоянным участником этих бесед был старый Илляхун — старик уйгур, фруктовый сад которого славился редкими сортами персиков и гранатов.

Сидел всегда молча, мигая выцветшими ресницами. На вопросы отвечал односложно, и в этой односложности ответов, в молчаливости, в той необычной манере, с какой бормотал молитву, прежде чем приступить к чаепитию, даже в самом постоянстве, с каким приходил в чайхану, было что-то неуловимо-тревожное.

Людям свойственно ко всему привыкать. Посудачив о странностях старика, геологи отнесли их за счет характера и перестали странности замечать.

Пришла осень. Удрученные, что лето пропало — нефти не нашли, геологи решили перебраться на новое место. Последний вечер провели с дехканами в чайхане. Поздно ночью дехкане разошлись, и геологи легли спать на открытой суфе (узбекской деревянной кровати) в чайхане, прямо под открытым небом — тем черным осенним небом Ферганы, в котором меж звездной пылью мерцают огромные, величиной с кулак, звезды и время от времени метеориты прочерчивают сверкающий путь.

Заря только начала заниматься, когда геолог, рассказчик этой истории, проснулся оттого, что кто-то легонько дергал его за плечо. Открыл глаза, перед ним старый Илляхун в дорожной одежде. Тихо, но властно потребовал, чтобы геолог последовал за ним. Вдвоем прошли через спавшее селение. На недоуменные вопросы геолога старик упорно отмалчивался, пока не вошли в сад. У калитки геолог заметил две лежащие на земле туго набитые переметные сумы.

Тут только Илляхун заговорил. Он стал водить геолога от дерева к дереву, рассказывая о каждом: откуда привез, когда посадил, какие плоды дает. Геолог слушал рассеянно, даже слетавшая с ветки птица заставляла его вздрагивать, так непостижимы были этот ранний час утра, и одежда старика, и тон, каким тот рассказывал о своем саде. Илляхун умолк, в тишине стало слышно, как от ветерка скребутся о глинобитный

забор сухие листья осени. Старик вздохнул и заговорил вновь.

Теперь он сказал, что в приезде геологов видит перст божий. Много лет назад, юношей, дал обет совершить поездку на могилу своих предков, в Кашгар, и откладывал поездку из года в год, потому что жаль было бросить свой сад. Седина одела серебром его голову, а он до сих пор обета не выполнил, и аллах решил покарать его — прислал геологов, дабы они уничтожили его сад.

— Почтенный Илляхун-бобо! — воскликнул в изумлении геолог. — Зачем же нам уничтожать ваш сад?

— Остановись, — сурово сказал старик. — Сказано в Коране: «Это не вы убили, а аллах убил. Это не ты бросил, когда бросил, но аллах бросил». Всемогуший прислал вас, ибо пекся о спасении души моей. Все лето он держал меня возле вас, испытывая мое усердие в вере. И понял я тайный смысл двадцать пятой суры: «Они делают божеством страсти свои». Разве не так я поступил?..

Голос старика окреп, зазвенел, глаза заблестели, он выпрямился и заключил, показывая пальцем в какую-то яму на обрыве в саду:

— Вот то, ради чего аллах послал вас ко мне. Это нефть. Возьмите ее, и да будет с вами милость аллаха!

Геолог бросился к яме, дрожащими руками схватил длинный прут, ткнул в яму, покрутил и вытащил. На конце прута блестела темная маслянистая жидкость. Да, это была нефть, несомненная нефть, открытый выход нефтяного пласта, как случилось уже в Ферганской долине. Геолог обернулся, старика позади не оказалось, окликнул, никто не отозвался. Не выпуская прута из рук, геолог побежал к калитке — переметных сум не было, выбежал на улицу — старый Илляхун исчез бесследно.

Спустя год на месте сада высились буровые вышки нового нефтепромысла. Однако самый сад не погиб. На колхозников произвел глубокое впечатление уход старика, и геологи, собравшиеся в то памятное утро вокруг нефтяной ямы, решили, что им непристойно оставлять дехкан в убеждении, будто они, советские специалисты, слепое орудие в руках аллаха; следует, наоборот, утвердить в сердцах уважение к человеческому разуму, к его силе. Геологи выписали из города ученых-садоводов и вместе с ними перенесли сад старика до последнего дерева на новое место.

Минул год. Однажды утром рабочие увидели на дороге какого-то старика в рваной, покрытой пылью одежде: опираясь на посох, он растерянно озирался. Один из местных жителей признал Илляхуна. Старика окружили. Предвкушая радость, какую испытает тот, увидев свой сад целым, его туда с торжеством повлекли. Однако Илляхун, когда его ввели в сад,

устало сел под яблоней на траву; на вопрос, был ли в Кашгаре, ответил: был. На остальные вопросы отвечать не захотел и попросил оставить его одного.

Первое время из сада он почти не выходил. Навещавшие его люди заставляли старика сидевшим и размышлявшим о чем-то. Переехать из своего сада в поселок нефтяников решительно отказался. Вокруг на деревьях созревали плоды, с мягким стуком падали наземь, гнили в траве, воробьи свершали над его головой шумное пиршество...

Спустя месяц он пришел к директору промысла, сказал, что передает сад нефтяникам, и попросил принять его на работу сторожем. Приняли. Переселился в коттедж, стал по ночам ходить меж нефтяных вышек, таская за плечами старенькое ружье, заряженное порохом.

В одну из таких ночей случилось буровому мастеру задержаться у только что пробуренной скважины. Далеко за полночь он пошел домой, и так хорошо было кругом, что мастер присел возле одной из вышек, погрузившись в тишину. Вдруг услышал шаги, выглянув из-за вышки, увидел Илляхуна. Мастер уже собирался его окликнуть, но, заметив, что старик положил ружье и расстилает на земле молитвенный коврик, сдержался и услышал самую необыкновенную молитву, какую кому-нибудь доводилось слышать.

Сперва Илляхун покончил с обычными молитвенными формулами, совершил намаз и неожиданно начал:

— О всемилостивый, всемилосердный! Ты, от которого не утаится вес пылинки и ничто более малое, чем это, и более великое! Будь милосерден ко мне, грешному. Гордыня обуреает меня. Денно и ночью, всем и каждому хочется поведать мне, что это я, и никто другой, открыл людям нефть, дабы возвеличиться в людском мнении. Но ведь это ты, о всеведущий, предсказал, что земля превратится в нечто другое, чем земля. И она превратилась в нечто другое. И в этом, помимо хорошего, нет ничего. Прости же меня, ничтожного, за то, что в мыслях моих осмеливаюсь присваивать совершенное тобой благодеяние. И да будет благословенна отныне и вовеки нефть, дающая людям свет и тепло!

Старик поднялся, закинул ружье за плечо и двинулся дальше в обход по промыслу.

А наутро весь поселок смеялся до слез над рассказом бурового мастера. Однако самому Илляхуну никто и виду не подал, что знает о его ночной беседе с аллахом. Наоборот, с того дня к старику стали относиться с особой почтительностью, пожалуй, даже с нежностью. Изредка только какой-нибудь

смешливый юнец, сделав в присутствии Илляхуна торжественное лицо, громко говорил заезжему гостю, указывая на старика:

— Вот кто первый открыл здесь нефть!

И тогда все видели, как обуревавшая старика гордыня, получив удовлетворение, раздвигала его усы сдержанной улыбкой удовольствия.

Вспоминаешь и думаешь: «Да полно, было ли это, уж не приснилось ли, не примерещилось ли — так далеко ушла жизнь!» В Ферганской долине выросло множество нефтяных промыслов — современных.

От Ленинска свернули на Хаджиабад. Я жил в Баку, знаю промыслы, запах нефти доставляет мне наслаждение, это запах юности! Когда дело касается техники нефтедобычи, меня трудно чем-нибудь удивить. Но даже самые смелые мечты инженерной мысли той поры не осмелились бы взлететь к тому, что увидел я, когда въехали на промысел «Андижан».

Среди пологих серо-зеленых холмов на порядочном расстоянии одна от другой работают качалки глубинных насосов: вверх-вниз, вверх-вниз. Но людей... Хоть бы душа! Только трубы, да суслики, да птицы, да наша «Волга», пробирающаяся по дороге между холмов. И на всех, даже самых дальних холмах, — ажурные вышки и работающие качалки: вверх-вниз, вверх-вниз...

Арип простодушно спросил:

— А где же люди?

И долго щелкал языком и качал головой.

Вид промысла вернул меня к юности, к Баку. Остановил машину, вышел. И, опустив голову, прошелся вдоль дороги. В безмолвии промысла передо мной встали воспоминания пережитого в двадцать четвертом — двадцать седьмом.

Калейдоскоп памяти

Весна 1924 года. Кончил школу в Ташкенте. А что дальше? Учиться, конечно! Как раз в тот год из рабфаков валом повалила рабочая молодежь. Стремясь открыть пошире перед рабочими двери высших учебных заведений, тогда (и только тогда — в ту осень) решили не принимать в вузы моложе двадцати лет: школьники-де обождут, пусть сперва потрудятся, хлебнут жизни.

Я нахлебался ее больше, чем надлежало, но шестнадцать лет есть шестнадцать лет. Снявши копии со своих документов, запечатал их в конверты и разослал в четырнадцать вузов страны. Ответов ждать не стал и укатил в Сураж, городок в Полесье, где за несколько лет до того умерла моя мать. Деньжата у меня были: в Ташкенте перед отъездом обменял коллекцию марок на велосипед, его тут же продал и чувствовал себя богачом.

В Сураже разыскал приятелей детства, недельку погулял, потом две недели прокрутился учеником сеточника на бумажной фабрике, подался под Сураж на торфоразработки... Дожди, дожди... Вдруг открытка: допущен к испытаниям в Азербайджанский университет. И вот солнце. Баку!

Испытания сдал шутя-играя. Трачу последние деньги, шикую: без пяти минут студент! Не тут-то было. Вывесили списки принятых: меня нет. Надеваю чужой макинтош до пят, чтобы казаться старше. Съедаю полкило мороженого: охрипнуть, прикрыть свой дискант. Бегу в Главпрофобр (каких только учреждений не существовало!). Говорю: с басмачами дрался, вот справка, была стипендия полка — справка, родителей давно нет — справка, одним словом, хлебнул. Меня — и не принимать?!

Улыбаются до ушей и обещают: в дополнительном списке буду... Жду, жду. Вывешивают дополнительный. Нет! Опять меня нет! Опрометью в Главпрофобр. Готовлю фразу: «А вы улыбаться мастер!» Минуя очередь, врываюсь в кабинет. Начальство смущено: «Как так, нет в списках! Будете! Идите! Ответственно говорю!» Еще три дня слоняюсь по бульвару, сижу на скамьях, вытянув ноги, созерцая игру солнца среди волн. Три дня как год, на четвертый вывешивают второй дополнительный список, в нем я один. «Каждый сам обнимет свою судьбу» — азербайджанская поговорка.

Ах, друг, милый мой друг! Если бы ты знала, сколько раз нынче сжималось сердце при воспоминаниях и сколько раз улыбался по пустякам. То, что сжимало сердце, отгонял: пусть не застит сегодняшней радости. А пустяки... Смешно устроен человек: прежде всего память возвращает то, что уже кому-нибудь

рассказывал, чтоб похвастать либо повеселить или поразить воображение.

Милая! Доводилось ли тебе «возлежать на античном обеде»? Нет! А я возлежал. Не шучу, читай и завидуй. Был у нас профессор древней истории Евгений Иванович Байбаков. Вот был лектор, всем лекторам лектор! Слушать его набивались в аудиторию не одни мы, историки, но и будущие медики, физики... Кто-то подарил Байбакову рукопись — греческую кулинарную книгу времен Птолемея. Мы, любимые его студенты, помогали ему расшифровывать названия составных частей блюд. А тут подоспел юбилей Байбакова. И тогда (идея моя!) мы вознамерились приготовить обед: ни одного современного блюда, все по древним рецептам!

Кроме фазанов и уток, кроме рыбы, кажется камбалы (прислали ее с Черного моря), в блюдах были — как раз это и придало им неповторимость — дикие растения, корни и травы, их мы собрали в предгорьях недалеко от Хачмаса. Стряпали профессорские дамы, несказанные ароматы летели из кухни, бегал туда «нюхнуть». Готовили и на дворе — пекли что-то в земле, пожалуй что перепелов. Напитки заранее сделали сами тоже по древним рецептам! Зарыли в землю узкогорлые глиняные горшки: чем не амфоры! Обед прогремел на весь Баку. Чествовать юбиляра собрались профессорские семьи, да было нас несколько студентов. Эллинистический обед! Спросишь: «Вкусно?» Теперь мне трудно судить, но тогда... Сами делали! Казалось, не бывает вкусней.

До всего было нам дело, все нужно было испробовать или увидеть самим. С чувством восхищения и отвращения следовать за толпой фанатиков: они (в 1924 году в последний раз) шествовали, бичуя себя цепями, из-под лохмотьев по оголенным спинам струилась кровь, зверские лица, хриплые выкрики: «Шах Хусейн! Вах Хусейн!» Прошло полторы тысячи лет, а эти никак не могли успокоиться по поводу того, что сунниты не признали Хусейна преемником Мухаммеда: пример того, как долго бушуют религиозно-политические страсти, даже когда «из-за чего все» давным-давно позабыто.

Пожар на Биби-Эйбате... Разворотило буровую, прорвался газ, загорелся от искры, грандиозный факел сотрясал воздух над городом. Вдвоем с приятелем помчались к Биби-Эйбату, споткнулись о милицкий кордон, хорошо знакомыми мне путями, в обход — на промысел Ильича, четвертый. (В первый месяц университетской учебы одновременно пробовал освоить там ремесло бурового мастера, потом выпускал стенгазету промысла.) Разыскал знакомого рабкора, и мы с приятелем уже

возим в тачках песок, лишь бы к пожару подойти вплотную, поглазеть.

И еще всякое лезет в голову... Состоял в ОДВФ (Общество друзей воздушного флота). Те из нас, что технически посильней, собрали из старых, летавших до революции трех «лебедей» один целый «лебедь» — самолет. Теперь воздух — быт, тогда — почти фантастика. Взлетали и делали над бухтой круг: «лебедь» скрипел всеми частями, того и гляди рухнешь в море, зато какой восторг высоты!

«... То не ветер шумит, не туман. Слышишь, как говорит Шаумян: — Джапаридзе, иль я ослеп, посмотри: у рабочих хлеб...» На площади Свободы читал Есенин свою балладу о двадцати шести! «... Нефть — как черная кровь земли. Паровозы кругом... Корабли... И во все корабли, в поезда вбита красная наша звезда». Как свято верили мы, кулаком утирая кровавые слезы, что еще чуть-чуть поднажми — и мировая революция! Мы щеголяли в старых кожанках и кирзовых сапогах, летом в косоворотках, кое-кто в рубашках-ковбойках. А он (приехавший к нам в Баку) ходил в синей парижской шляпе: одна такая шляпа только и была в городе! Ему можно было все! Поэт!

Ему можно было все! Иду по Меркурьевской, гляжу, лежит синяя шляпа тулейей вниз на тротуаре, над ней горделиво стоит Сергей Александрович: «Подайте поэту!» Я разинул от удивления рот. Выбегают из редакции «Бакинского рабочего» журналисты, подхватили поэта под руки, подняли с тротуара шляпу и исчезли в подъезде. Я за ними. Оказалось, Чагин не дал Есенину гонорара, ну тот и «сыграл». Понятно, деньги тут же выдали, и синяя шляпа опять на голове, и улыбка во все лицо.

С ним мне довелось встретиться и ближе. Было так... Осень 1924 года, я учусь на общественно-историческом отделении Азербайджанского университета, его готические корпуса с черепичными крышами стоят поныне: в этом здании слышал прощальную лекцию Вячеслава Иванова, перед тем как он уехал в Италию, в этом здании, макая кисть в красную краску, писал и плакат о предстоящем вечере Сергея Есенина... Мы — я и Шурка Полецветов — от имени студенческой литературной группы пригласили Есенина выступить у нас, затея эта не обошлась без трагикомического приключения.

В день его выступления, когда наши объявления заманчиво пестрели в коридорах университета, увидели в городе печатные афиши, извещавшие, что в этот самый день и даже в тот же час в Азербайджанском театре оперы состоится вечер Есенина и Хольцшмита. Сраженные таким надувательством, прибежали в гостиницу «Старая Европа», где жил Есенин. Он только что проснулся и умывался, склонившись над мраморным умывальником, когда мы постучались и вошли; с удивлением воззрился на нас.

— Вы же обещали!.. Мы уже и плакаты развесили!..

Уразумев из сбивчивых слов Шурки, в чем дело, Есенин рассвирепел. Оказалось, Хольцшмит приставал к нему, но Есенин

наотрез отказался с ним выступать. И вот (Сергей Александрович только от нас это узнал) Хольцшмит поставил его перед свершившимся фактом: как видно, сговорился с администрацией театра и заказал афиши.

Из слов Есенина мы поняли, что Хольцшмит — минский поэт, по профессии не то цирковой борец, не то боксер, что «лечит женщин стихами», и его образ стал нам отвратителен. Тут отворилась дверь, на пороге — Хольцшмит собственной персоной. Есенин накинулся на него, Хольцшмит слушал, сбываясь и иронически щурясь. Это окончательно вывело Есенина из себя, он схватил пустую бутылку и швырнул на пол у ног Хольцшмита, бутылка вдребезги! Хольцшмит по-медвежьи повернулся, вышел и прикрыл за собой дверь с такой силой, что вырвал ручку: вторая медная половинка ее вывалилась внутрь комнаты.

Наступила тишина. Мы сидели на диване ошеломленные. Есенин на нас поглядел, в его светлых глазах сверкнуло веселье, он сказал:

— Вам обещал, у вас и буду выступать!

И действительно, приехал к нам. А в театре был скандал, публике возвращали деньги за билеты. Хольцшмит из города предусмотрительно скрылся.

Читал стихи Есенин прекрасно, без модных в ту пору эффектов. Слышал его еще несколько раз на собраниях литературной группы в редакции газеты «Бакинский рабочий». Закроет глаза, прислонится спиной к дверному косяку и начинает — негромко, нараспев, по-своему, по-особому окрашивая каждый стих. В напряженном месте вдруг открывает глаза, как бы усиливая взглядом смысл самого важного, самого весомого слова, и опять сомкнет веки, уйдет в себя... Впечатление на всю жизнь!..

18 апреля. Андижан

Вертелось, вертелось в памяти да и вспомнилось, как, вышагивая по бакинским улицам, повторял и повторял: «Бобэоби пелись губы... Вэоми пелись взоры...» Хотя в зауми этой за полсотни лет смысла больше не стало, она и сейчас полна очарования. «Пиээо пелись брови... Лиээй пелся облик... Гзи-гзи-гээо пелась цепь!» От увлечения Есениным до обуянности Хлебниковым я перешел как-то вдруг, перескочив одним махом через пестроту бесчисленных «измов». Слово «будетляне» сделалось моим символом веры, самодельные издания футуристов — книгами сердца, комплект журнала «Леф» — единственным собранием сочинений на моей книжной полке.

Жил сразу несколькими жизнями от избытка сил, от желания все увидеть, все в себя вобрать, все пережить. У меня было (разве

в юности знаешь, какое это богатство!) несколько компаний друзей и приятелей, друг с другом вовсе незнакомых.

Вспомнил сегодня себя тогдашнего: не до конца еще выветрился беспризорник, легко находил общий язык с блатными... Хаза у молоканского садика. Разговоры: «Стеша! Водка есть?» — «Будьте любезны, сходите сами, а я сегодня нездорова, потому прошу вас меня не беспокоить». Приносят поллитровки, читаю наизусть «Облако в штанах» Маяковского, слушают с детским азартом, будто не хаза, а районная читальня. Домушник по прозвищу Чахотка не дает своим девкам меня прерывать. Потом пьем водку-сараджевку из граненых стаканов, на столе — ломти хлеба и груды переспелых помидоров.

Все сверх меры! Все через край! В юности жаждешь сильных впечатлений. Выпивка — так с бандитами! Ветер — так норд! Море — так шторм! Закат — так вполнеба! Земля? Дыбом!! «Иду по Арбату и выкрикиваю. Грандиозно! Невероятно! Громадно! Курьезно! Бесплатно! Мама! Не любят меня! Гонят! Поцелуев не дарят! Больно! Прикусила земля лапу. Спросила насмешливо: мама? Где мама? Заорал я в ответ с силой. Мама? Там она — мама! На губах у милой!» Лирика тех лет.

И коли уже речь зашла о стихах, самым интересным с весны двадцать шестого года стал для меня дом (верней, каморка) Саши Бугославского, местного адепта самовитого слова. Хлебников делил людей на приобретателей и изобретателей: будущее только у вторых! Эга мысль тогда завладела мной. Приобретателей (подразумевалось, нэпманов и мещан), естественно, презирал, изобретателей боготворил.

Память о Хлебникове в те годы в Баку еще жила. Впервые услышал там рассказ очевидца, ставший потом достоянием историков литературы о том, как Хлебников отстал от своей воинской части в Иране и, оказавшись среди темного, враждебного населения, спасся. Несмотря на разноязычье, крестьяне-иранцы учуяли, угадали в нем поэта-дервиша, прозвали Гуль-муллой, Священником цветов, и отпустили. Лишь одну краску добавлю (слышал тогда же, но нигде не читал про это): будто стоял Хлебников со связанными руками перед фанатиком-головорезом, стоял, ждал смерти и вдруг запел, обращаясь к журавлям. Один журавль отстал и закружился над ним. Все удивились и сказали — это святой. За Хлебниковым волочились легенды.

Нашей живой легендой был Бугославский. Тоже дервиш, спал в совершенно пустой комнатке на полу, всюду, как у Хлебникова, валялись рукописи, чернильница его кочевала по полу, приходилось быть настороже, чтоб не наступить. За несколько лет

до того состоял в сибирской группе футуристов вместе с Асеевым и Чужаком, это создало вокруг него ореол: к нему шли все, кто тянулся к самовитому слову, люди разных возрастов, профессий, взглядов на жизнь. Каждый день он «выдавал» по стихотворению, а в свободное время вырезал ножичком экслибрисы: романтическое воспоминание о рыцарских гербах, укороченное эпохой до мальчишеского развлечения и вместе с детством возведенное в ранг поэзии. Вся поэзия была игрой в слова!

Зарабатывать деньги Саша считал для себя зазорным, царственно принимал все ото всех: разумелось, он поэт, и мы должны о нем заботиться, мы, подразумевалось, живем его заемным светом. Оглядываясь назад, вижу — поэтом он не был, сердце не участвовало в его стихах: холодные версификации! Да и в юности стихи его, признаться, не исторгали у меня возгласов восхищения. Однако какое это имело значение! До настоящих «Лефов» нам было как до Сатурна. Один лишь Бугославский среди нас хоть одним пальцем принадлежал к их великому братству и в то же время оставался для нас Сашей, хоть было ему около сорока; а на вид и того больше: глубокие складки бороздили щеки, придавая лицу сардоническое выражение.

Писать стихи и не издавать? «Сами напечатаем!» — решили как-то, сидя у Саши. И вот С. Эрлих (работал выпускающим в типографии газеты «Бакинский рабочий», баловался стишками) взялся раздобыть бумагу в обмен на то, что тиснем и его вирши. А издателя нашел я — Деткомиссию при Баксовете, с тем чтобы всю выручку — в фонд помощи беспризорным детям. Убедить Деткомиссию мне труда не составило: на собственном примере мог показать, что значит помочь беспризорнику.

Витя Горин, студент политехнического института, единственный молодой автор, кроме меня, хоть и постарше, придумал название «Многогранник». С помощью Вити по ночам, держа в руках валик, я прокатал лист за листом весь тираж, пятьсот экземпляров, в нашей университетской стеклографии, где, бывало, подрабатывал, печатая лекции профессоров. В январе двадцать седьмого «Многогранник» появился на книжных прилавках. Первые напечатанные стихи! Не мог наглядеться на книжечку, хотя и своими руками делал.

Веселье через край кончается в детстве слезами. В искусстве и радость сильнее, и слезы солоней. В одно прекрасное утро открываю газету «Бакинский рабочий»: фельетон «Лисьи хвосты». А. Яковлев (из дореволюционных газетчиков, стиль отдавал желтизной, однако не лишен был остроумия) разделал в дым «Многогранник».

В юности сердце всецело открыто добру и не заслонено от ударов, как щитом, знанием жизни. От стыда готов был провалиться сквозь землю, всюду мерещились усмешки, даже тумбы для афиш и те поглядывали на меня с явной иронией. Сердце жаждало открытого боя, дуэли! Наивность юности! Идти с открытым забралом! Писем Гоголя в ту пору еще не читал, а если бы и прочел, все равно (для этого надо самому пережить!) не понял бы слов, обращенных к Погодину: «Битву, как ты сам знаешь, нельзя вести шпагой, защитницей чести, против тех, кто вооружен дубинками и дрекольями. Поле должно остаться в руках буянов».

Письмом в редакцию мы вызвали Яковлева на дуэль: потребовали публичного спора, назначили время и место — клуб имени Шмидта. Напрасно прождали, не пришел! «Ага! Испугался? В кусты от открытого спора?!» Недолгим было наше торжество, минул день, в газете — ба-бах! — второй фельетон: «Еще о лисьих хвостах». Смысл: «Мол, вы, молодые люди, возжаждали скандалу, чтобы эдаким путем достичь известности? Не будет вам скандалу!

Зря, что ли, в первом фельетоне не назвал ваших имен. И сейчас, не надейтесь, не назову! Не будет вам известности даже и в бакинском масштабе!»

Этот второй фельетон вмиг развеял мои обиды, вызвал лишь смех. Все было так нелепо, так далеко от того, чем на самом деле жил. Жил счастьем все новых открытий. Как раз в те дни попала мне в руки «Сестра моя жизнь» Пастернака, был околдован ее силой и чистотой, ходил, прижав книгу к сердцу. Грязь фельетона уже не могла забрызгать меня. «Аллах с ним!» — сказал и перестал думать о нем.

Задашь вопрос: а «Многогранник» все-таки чего-нибудь стоил? Положа руку на сердце отвечу: «Нет! Никогда, ни до, ни после, не писал столь плохо!» Конечно, эдак отзываться о себе — удовольствие из средних. Уйгуры говорят: «Лягушке неприятно вспоминать, что была головастиком». А ведь мнил себя «изобретателем» в хлебниковском смысле, хотел быть им. «Про что» — на это было начхать, весь погружен был в «как» — в музыку стиха. Ну и... тебе трудно даже представить, какую писал абракадабру! Лишь бы найти свое, быть на других непохожим!

Мне хочется... Нет, не то слово... У меня острая потребность рассказать тебе о памятном старым бакинцам событии, которое потрясло мою жизнь. Никогда им с тобой не делился, вероятно, потому, что это не та страница жизни, какую рассказываешь ради интереса. Слишком личная, что ли, страница, трудная для меня, еще более тяжелая для Вали Савельевой.

Жила Валя в Черном городе — в одном из построенных еще Нобелем для рабочих двухэтажных домов, с наружными пологими лестницами: будто не к людям они, а на склады, чтоб по ним выкатывать бочки. Отец Вали, Николай Алексеевич, мастер-сталевар завода имени Монтина, книги в руки если и брал, так специальные. Мать, поглощенная семьей, до книг совсем не дотрагивалась. А Валя (разве не поразительно?) была едва ли не самой начитанной на нашем курсе в университете. Мне учеба давалась легко, помогал ей заниматься. Однако из литературы она извлекала куда больше, чем я, и открыла мне множество книг.

Вместе посещали литературные вечера. Когда вечер либо семинар затягивался допоздна, провожал ее домой в Черный город, читая ей по дороге под редкими качающимися фонарями стихи. От остановки трамвая шли Кислотным переулком, узким, кривым. Идем рука об руку. Ее надо проводить! Нельзя не проводить! Нельзя позволить идти одной в этот час этим безлюдным путем!

Идем. Остро пахнет нефтью и химией. В безмолвии вечера перекликаются трубы нефтепроводов, по ним перекачивают мазут. Всюду потеки нефти, пропитанная мазутом земля. И если дует норд, фонари качаются как безумные, бросая бледный мечущийся свет на заводские заборы, на проломы в них. Ударяясь о переплетения труб, звенят мелкие камешки, норд несет их вместе с пылью. И под посвисты ветра звучат строки Есенина, Багрицкого, Маяковского: это я, это я ей читаю стихи.

Мало-помалу стал своим в Валиной семье. Ее мать, Анна Иосифовна, стала относиться ко мне как к сыну. Сестры встречали радостными улыбками. Соседи их большого двора кланялись как знакомому. За глаза они величали меня Васиным женихом. И я и Валя относились к этому с юмором, нас связывало высокое слово «дружба». Спросишь: «А как было на самом деле?» (Вижу, вижу твой озорной глаз.) Отвечаю как на духу: была дружба. И пожалуй, да, пожалуй, любовь. Но в ней не было и тени эротики. Была любовь высокая, как дружба. Теперь, много лет

спустя, могу рассказывать о себе, как о постороннем. Понимаешь ли...

Бывший беспризорник, я в те годы хорошо знал изнанку жизни, и для меня не существовало обычных в ранней юности тайн, связанных с близостью. Мне было абсолютно ясно, что «это» не имело никакого отношения к словам «дружба», «любовь». Скорее наоборот. Понимаешь теперь, как высока была наша дружба с Валею Савельевой. Или, если хочешь, любовь. Ни тени не омрачало ее. Ничего низменного. Между «этим» и «тем» была стена высотой до небес.

Такую дружбу, теперь-то знаю, людям редко удастся сохранить незапятнанной. Дремлющие, светлые и вместе с тем темные силы, глубоко скрытые и Самим до поры неведомые, в конце концов могущественно пробуждаются. И все летит кувырком. Быть может, и я не был бы исключением, и у меня случилось бы так. Но в жизнь ворвалось несчастье.

Был литературный вечер, затянувшийся допоздна. После него провожал Валу в Черный город. Поехали на последнем трамвае. От остановки, как обычно, шли Кислотным до дома. А назавтра выяснилось, что в этот самый вечер исчезла ее старшая сестра Галя. Ее тоже провожали, но только до трамвая. Было это примерно за полчаса до того, как мы с Валею сели в трамвай.

Представляешь, какое волнение охватило всех. Заявили в милицию. Милиция милицией, а я решил сам не терять ни минуты, искать Галю. Помочь мне в поисках вызвался Юсуф Касимов, помощник управляющего Черногорской группы заводов. Его предложение никого не удивило: жил в том же дворе, мало того, на том же этаже — по этажу вокруг внутреннего двора шла общая деревянная терраса, куда выходили квартиры рабочих. Женат Касимов был на русской. Случалось, жена пришлет его к Савельевым за стаканом муки, за молотком, за отростком фикуса. А то и в гости на огонек заглянут вдвоем. Словом, отношения были добрососедскими.

Двое суток без всякого результата ездили и ходили мы с ним по Черному городу, даже по заводским дворам, благо по должности его всюду пускали. А на третий ребяташки из «нобелевского» поселка, играя в проломах Кислотного переулкa, нашли окровавленный Галин платочек. А потом и Галю. Ее тело было запрятано в пещере, в стене завода бывшего Каспийского товарищества.

Следствие быстро восстановило, что произошло. За полчаса до нас с Валею вдоль каменных заборов Кислотного шла Галя. Ее подстерегли, затащили в пролом на заводской двор и стянули руки ее же зеленым ремешком.

Что говорить о матери, отце, сестрах — весь рабочий Баку был взбудоражен. Галя выросла на глазах Черного города, рабочие знали ее школьницей. Похороны превратились в манифестацию. Через заводские районы шла многотысячная похоронная процессия, шел весь рабочий Баку. Разумеется, я был с Валею и матерью: нуждались в поддержке. На кладбище среди толпы увидел на мгновение и Юсуфа Касимова. Но не придал значения... сосед!

Настали трудные дни. Анна Иосифовна была в тяжелом состоянии. Не спала ночами, и Валя с нею не смыкала глаз. Единственный, кому она могла доверить мать, был я. Отцу надо выпасться — идти в свой сталелитейный. Младшая сестренка Зойка — еще девчонка-школьница, ветер в голове. И я на время переселился к ним, чтобы дать возможность Вале хоть изредка как-то передохнуть. Каждый день приносил матери новые муки. С жадностью расспрашивала она следователей. Они зачастили в дом. Сбегались соседи. Их не впускали. Следователь уходил. И все обступали семью с расспросами. Это усиливало, нагнетало остроту горя.

Арестовали двух ночных сторожей завода. Они признались в преступлении. И назвали третьего, который подбил их, — главного насильника и убийцу. Им оказался Юсуф Касимов — сосед, который вместе со мной искал Галю. Как гром было это признание. Мать тотчас вспомнила: незадолго до того Галя жаловалась, что Касимов к ней приставал. Когда бакинцы узнали о главном виновнике, негодование стало всеобщим. Газеты печатали коллективные письма рабочих, все требовали «высшей меры социальной защиты». (Термина «высшая мера наказания» еще не было.)

Показательный суд начался в кинотеатре «Амбир», но желающих попасть оказалось столько, что перенесли его в здание Азербайджанского театра оперы.

Всех троих приговорили к расстрелу. Любой другой приговор казался мягким, слишком бурлил рабочий Баку. Ощути, с какой остротой все переживалось в семье. Время не лечило ран, наоборот, с каждым днем сильнее растравляло. Анна Иосифовна была на грани самоубийства. Надо было все время сидеть возле, не спуская с нее глаз. Много дней минуло, прежде чем мы с Валею смогли оставить ее и пойти на лекции в университет.

Валя навсегда сделалась мне родной — родною сестрой. Судьба сдружила ее позже с маленьким северным народом — нивхами, она стала специалистом по их языку: начала с букваря для нивхских ребятишек, а кончила тем, что составила первый русско-нивхский словарь, изданный «Советской энциклопедией».

Горжусь своей сестрой.

Чуть-чуть о Маяковском

В Баку, в музее Низами, полном древних рукописей и миниатюр, в предпоследнем зале — не помню, рассказывал ли тебе — висит большое фото: Маяковский среди азербайджанских писателей. В центре группы, рядом с Владимиром Владимировичем, сидит молодой Сулейман Рустам, на шее длинное шелковое кашне — предмет былой моей зависти, галстук бабочкой. А позади Сулеймана Рустама стою я, мальчишка в ковбойке и кепке, гляжу на мир божий, явно ожидая чудес.

Дело было так. Кому-то после выступления Владимира Владимировича с азербайджанскими писателями в Доме работников просвещения загорелось сфотографироваться с Маяковским. Владимир Владимирович повел с собой сниматься и меня. По пути в фотографию Маяковский дурачился, ткнул пальцем в тигра, оскалившего пасть на цирковом плакате: «Не завидую зубному врачу, если этот господинчик придет к нему рвать зубы!» Смеялись, не потому что показалось бог весть как смешно: просто было весело, хотелось смеяться. И вот уже даже эдакие пустяки — история.

Мне всегда казались смешными заупокойные воспоминания о знаменитостях: о всяких пустяках, вроде того, что Маяковский не брался за дверные ручки, а пропускал кого-нибудь открыть дверь (и домыслы: «Боялся заразы?»). Было такое? Было! Но что добавляет к облику поэта и гражданина?

Знал Маяковского недолго, всего несколько дней. И все же это одно из самых острых воспоминаний.

В конце 1927 года Маяковский приехал в Баку. Его приняли, в общем, не очень дружелюбно. Это было время, когда в печати нападки на Маяковского стали обычны. Я учился в университете и работал в газете «Молодой рабочий», заново собрал (распавшуюся было после отъезда талантливейшего Крюкова) литературную группу «Комсомол». Чуть ли не каждый вечер до иступления, до умопомрачения читаем друг другу стихи, свои и чужие, цепляемся к строчкам, разбираем каждое слово: наш бык — бег, наш бог — Маяковский.

Ко дню его приезда решили тиснуть его стихотворения и статью о творчестве. Статью написал я. Шер, наш ответственный секретарь, отнес литературную страницу на подпись редактору, тот ее отверг: «Вразрез с центральной печатью». Шер вернулся срочно заменять материалы литературной страницы. Я схватил оттиск и помчался к редактору, произнес спич в защиту «Лефа», говорил о громадности Маяковского, об истории «Лефа», о его

будущем. Меня слушали, посмеивались: не спорить же с мальчишкой. А ежели в глубине души и соглашались (теперь знаю — случается и такое), статью не решились пустить.

Не прошло двух недель, как в новогоднем фельетоне «Молодого рабочего» прочел: «Выходит книга всемирно известного поэта Витковича «О корнях «Лефа» в античном мире». Шпилька в мой адрес! Так или иначе, литературная страница вышла со стихами Маяковского, но без моей статьи. Внизу полосы было объявление об очередном собрании литгруппы. На это-то собрание — в разгар чтений и споров — в продымленную нашу комнатуху неожиданно вошел Маяковский, пригнувшись, чтоб не стукнуться лбом о низенькую притолоку редакционных дверей. Все вскочили, он нас усадил.

— Продолжайте работу!

Но какая работа, когда рядом сидит Маяковский! Решившись первым принять его огонь на себя, я прочел стихотворение «Бронепоезд». Владимир Владимирович стал разбирать строки, рифмы, созвучия... разбирать, как умел только он. Это был урок, «как делать стихи». Ты знаешь, Маяковский называл себя мастеровым стиха. Свидетельствую: это была не поза, не дешевое модничанье, а страстная убежденность. Теперь не принял бы его точки зрения на назначение и сущность поэзии. Тогда был потрясен серьезностью и горячностью, с какими он утверждал необходимость «делать» стихи.

После меня читали другие. Каждую строку Владимир Владимирович разбирал так же подробно, показывая, как шатки, как случайны слова в наших стихах. Наконец и сам прочел стихотворение «Нашему юношеству». Помнишь? «На сотни эстрад бросает меня...» и т. д. Прочел и сказал:

— Придирайтесь!

Мы честно придирались, он оборонялся. На всю жизнь вынес я после этого дня понимание, что поэзия — колоссальный труд по строительству слов, требующий специальных знаний и отточенного слуха. Тогда же разыскал оттиск подготовленной к его приезду полосы, вручил Владимиру Владимировичу и все рассказал. Он усмехнулся: «Непечатное! Надо бы наклеить на забор!» — и унес оттиск с собой.

Двоих из нас, читавших в тот вечер — меня и Георгия Строганова (того, что потом писал тексты песен для Бейбутова), — Маяковский брал с собой выступать на заводах и в клубах. Прочтет Строганов, прочту я, прочтет кто-нибудь из азербайджанских писателей, потом вечер ведет Маяковский. Тогда мы не задавались вопросом, почему Маяковский для совместных выступлений, разговоров о поэзии, поездов на заводы

выбрал нас, двух мальчишек. Как положено в юности, приписали собственным достоинствам. Лишь много позже понял: было следствием одиночества.

В то время о Маяковском писали, что стихи его непонятны народу, что он «кончился», «исписался», «ничего выдающегося больше не создаст». В Средней Азии говорят: «Величина башни измеряется длиной ее тени, величина человека — числом завистников». Маяковский был великаном: ни у кого не было столько завистников, как у него. В литературных салонах смаковалась грязная брошюрка некоего Альвека, доказывавшего (идиотизм этого сейчас и младенцу ясен), что Маяковский лишь «обокрал» Хлебникова.

В нашем отношении к нему Владимир Владимирович по крайней мере мог быть уверен. Понимал: мы, двое мальчишек, влюбленных в его стихи, не держим камней за пазухой. Вот и таскал нас с собою. В механическом цехе доков имени Парижской коммуны (Сулейман Рустам прочел стихи первым и ушел, куда-то заторопясь) Маяковский повторил голосование, какое накануне провел при нас на заводе имени лейтенанта Шмидта. Это было ответом тем, кто утверждал, что стихи его непонятны народу. Стоя посреди цеха на перевернутом ящике, Маяковский читал стихи, в конце спросил:

— Всем понятно?

— Понятно... — зазвучали голоса.

— Кто мои стихи понял, поднимите руку! Поднялись сотни рук.

— Кто не понял?

Поднялась одна рука: опять же — библиотекарь! Вот она — преднамеренная нелюбовь!

После выступления в доках шли мы заснеженным приморским бульваром. Владимир Владимирович развивал перед нами излюбленную мысль о необходимости работать в газете, писать стихи на злобу дня. Я, в ту пору невысокий, Маяковскому по плечо, — глянув снизу вверх, спросил:

— А как же тогда Пастернак?

Любил стихи Пастернака, знал, что и Маяковский их любит. Поглядев на меня с высоты своего роста, Владимир Владимирович сказал:

— Пастернак — особое дело.

Это «особое дело» так на всю жизнь и застряло во мне. Теперь знаю, настоящая поэзия вся «особое дело».

В те дни я видел двух Маяковских, совсем разных. Один — тот, что разговаривал с нами и выступал на заводах, — был сдержан, серьезен, всем интересовался, и если острил, так не зло.

Но когда Владимир Владимирович вышел на сцену Дворца азербайджанской культуры, куда бакинская публика пришла, ожидая скандала, на его платный вечер со стихами и докладом «Даешь изящную жизнь!», его было не узнать. Вызывающим жестом снял пиджак, повесил на спинку стула, распрямился, молча оглядел зал, — гладиатор, готовый сражаться! — где уже начали свистеть и топтать ногами, и внезапно перекрыл весь шум своим могучим басом.

Наутро следующего дня зашел за Маяковским в гостиницу и застал такую картину: на столе, диване, стульях разложены записки — те, что вчера получил. Перехватив мой взгляд, Владимир Владимирович усмехнулся:

— К драке примериваюсь!

Оказалось, после каждого вечера он готовится к следующему. Сразу отвечал на записку — либо если ответ напрашивался на язык, либо если был заранее готов: многие записки повторяются! Некоторых записок даже не извлекал на свет божий: все равно времени не хватит ответить на все! Потом — в одиночестве — работал, придумывал острые ответы. Тогда меня совершенно покорило его отношение к бою как к бою, а не как к болтовне. Остроумнейший из полемистов, Маяковский не полагался только на находчивость, он» знал: и тут необходим труд.

В следующий раз мне довелось встретиться с Маяковским незадолго до его смерти, в Ленинграде. Пришел на вечер Маяковского в Дом печати на Фонтанке: на его выставку «20 лет работы». Он читал «Во весь голос», и что было удивительно: не отвечал на выкрики и реплики с места. До того на него непохоже! Кончил читать — и к выходу. В проходе заметил меня, потянул за руку и буквально втащил в свою машину, стоявшую у подъезда. В машине еще кто-то сидел, но я так был поглощен разговором с Владимиром Владимировичем, что не разглядел кто. Ехал Маяковский на Васильевский остров в университет выступать, там его ждали: он выступал в университете накануне, но днем — большинство студентов не смогли попасть, попросили выступить еще раз. По пути в университет расспрашивал, что делаю в Ленинграде, что пишу, неожиданно спросил:

— Об Усманове написал?

Фантастическая память! В Баку рассказывал ему много историй, ему понравилась про Усманова (расскажу ее и тебе). Тогда он сказал:

— И нам, мастеровым слова, иногда приходится как Усманову...

И в университете Маяковский читал «Во весь голос». И там у его ног билось взволнованное море выкриков. А он стоял глыбой

— и ни слова в ответ. Таким его и запомнил.

Вскоре после того, как «Новый мир» опубликовал две странички моих воспоминаний о Маяковском (1967 г.), до меня изустно долетели иронические отклики маякововедов. Мне оставалось пожать плечами: написал, как помню и что помню, а опускаться до этих, сквозь лупу разглядывающих жизнь поэта?! Помнишь, как сам Маяковский о них? «Бойтесь пушкинистов! Старомозглый Плюшкин... и т. д.».

Ну а теперь выполню обещание: расскажу тебе про Усманова. На мой взгляд, история не бог весть, случались похлестче.

Было это тут, в Андижане. Однако прежде о том, как попал сюда и что здесь делал... Весна 1923 года. Перешел в девятый класс школы. Начались каникулы. Из Ташкента в Ферганскую долину уезжал особый отряд по борьбе с басмачами, молодежный отряд. Узнал случайно, побежал, запыхавшись, упросил взять и меня. Посмеялись, но взяли. В Андижане, в штабе полка взглянули строго. Пятнадцать лет, низенький, говорил дискантом. Может, напомнил комиссару сына? Может, просто пожалели мальчишку? Словом, дальше меня не пустили, оставили при штабе вестовым.

Жил в казарме. Научился чистить коня, развозил пакеты, чувствовал себя орудием высшей справедливости, хоть басмачей и не видел. Только пленных. Был у нас Усманов, прекрасный наездник, любитель и знаток лошадей. Басмачи напали на его родное селение, сожгли его и угнали с собой гордость Усманова — жеребца Гырата, названного в честь легендарного коня богатыря Гёроглы. Жажда отомстить бандитам привела Усманова к нам.

Однажды Гырата в стычке с басмачами отбило другое соединение Красной Армии. Узнав об этом, Усманов возликовал и отправился за своим конем. Однако командиру части, отбившей Гырата, скакун пришелся по сердцу, он захватил его в бою и отдавать не хотел. Усманов не раз ездил к нему, тщетно упрасивал, умолял, пытался выкупить коня, обменять на других лошадей и в конце концов ночью Гырата украл. Дальше уже не случай, простая логика событий привела Усманова на скамью подсудимых. Его судил реввоен трибунал за кражу коня.

Весь наш эскадрон поехал выручать Усманова, и мы выручили бы его, ибо еще до суда объяснили трибуналу, в чем дело. Знали заранее: Усманова оправдают и коня ему вернут, но сам Усманов об этом не знал. И то ли потому, что в сознании его не укладывалось, как можно судить за кражу собственного коня, то ли просто не вынес позора (суд происходил открыто в красной чайхане, вокруг помоста толпился народ, — словом, пока прокурор читал обвинительное заключение, а Гырат в качестве вещественного доказательства стоял у чайханы, отмахиваясь хвостом от мух, Усманов вдруг вскочил на него, гикнул и, прежде чем мы успели опомниться, скрылся вдали.

Дело приняло серьезный оборот: за побег с реввоен трибунала Усманову грозила суровая кара. Поиски ни к чему не привели. В штабе полка сложилось мнение — ушел к басмачам. В этом не

было бы ничего удивительного: в те времена случалось, что человек, даже яростно рубившийся с басмачами, сам оказывался скрытым басмачом, принадлежащим к другой группировке, враждующей с первой. И все же нам, знавшим ближе Усманова, как-то не верилось. Мы в душе посмеивались над командиром эскадрона, который, и сам в это не веря, на допросе пленных для порядка спрашивал их об Усманове.

Так продолжалось до тех пор, пока наш командир скорее в шутку, чем всерьез, не задал одному захваченному в стычке басмачу излюбленного вопроса самого Усманова — вопроса о Гырате.

Неожиданно басмач ответил: по слухам, на Гырате ездит курбаши Палванкуль, главарь одной из небольших шаек, совершавшей набеги из глубины гор. Эта весть опечалила нас: было ясно, с Усмановым приключилась беда, скорее всего нет в живых, раз конь в чужих руках. Чего греха таить, жалея Усманова, мы не раз помянули недобрым словом командира, из-за неуступчивости которого разгорелся сыр-бор.

Прошел месяц. И в один августовский день все завершилось, как в эпосе. Дело было ночью, я проснулся от конского ржания и того характерного гула, за которым угадываешь слитное дыхание множества лошадей. Выбежав из казармы, увидел в призрачном свете лупы табун коней. Наш командир стоял на крыльце, а перед ним... перед ним навьятяжку... Усманов! Поблескивая белыми зубами, докладывал командиру:

— ... у них больше ста сабель, но не осталось ни одного коня!

То, что сделал Усманов, было и впрямь удивительным. Ускакав в то памятное утро с суда, решил угнать у басмачей табун и привести на суд вместо Гырата. Пристал к басмачам, чтобы завоевать доверие, подарил Гырата главарю шайки. Когда басмачи привыкли к Усманову, вызвался однажды пасти лошадей и той же ночью угнал весь табун вместе с Гыратом.

Остается сказать тебе, что спустя полчаса после прибытия табуна горнист проиграл боевую тревогу. Усманов повел эскадрон в горы. Шайка Палванкуля была разбита в ожесточенном коротком бою. И разбежавшиеся басмачи потом переловлены поодиночке. Остается сказать еще, что через несколько дней Усманова опять судил реввоен трибунал. «Принимая во внимание смягчающие обстоятельства», трибунал ограничился двадцатью сутками гауптвахты. А когда Усманов с гауптвахты вышел, командир выстроил батальон, объявил Усманову от имени командования благодарность и вручил именные золотые часы.

Смерть птицы

Было это тут же, в Андижане, в том же двадцать третьем. Шел я мимо ряда чайхан, возле одной увидел толпу. Протискался. На помосте чайханы густо сидели люди в халатах, чалмах, тюбетейках. По обрывкам узбекских слов, которые тогда уже знал, понял: только что кончился бой перепелов. Страсти еще не улеглись.

Как всегда, на помосте сидели две партии — друг против друга. Каждая ставила деньги на своего перепела. В клетке шевелился перепел-победитель. Во главе проигравшей партии сидел старик с реденькой бородкой, в железных очках и чалме, судя по общему уважению, опытный биданабоз, специалист по перепелиным боям. Во главе выигравшей — сравнительно молодой узбек (а может, таджик), красивый, хотя и рябой, со сросшимися бровями, из-под которых насмешливо посверкивали глаза. Он подшучивал над проигравшими. Я не настолько знал язык, чтобы понимать его остроты.

Вдруг к старику подошел какой-то ремесленник: лоб повязан платком, на плечах простой халат. Вынул из своего рукава перепела, молча протянул старику. Тот не спеша взял птицу за ножки, не говоря ни слова, стал разглядывать. Рябой биданабоз искося взглянул и лениво усмехнулся: перепел выглядел жалким, тщедушным.

Обычно в клетке перепел втягивает голову, свешивает хвост и делается похожим на шар, при каждом шаге словно бы кивает, кажется толстым, важным. Но когда его извлекают из рукава, со слипшимися перьями, и он испуганно вертит головой, обнажая ржаво-бурое горлышко, перепел выглядит маленьким и несчастным. Поэтому я был удивлен, когда, протянув птицу обратно, старик сказал ремесленнику:

— Твоему перепелу цены нет! Всех побьет. Его надо подержать в темноте еще дня четыре. Да кормить...

Он сказал чем, но я не понял. Тут рябой биданабоз пошел в атаку, он направлял уколы своих острот не на старика — на перепела! — хотя косвенно слова его относились и к старику сопернику. «Ежели волк не сожрет, коза до Мекки дойдет!» — образец его насмешливого красноречия. Он всячески раззадоривал старика, пока тот опять не протянул руку к ремесленнику и взял перепела. Рябой поблескивал глазами, а старик испытующим оком разглядывал и разглядывал птицу, дул в маховые перья и под брюшко, провел пальцем по серому роговому клюву, потом поднял голову и сказал: — Собирайте! —

Это значило: готов сейчас же этого перепела выпустить в бой и отвечать за него всем своим авторитетом.

Пронесся говор. Рябой биданабоз тоже взял перепела, мельком оглядел, вернул старику и развязал пояс. Вытащив из него пачку бумажных червонцев, небрежным жестом положил на помост. Тотчас же со всех сторон к нему потянулись руки с деньгами. По количеству рук понял: его перепел — знаменитый боец, имеющий прочную славу победителя многих поединков. Тщательно пересчитав деньги, рябой объявил ставку, не помню цифру, помню: ее размер всех поразил.

Старик повернулся к ремесленнику — хозяину перепела, спросил, сколько поставит тот. Ремесленник смущенно выложил пять измятых рублевых бумажек. Старик с сожалением, почти с укоризной сказал:

— Вырастил такого бойца, а денег нет... Жаль!

И повернулся к людям. Кое-кто начал класть перед ним по одной, по две бумажки: видно было, в авторитет старика верят, но слава того перепела заставляла людей опасаться делать крупные ставки. В результате кучка денег перед стариком оказалась ничтожно мала по сравнению с тем, сколько собрали противники. Бою явно не суждено было состояться.

Вот тут-то старик всех удивил, извлек из своего шелкового пояса солидную стопку денег, подсчитал, положил на помост, развернул пояс еще на один оборот, вынул какие-то бумаги — оказалось, документы на владение домом и садом. Над толпой пронесся вздох изумления, из соседних чайхан повалил народ. Наконец оба биданабоза особым движением подбросили перепелов друг на друга. И возгорелся бой.

Толпа, тесно сгрудившись, не дышала: на карту была поставлена жизнь и судьба старика. Даже перешептываться опасались, чтобы не потревожить дерущихся птиц. Взъерошенные, остервенелые, с глазами, от ярости ставшими буро-красными, перепела наскакивали один на другого, норовя клювом угодить в голову. Наскакивая, они чуть приоткрывали крылышки. Сразу стало видно: достойные соперники! На своих ножках с длинными пальцами, без шпорцев, они прыгали по войлоку, разостланному на помосте. Иногда, превращаясь в два осатанелых крутящихся шара, взлетали и опускались опять, не прерывая драки ни на секунду.

Вдруг старик протянул обе руки и, прикрыв голову своего перепела ладонью, взял его под брюшко и вывел из боя. Все оживились, громко заговорили, принялись за чаепитие. По условиям перепелиных боев каждый биданабоз, чтобы дать отдых птице, может ее взять, однако в течение всего боя имеет право

сделать это не больше трех раз.

Спустя несколько минут бой возобновился. Опять все сидели не дыша. Никакими словами не передать тебе степень напряжения этого боя. Скажу все же, очень скоро стало видно, что перепел рябого дрался с большей ловкостью, да и по силе явно превосходил.

Старик и рябой по очереди брали своих птиц, давали им короткий отдых. Причем последние два раза старик брал перепела, спасая его в опасный момент, рябой же брал перепела скорей из вежливости, чтобы все видели: уважает седины. Это увеличивало всеобщий азарт. Наконец перепел рябого изловчился и клюнул противника в глаз. Глаз сразу вытек. Перепел ремесленника не прекратил битвы, продолжал сражаться и с одним глазом. Видно было, с каждым мгновением слабел. Слабел, но сражался!

Все сидели бледные. Чаше и чаще перепел рябого нападал, а тот, второй, изворачивался. В следующую секунду перепел ремесленника сам нападал, но тут же получал отпор клювом в голову. Удары в голову становились все страшней. И хоть каждый удар был бесшумным, он звучал, как барабан, исторгая из сотен глоток клокочущий вздох.

Вдруг перепел ремесленника упал. Все на помосте вскочили, чтоб лучше видеть. Перепел вновь встал на ножки, стремительно бросился на противника, не долетев до него, опять упал. Голова его откинулась, в клюве показалась капля крови.

Не вздох, а стон прокатился по чайхане. Все не двигались с места. В наступившей тишине увидел: рябой биданабоз протянул руку к кучке денег, лежавшей перед ним, и подвинул ее старику. Жест великодушия, он показался мне фальшивым.

Но старик как ни в чем не бывало вынул из кучки червонец, подозвал чайханщика.

— Возьми... — протянул червонец. — Выкопай могилу и похорони с честью!

Чайханщик бережно поднял с помоста мертвую птицу и унес. А старик стал выдавать выигрыши (выигрыши?!) каждому из своей партии. Под конец повернулся к ремесленнику, стоявшему позади, протянул и ему скромный выигрыш — десять рублей.

— А за то, что вырастил такого перепела... — И добавил ему еще двадцать пять рублей из объемистой кучи денег, оставшейся перед ним.

Совершенно сбитый с толку, я спросил какого-то узбека: в чем дело? Тот объяснил: оказывается, есть старинный обычай — если побежденный перепел не бежал с поля битвы, а погиб наступая, победителем считается он. Это бывает исключительно

редко. Перепел ремесленника умер, выиграв бой.

Удивительный обычай. Как правило, в нынешних играх и состязаниях, да и в средневековых рыцарских поединках победителем считается тот, кто физически победил. Только в любви побеждает сердце, а не сила, и то, как тебе известно, далеко не всегда. Жизнь слишком рано заставляет нас ценить силу, а потом и связанные с нею власть, деньги, удобства, но вместе с ними из сердца человека часто уходит то, что единственно в состоянии сделать его счастливым: близость с правдой, когда победитель — тот, кто не бежал с поля боя. Великий инстинкт природы — весеннюю битву самцов — люди сумели превратить в зрелище, но присуждают победу здесь, в Средней Азии, так, как будто победители не перепела, а люди, и не просто люди, а самые лучшие из них.

20 апреля. Наманган

Сегодня остро пожалел, что нет рядом здесь Арсения Тарковского — поразмышлять вместе о судьбах искусства. Музыка и стихи: вот жердочка, по которой мы ходим друг к другу. Видишь ли, мне очень хотелось из Андижана съездить поглядеть знаменитую араванскую пещеру, испещренную рисунками первобытных людей. Однако, чтобы добраться до Аравана, а оттуда в пещеру, пришлось бы потратить дня два: их у меня не было. Вздохнул и поехал в Наманган.

Что же касается размышлений о судьбах искусства в связи с рисунками первобытных людей, — не Арсению, так тебе расскажу о недавней поездке из Баку в Кобестан.

Представь себе: у подножия горы и на склоне тысячи скал, иссеченных ветрами и солнцем, меж скал кое-где цветет дикая вишня, тянутся из тени на свет кривые стволы инжира, вдали темнеет Каспийское море, а на скалах кремневыми скребками выбиты рисунки: начиная от мезолита, кончая периодом бронзы.

Вряд ли где-нибудь еще найдешь столь комфортабельное, с точки зрения пещерного человека, естественное поселение с великолепными укрытиями от врагов, непогоды и хищных зверей, с просматриваемой отсюда до самого моря степью, с дивным, будто специально созданным природой, охотничьим угодьем: на макушке горы — плато, по краям — отвесные скалы: загони по единственному пологому склону на это плато диких коз, оленей либо коней, гони к краю, и они, деваться некуда, сорвутся с высоты, разобьются — подбирай мясо!

Впрочем, у людей, живших тут не одно тысячелетие, было и другое средство настичь и одолеть зверя: рисунки! Да, да, эти самые рисунки на камне. Смешная (и, увы, вечная, несмотря на наивность) вера людей в прямое практическое воздействие искусства: нарисуй быка — и убьешь! Ну и рисовали быков, коз, диких ослов, птиц. Есть и рисунки специально испорченные — козам отрезан зад. Этот магический способ, как виднее, должен был действовать вроде разрывного снаряда — убивать наповал.

Излазил лишь малую толику скал, но рисунков увидел неисчислимо. И знаешь, что тогда заставило меня сперва хмыкнуть, потом засмеяться. Выполнены почти все рисунки со знанием дела, однако имеют вполне конкретную цель. Изображены, к примеру, женщины с невероятной величины бедрами и грудями, цель ясна: чтобы жена родила, вскормила, продолжила род. Тебе бы понравились, красиво выглядят на скалах «ладьи солнца» — первобытные божества, но и их рисовали, обращаясь за помощью к божеству, правда, в важных случаях жизни, и это придает им некоторое величие.

Любопытная подробность: последние (по времени) рисунки примитивны, будто сделаны наспех. Вера в практическое действие искусства, как видно, была поколеблена, рисовали скорей по традиции, чем по нужде: не рисунки — знаки бывших рисунков! Мне почудилась своего рода канцелярская отписка: «Тебе, дураку, потребен рисунок — на! И катись! А не убьешь козу — сам будешь виноват!» И вдруг... Ахнул! Вся ирония слетела с меня. Передо мной на скале...

Идут три быка один за другим, передний наклонился, пьет

воду. Никакой практической цели (это ясно), рисунок выполнен из чисто художнической потребности. Глянул влево: та же рука — косяк кобылиц в движении, в живом повороте, и отдельно в стороне (как и положено) жеребец. Какая прелесть! Вот бы тебе показать! Ты восхищаться умеешь! Стал обходить скалу. Ура! Еще!.. Две девушки тоненькие-тоненькие в каком-то несомненно модном первобытном наряде. И рядом... недоконченный (у меня сердце упало) рисунок: немое свидетельство трагической судьбы художника.

Для удовольствия рисовать?! Как можно позволить! Неизвестно еще, что может из этого выйти! Чего доброго, навлечет гнев злых духов! На себя! И на всех! Нет, не глупец! Злоумышленник! Рисунки «для дела»! Для «мяса»! Рассуждение фанатиков всех времен. Еще Дидро писал: «Уверен, что когда Полигнот с острова Фазоса и афинянин Мирон, отказавшись от одноцветной живописи, попробовали писать четырьмя красками, современные им почитатели искусства сочли эти попытки вольнодумством». Что сделали кобестанцы со своим художником? Убили? Или, что было хуже по тем временам, изгнали из племени? Одинокий, беззащитный, он стал бы легкой добычей хищных зверей. (Видел нарисованного льва на скале!)

...Въехали в Наманган и сразу попали на улицу неописуемой красоты. Деревья полуторного роста по сравнению с другими городами. Был раньше обычай: рождался сын — отец сажал двадцать деревьев: когда сын вырастет, построит себе из них дом... Приходили сваты от жениха, родители невесты спрашивали: «Сколько деревьев вырастил жених?» Если не выращивал, негодный, ледащий жених...

Заглянул в «чайхану стариков». Над каналом такой ширины, что не перепрыгнешь, у самой воды — длинный помост, накрытый коврами. Чайханщик подал чайник чаю, крепко заваренного. Я налил чай в пиалу и вспомнил случай, когда-то его рассказал мне Ганиев.

Горсть серебра

Было это тут, в Намангане. Чайханы в ту пору были частными. Как-то раз забрел Наби Ганиев в чайхану, сидел, пил чай.

— Вижу, заходит узбек, молодой, красивый, в новенькой чустской тюбетейке. Блеснул глазами в сторону самовара, там застыл старик чайханщик. «Бирта чой!» («Один чай!») Старик повел глазом. Мальчишка проворно бросил в чайник щепотку заварки, налил кипяток из самовара, схватил пиалу и поставил перед пришедшим.

Как и положено, тот «пролил» чайник (несколько раз налили в пиалу и обратно, чтоб лучше настоялся). Держа ладонь на крышке, неторопливо оглядел сидящих в чайхане, явно предвкушая удовольствие от чая, налил в пиалу, поднес к губам, глянул, не отхлебнул ни глотка, поставил пиалу, вынул из кошелька горсть серебряных монет, бросил их прямо в чай и молча ушел.

Видели бы вы, что началось! Старик подскочил, будто его укололи шилом снизу, и с проклятиями бросился на мальчишку. Тот завопил, метнулся из-под его рук, кинулся наутек. Подобрал полы халата, чайханщик помчался за ним, оба исчезли за углом. Тогда посетители чайханы поднялись и степенно покинули чайхану. Выйдя следом, я спросил одного, в чем дело, он ответил:

«Деньги берут за лисий мех, а не за лисью нору. Ты, я слышу по выговору, — ташкентец. Вы, ташкентцы, забыли обычаи. Есть старый обычай... Если чайханщик нальет жидкий чай, каждый может бросить в пиалу горсть серебра. Это значит: тебе нужны деньги? Вот тебе деньги! И чайханщик опозорен на всю жизнь. Закрывай чайхану и занимайся другим делом. Никто не придет!»

Так на моих глазах повернулась судьба старика, рухнуло дело его жизни. И поделом! Имел право зарабатывать деньги на чем угодно, только не на чае. Не вам говорить, что для нас, для узбеков, чай. Сколько раз в жизни потом хотелось мне бросить горсть серебра равнодушным чиновникам, плохим поварам, бессердечным писателям. Если бы можно было этим способом их опозорить: «Тебе нужны деньги? Вот тебе деньги!», и после этого никто бы не подавал им руки.

Чай в Средней Азии, надо сказать тебе, не прихоть, не просто «утренний» или «послеполуденный» чай. Чай нужен здесь людям как воздух: без него человеку «нечем дышать». Чай возвращает организму влагу, которая необходима, чтобы человек мог работать, перенося любую жару. Ташкентский физиолог, ныне

президент Узбекской академии наук, профессор А. Садыков написал в свое время научную работу о водно-солевом обмене, необходимом для человеческого организма в условиях Средней Азии. Из этой работы явствует: человеку здесь надо потеть, иначе он завянет, как дерево. Вот почему на каждом сельском и городском перекрестке — одна, а то и две чайханы, вот почему безостановочно кипят самовары вдоль трассы любого строящегося канала, вот почему можно увидеть даже милиционера, чаевничающего на посту.

Чайхана издревле была народным клубом и гостиницей. Чайханщик и теперь за плату предоставляет делающим плов очаг, казан, ножи и другую посуду.

Плов в мужской компании — старая традиция. Настоящий плов только в чайхане, из дому не полагается приносить ничего, чтобы даже следа «женской экономии» не чувствовалось в плове. Все покупается в складчину на базаре — рис, баранина, масло, морковь, лук, специи и вязанка дров. Такую вязанку дров на один плов можно и сейчас купить на любом базаре Узбекистана.

Кстати, о луке: знаешь ли ты, что тут издревле укоренилось мнение, будто сердцевинка луковки (матовая) вредна, вызывает тяжелые болезни, сердцевинку привычным жестом вырезают и выбрасывают. Научись! Как-никак народы Средней Азии имеют дело с луком три тысячи лет.

Но вернусь к деревьям. Сидел в наманганской чайхане. С деревьев стекали запахи разогретой солнцем листвы. Навстречу от земли поднимались прохладные ароматы цветов и арычной воды, не мог оторвать глаз от игры света и тени.

Тень! Рассказывают: в 1942 году, в разгар эвакуации, в городе Красноводске скопились десятки тысяч беженцев. Знаю Красноводск, в то время там почти не было деревьев. Беженцы, ожидая поездов на восток, сидели, сгрудившись, со своими детьми и вещами в тени низеньких домиков. Но тысячи людей не могли найти тени, им негде было укрыться от лучей солнца. Нашлись предприимчивые дельцы, которые стали тень продавать: раскрыли зонтики, некоторые попросту натянули на колышки парусину и брали плату с тех, кто хотел посидеть в тени. За тень собирали горсти серебра, Пусть презрение потомков навсегда почует на них.

21 апреля. Наманган

Сейчас напишу тебе, а днем распрощаюсь на неделю с Арипом: он опустит мое письмо в Ташкенте — быстрее к тебе долетит. Я на попутном самосвале покачу по Великому Киргизскому тракту в сердце Тянь-Шаня, гляну одним глазом на

Токтогульскую плотину. А там и через Тянь-Шань переберусь!

Вот какой вопрос хочу тебе задать: «Существует ли у тебя на земле уголок, один-единственный — вспомнишь, и из груди вылетает счастливый вздох! — словом, тот уголок, о котором человек говорит: «Хотел бы я под старость там поселиться и там умереть»? Таким заветным уголком земли уже много лет стали для меня дикие ореховые и фруктовые леса южной Киргизии.

Поедешь направо, голову потеряешь (от красоты), налево — кроме головы, потеряешь машину (это вместо коня). Не поеду нынче ни направо от Великого Киргизского тракта — через Базаркурган в орехово-фруктовые леса Арсланбоба, ни налево — через Караван на озеро Сары-Челек, которое может разве только присниться: не поеду, потому что не сезон — дорога завалена снегами и впрямь погубишь машину. Да и при всей дикой красоте, лучшее время года начнется там недели через три, когда горы запестреют цветами. Но не рассказать тебе об Арсланбобе и Сары-Челеке значило бы тебя обделить.

Впервые Арсланбоб я посетил в 1937 году. Вдвоем с Алагушем Чалом, местным охотником, ездили мы по ореховым лесам, охотились на уларов — горных индеек, жарили их на вертелах, расположившись у опушки яблоневого леса. Видели ошетилившихся дикобразов — они трясли хвостами, угрожающе били задними лапами о землю и уходили от нас в заросли дикой сливы — алычи. Это была жизнь в лесу чудес — великолепном лесу, где яблоки, груши и сливы сами в рот глядят, где ветер-волшебник, пройдясь по деревьям, вызывает ореховый дождь, где птицы яркие, и звери доверчивы, и на муравейниках видны отпечатки медвежьих лап.

Второй раз побывал в Арсланбобе в 1956 году вдвоем с Алексеем Козловским. Увидели тогда восьмидесятиметровый Большой водопад, обрывающийся с голых скал под семизубцем вершины Баубаш-ата, белоснежным, словно парящим в воздухе над склонами гор, покрытыми бархатистой зеленью ореховых лесов. Увидели и Малый водопад, к которому издревле стекались паломники.

И впрямь чудо! Несколькими струями с двадцатиметровой высоты обрывается он в узкую полукруглую расселину, где на поросших мхом отвесных скалах висят кустарники. Открытой стороной расселина обращена к солнцу под таким углом и столько в воздухе водяной пыли, что большую часть дня, упираясь обоими концами в воду, тут стоит яркая, совершенно правильная радуга. Купаться под ней наслаждение! Вбегаешь по скользкой скале под самую радугу, почти задевая ее головой, съезживаешься под ударами водяных струй, таких ледяных, что под ними и

выстоять-то можно мгновение, выбежишь, чуть отдышишься и бросаешься под радугу вновь.

Когда последний раз посетил Арсланбоб, напрасно искал я глазами в ореховых лесах возле ручьев енотов-полоскунов. Правда, один рабочий орехолесхоза сказал, что видел какого-то зверька с темными кольцами на хвосте и «рисованной» полумаской на глазах. Видно, полоскуны, хоть и редко, тут все же встречались.

Расскажу тебе, почему их искал: романтическая история, знаю ее с чужих слов, поэтому не могу поклясться, что все подробности — чистая правда. Однако поделились ею со мной по свежим следам, и это, несмотря на ее необычность, в известной мере ручательство подлинности.

Звери «того, кто ходит ночью»

Было это году что-нибудь в тридцать шестом. В ташкентском цирке гастролировал американский клоун с группой дрессированных енотов-полоскунов. На манеже около вигвама горел костерок. Помешивая искусственные угли, клоун играл на индейской дудке. Из вигвама появлялись полоскуны — американские зверьки, похожие и на медведей и на барсуков. Есть в них и что-то человеческое. Они вытаскивали воду из колодца (похожий номер видел потом в театре Дурова), выливали ее в корыто, стирали и полоскали белье, развешивали сушить. Лесная идиллия завершалась дружеским ужином, в котором принимали участие клоун и полоскуны.

В разгар сезона у клоуна — человека немолодого и потрепанного жизнью — случился инфаркт. И он, окруженный врачами и сестрами в своем маленьком цирковом вагончике, оклеенном афишами (перевозить в больницу оказалось поздно), потребовал нотариуса. Его история вырисовалась из завещания и из рассказов циркового врача, который подружился с клоуном в последние его дни.

Клоун (тогда еще он не был клоуном) жил в Нью-Йорке, пробовал свои силы в журналистике и любил одну женщину. Он был счастлив, больше, чем счастлив, пока однажды не наткнулся на ложь. Уличенная во лжи, она искала примирения, но сознаваться не желала ни в чем, а он требовал правды, только правды, готовый все простить, все позабыть. Правды не добился, примириться с ложью значило растоптать свою любовь, этого он не мог.

История банальная: одни мужчины в таких случаях в порыве отчаяния кончают самоубийством, другие льют слезы, пока не утешатся, третьи, чтобы быстрее вырвать из себя чувство опустошенности и тоски, пускаются во все тяжкие, выбивают клин клином, заводят сомнительные романы.

Герой этой истории сделал то, на что до него не решался никто. Испытав на себе всю удушающую силу лжи, он не захотел больше жить в том мире, где ему самому приходилось лгать людям даже по роду профессии, и бежал от лжи, из Манхэттена к индейским племенам, в резервацию, решил жить с ними, их жизнью, потому что у них были правда и благородство.

Несколько лет провел он среди индейцев. Всякое несчастье было общим несчастьем, и удача — общей удачей, и он носил индейское имя Уа-Ша-Куон-Азин, что значит «Тот, кто ходит ночью». Он ходил ночью, потому что его мучила тоска: не только

по женщине, но и по шумным городам. И однажды совет вождей решил, что белый человек должен вернуться к своим. На прощание индейцы подарили ему ручных енотов-полоскунов — «младших братьев», которых он сам выкормил и научил разным фокусам.

Покидая лесную долину, предоставившую ему приют в трудный час жизни, «Тот, кто ходит ночью» дал своим братьям-индейцам священную клятву, умирая — где бы ни был, — выпустить «младших братьев» на волю в леса. И вот он умирал вдали от родной земли, не успев выполнить клятву, и в завещании просил сделать это советских людей: выпустить енотов-полоскунов в подходящие леса.

Когда его похоронили, столкнулись две точки зрения. Одни говорили, что выбрасывать (по сути дела, в мусорную корзину) превосходный цирковой номер бессмысленно, нужно, наоборот, поручить одному из молодых дрессировщиков, как в эстафете, «перехватить» номер, сохранить.

— Да и кроме того, — говорили они, — ручные еноты погибнут в лесу! Ведь они не привыкли к жизни в диких условиях! Не умеют добывать себе пищу! Не скрываются от опасностей!

Другие, поскольку дело касалось иностранного подданного, боясь, как бы за границей не было нежелательных откликов, настаивали, чтобы завещание было выполнено буквально: енотов следует выпустить в лес, а там что будет с ними, то будет... Как возобладала их точка зрения, не знаю, факт, что победила она. Зверьков, помещенных на время в ташкентский зоосад, поручили выпустить в леса трем практиковавшим там студентам-зоологам.

К счастью, у студентов оказалась собственная точка зрения. На них произвела впечатление история клоуна, рассказанная врачом, к зверям отнеслись как к сиротам. А главное, поставили перед собой увлекательный научный эксперимент. Диких зверей люди приручали не раз, но интересно попытаться возродить в ручных зверях дикие инстинкты, научить их добывать себе пищу. Решено было выпустить енотов-полоскунов в реликтовые леса Арсланбоба.

Трое студентов — два парня и девушка — привезли выюком на лошадях ящики-клетки с полоскунами в глубь ореховых лесов, к ручью. Еще в клетках, когда вокруг запахло прелыми листьями и валежником, полоскуны пришли в необыкновенное возбуждение, а когда их выпустили, разбежались, скрывшись в кустах и на поляне, где в высокой траве цвели белые мальвы, под стать садовым по величине. Не успели студенты натянуть палатку и зажечь костер, как среди трав и кустов одна за другой стали

появляться рисованные полумаски. Звери подходили, и, как в цирке, вставши на задние лапки, просили есть, с едой отбегали к ручью, прилежно перетирали ее в воде и только после съедали. Насытись, они опять скрылись в лесу.

Три недели прожили студенты в Арсланбобе, всем семерым полоскунам сделали удобные гнезда в дуплах деревьев, убедились, что те в них поселились, приучили к здешней еде. Наступил день отъезда. Помахав зверям на прощание, студенты стали удаляться верхом от полянки, где был разбит лагерь. Неожиданно из-за кустов и деревьев появились полоскуны и дружно двинулись по тропе за студентами: они не желали расставаться с людьми.

Студенты растерянно остановились, закричали на енотов, слезли с лошадей, начали швырять сухими ветками. Звери разбежались. Едва студенты тронулись в путь, еноты вновь вышли на тропку, опять побежали следом. Стало ясно: уезжать нельзя, надо сперва зверей совершенно отучить от людей, сделать осторожными, возродить в них инстинкт самосохранения.

Студенты вернулись, разбили лагерь на новом месте, в стороне от «енотовой поляны» и дали друг другу слово не подкармливать зверей, не подпускать к себе, выбить из сердец жалость: единственный способ сохранить енотам жизнь! Сперва зверьки, увертываясь от палок, взбирались на деревья, с удивлением взирая на своих друзей, которые почему-то сделались злыми, порывались подойти, приласкаться, их неизменно встречали окрик, гиканье, свист.

Однажды Зоя, девушка-студентка, подсмотрела, как ее любимец, полоскун Чилеви, стирал в ручье ее носовой платок, оброненный накануне, не выдержала, с плачем бросилась к зверю, обняла, принесла на руках в палатку, накормила. За этим ее и застали товарищи, вернувшиеся из- леса. Разразился скандал, студенты возмутились: жалость наоборот! Эта жалость убьет зверя! Енота прогнали обратно в лес, и Зою отстранили от «охоты». А охота была своеобразная: один выполнял роль загонщика, пугая енотов, второй стрелял холостыми зарядами в воздух, чтобы звук выстрела совпадал с комком глины или веткой, летевшими в зверька.

Когда напасть на след енота-полоскуна и отыскать его сделалось по-настоящему трудно, студенты вновь навьючили лошадей, отъехали на некоторое расстояние, вдруг со стороны «енотовой поляны» — выстрел! Вскатьч вернулись и увидели убитого Чилеви. Студенты погнались за браконьером, а Зоя осталась возле мертвого енота. Она была потрясена: из-за нее убили доверчивого зверя, из-за ее жалости! Наверное, зверь сам

побежал навстречу смерти...

Браконьера студенты не догнали, вернулись с киргизом-лесничим, рассказали ему историю енотов и поручили их охранять.

Спустя год звероводы переселили из лесов Теберды в Арсланбоб большую группу енотов-полоскунов. У ручных появились дикие собратья. Как раз их потомков тщетно искал я глазами. Впрочем, увидеть зверей в Арсланбобе уже в те времена стало трудно, а сейчас и вовсе невозможно — так мало осталось!

Зверь или человек?

«Сколько живут мыши?» — спросили у Ходжи Насреддина. «Это зависит от кошек», — ответил Ходжа Насреддин. От нас, от людей, зависит, сколько жить зверям и птицам. «Меня укусила собака, как бы ей отомстить?» — спросили Ходжу Насреддина. «Очень просто! Иди и укуси ее!» — ответил Насреддин. Не в бровь, а в глаз многим. Ставя себя на одну доску с животными, при встрече с ними срывая из-за плеч ружье или выхватывая нож, люди и не догадываются, что они еще не люди. Человек становится человеком, когда начинает заботиться о живой природе и берет животных под свое высокое покровительство.

«О, сад, сад!.. Сад, сад, где взгляд зверя значит больше, чем груды прочтённых книг...» Это хлебниковское всегда во мне... Ты знаешь, не люблю зоопарки, и все же, влекомый притягательной силой, нет-нет, пойду: бывают мгновения, когда необходимо взглянуть на себя чистыми глазами зверей. И каждый раз это не удается мне.

Иду... Но почти сразу ожесточаюсь. Перед мысленным взором возникает ужасная картина, много лет назад нарисовал ее себе (нарисовал — значит, увидел) в Ленинградском зоосаде на Кронверкском. И уже ни о чем другом думать не могу.

В клетках не звери, а люди. Мимо движется толпа зверей: чтобы развлечься, они на все звериные и птичьи лады верещат, гогочут, рычат, запугивают людей, забившихся в углы клеток. Некоторые в придачу сквозь железные прутья суют лапы с когтями. Мной овладевает ужас, и хоть понимаю, что это звериный страх, доставшийся мне в наследство от пращуров, совладать с ним не могу.

Страх — с одной стороны, с другой — охотничья страсть. По себе знаю: охотничья страсть — одна из самых сильных страстей, какие знает мужская половина человечества, она звериное наше наследство. Мужчина чувствует себя мужчиной, убив оленя. В русском языке само слово «охота» происходит от слова «хотеть». Выследить, подстеречь, преследовать зверя — наслаждение.

Выезжаешь верхом задолго до зари. Ущелья гор затянуты предрассветной дымкой, на траве роса. Слышно только, как у коня селезенка играет: «ух-туп, ух-туп...» Да когда въезжаешь на узкий карниз, звучат стремена, ударяясь о камни. Среди скал находишь укромное место, оставляешь там выюк и лошадь. Сжав в руке ружье, углубляешься в туман по тропке, едва угадываемой меж камней.

Ухо, глаз, каждый нерв напряжены до отказа. Всей кожей

впитываешь в себя звуки. В тишине гор слышно все. Камень сорвался из-под ноги, и там, внизу, вдруг вспорхнула испуганная камнем птица — может, кеклик, каменная куропатка? Стоишь, не дышишь, стараешься уловить ухом, куда перелетела.

Утренний туман отнесло в сторону, встает солнце, по ущельям начинают бежать черные тени. Послышался тонкий металлический звук, будто кто водит тупым напильником по железу: на заре таким криком приветствует солнце горная индейка улар. Но если этот звук послышится днем — вблизи бродит барс или человек. Солнце начинает постепенно согревать камни. Скрываясь за скалами, крадешься к стайке уларов.

В зеленой раме пастбищ перед тобой возникает прозрачное видение ледяной вершины» В стороне висит недвижная туча, зацепилась за скалы и застряла, а в долине блестит озерко, будто кто под гору положил овальное зеркальце. До того хорошо, стрелять не хочется, но самолюбие — не возвращаться же без трофея! — заставляет вскинуть ружье на кеклика, показавшегося из-за скалы. Выстрел как гром взрывает красоту утра.

Так кто же я, зверь или человек? И когда человек, а когда зверь? После каждого удачного выстрела стыд, смешанный с отвращением к себе, всегда жег сердце, под какой бы наигранной бравадой ни скрывался. Признания многих знакомых охотников заставляют думать, что стыд и в них шевелится. А еще хуже, когда неотвязным видением преследует тебя, всюду мерещится подранок, убежавший в кусты. Обреченный! От когтя птицы или лапы зверя из-за тебя ему теперь не уйти! А ведь есть и такие, кто, убивая, не знает стыда, которым жалость неведома. Рассказывал ли тебе историю с зайцем?

Был у меня знакомый — Петр Ильич Яковлев. Охотник, надежный товарищ, родом с Рязанщины, из деревни Бортниково, что на берегу Оки, Несколько лет подряд до войны мы, я и Леня Соловьев, ездили с ним из Москвы в его родные места на охоту, на весенний и осенний пролеты. За костром охотничьи истории. Однажды Петр Ильич и Расскажи:

— Иду раз зимой... Мороз градусов сорок... Иду из Тайдакова полем. Ветер, слезы замерзают на глазах. Плунешь — слюна на лету делается ледяшкой... Гляжу, у овражка в снежной яме зайчишка, заледенел, замерз, двинуться с места не может. Жалко мне его стало, взял за уши, приволок в избу. Стал заяц отогреваться, как заверещит. От тепла, значит: внутри все ломит, болит. Верещал, верещал, к утру согрелся, примолк. Жалко мне его стало, дал морквы, капусты дал. Поел зайчишка, повеселел. Наутро я его за уши да на крыльцо. Почуял свободу, ка-ак драпанет от меня...

— Убежал? — спросил я. Петр Ильич усмехнулся:

— От меня убежишь! — сделал жест, показал, как прицелился из ружья. — Раз! Готов!

Нынче, спустя четверть века, после того как бросил свой пятизарядный браунинг шестнадцатого калибра, я могу говорить о себе как о постороннем. Жалость не раз пронзала мне сердце, но самолюбие не позволяло в этом признаться, а охотничья страсть, едва приближалось «открытие охоты», вновь и вновь заставляла набивать патроны, чистить ружье. Однако все чаще, спрятавшись в охотничьем шалаше, не стрелял, провожал птицу или зверя глазами: «Лети, дружок, никому больше не попадайся на мушку!» Пришел день, когда отложил ружье навсегда, человек одолел во мне зверя. Если эдак было со мной, почему не предполагать, что и с другими случается то же. Пришвин (уж на что был охотник!) и то признался в одном из рассказов: не всегда стрелял, не в состоянии был убивать, уничтожать красоту.

Мне думается, пробил час именно в это русло направить охотничью страсть: к красоте. Слиться с природой, раствориться в ней, подстеречь зверя, как на настоящей охоте, а после «выстрела» расстаться со зверем друзьями, вернуться с неомраченным сердцем, принести домой редкий фотоснимок: это ли не настоящее счастье?! Все больше охотников в нашей стране меняют двустволки на фоторужья. В Ленинграде создан даже клуб фотоохотников, большая часть членов которого — бывшие охотники-любители.

В начале пятидесятых годов из уст академика Дмитрия Ивановича Щербакова, главы советской школы геологов, впервые услышал: «Весь мир объехал, где только не бывал! А такой красоты, как Сары-Челек, нигде не видывал!..» После этого мне удалось дважды съездить в Сары-Челекский заповедник, написал о своих впечатлениях в двух разных книгах, и каждый раз испытывал недовольство собой: насколько на самом деле все ярче! Значит, что-то зрением — подсознанием ухватил, но не разглядел так, чтобы понять и описать. Что-то главное, загадочное. Что?! Мечтал: поеду в третий раз, непременно проживу хоть несколько дней среди этой красоты, разгляжу, разгадаю.

И вот в 1974 году, собирая материалы для книги «Огненный меч, или Путешествие к дереву жизни», опять поехал туда. Дорога вьется вдоль бурной Ходжи-Ата. Справа и слева — только успевай вертеть головой! — гряды скал, похожих то на крепости, то на чудовищ и богатырей, сцепившихся в жаркой схватке. И наконец подкатил к райским вратам. Не шучу: древнеиранские географы писали, что райские кущи, из которых изгнали Адама, находятся именно тут. Утверждаю и я: если есть рай на земле, то он здесь, именно здесь!

Вот как рай описан в Коране: четыре сада Ислама, предназначенные для блаженных, украшены деревьями, широкие ветви их, одетые темной листвой, дают густую тень, под ними непрерывно струятся потоки; разнообразнейшие плоды спускаются с деревьев так низко, что блаженные, покаясь на роскошных подушках, легко могут до них дотянуться рукой... В один из четырех садов Ислама попал и я, выехав верхом с лесником заповедника вверх по речке Таманьяк-сай в «зону покоя».

Склоненные ветви ореховых деревьев и яблонь, груш, абрикосов задерживали, отражали, дробили, преломляли солнечные лучи, испещряли ими стволы, землю, листву, ложились вокруг бесконечным разнообразием теней. Никогда не было так обострено мое зрение, обоняние, слух. Впервые заметил, что даже тени имеют цвета, красный цветок отбрасывал красную тень: кажется, луч солнца, вместе с ветерком тронув цветок, оторвал его частицу и распылил. Нежно переговаривались крошечные водопадики в Таманьяк-сае, блестели пронизанные солнцем капли, висящие на краю камней. Чем не земзем, райский ручей?

Прекрасны кущи Аркита, и все же святая святых — озеро

Сары-Челек. «В полноте счастья каждый день есть целая жизнь», — говорил Гёте. Прожил тогда на Сары-Челеке три жизни — три в полноте счастливейших дня. Забирался куда только мог, и все равно было мало.

Смотрел и смотрел до изнеможения — всякое сильное чувство в конце концов вызывает изнеможение. Когда видишь Сары-Челек... Но надо минуту постоять с закрытыми глазами: страшно — откроешь их, и вдруг окажется, что ничего нет, что вся красота эта — колдовство, что она причудилась, примерещилась.

Разве такое может быть на земле? Желтая чаша, на дне ее синяя вода, а по краям черные минареты. Желтая чаша скал таких крутых, что к озеру почти нигде не подступишься. Вокруг озера и в расселинах скал черными минаретами — пихты и ели. В маленьких нишах цветут орхидеи и папоротники, стелется мох. Стоит воде между двумя дуновениями горного ветра на мгновение разгладиться, и иссиня-темная зелень деревьев, золото трав и пестроцветье скал отражаются в прозрачной синеве, образуя причудливейшие узоры и смеси цветов.

Количество слов ограничено, количество оттенков бесконечно: сотни красок, рассеянные по всей вселенной, собраны здесь. Никакими словами не передать их еще и потому, что тут нет — и в этом чудо! — двух одинаковых мгновений, все, будто в легчайшем пламени, каждую минуту меняется. Отвернешься, глянешь назад: все другое — другой рисунок, краски, оттенки. Когда ж успело оно перемениться?! И почему не повторяется?! Как жалел я, что человеческий глаз в силах охватить только треть горизонта!

А как менялись краски и рисунки на воде! То мчались навстречу друг другу красные и золотые стрелы, то пролегла пепельно-синяя полоса между яркими голубой и зеленой, то в разных частях залива совершали хороводы спирали и пятна всех цветов и оттенков. Иногда налетал сильный порыв ветра, со скал вспархивали растрепанные птицы, залив на несколько минут превращался в раковину, край которой обрисован контуром белой у берега пены. Ветер утихал так же внезапно, как начинался, и опять возобновлялась игра бликов на воде, и рисунки их не повторялись как в калейдоскопе.

Порой для разнообразия снежная вершина Музтора выпихивала тучу, ленту тумана или облако. Выбросит густое облако, как бы окаймив его горячим стеклом, и все вокруг — вода, листва — сразу утрачивало блеск, дымка обволакивала Сары-Челек, птицы, застигнутые врасплох, умолкали, гасли отблески света в глубине озера, впрочем, без ущерба для прозрачности: все так же были видны на двадцатиметровой

глубине упавшие, затопленные стволы деревьев. Облако уносило, все снова начинало сиять и играть. Зачарованное место!

22 апреля. Каракуль

Токтогул! Его образ сопровождает меня со вчерашнего дня. Когда-то посчастливилось, был в гостях у него, разговаривал, слушал его песни и виртуозную игру на комузе. Но прежде чем об этом... Хочется рассказать тебе, как и почему вчера передо мной возник его образ.

Распрощавшись с Арипом, сел не на самосвал — на грузовую машину: везла какие-то прикрытые брезентом запасные механизмы для Токтогульской ГЭС. Сел в кабину шофера. Миновали Таш-Кумыр — город угольщиков. Дорога то извивалась, как серый аркан, брошенный среди гор, то словно закрученный рог барана, поднималась вверх, над ней сидели орлы, ссутулясь на скалах, через нее переползали тучи, а внизу бежал Нарын...

Впервые этим ущельем шел я в 1930 году. Тогда не шоссе, а выючная тропа здесь была, и на ней, не могу вспомнить о нем без содрогания, висячий мост через Нарын. Его связанные прутьями бревна к тому времени совершенно обветшали, сгнили и качались над бездной: не то что ступить — взглянуть на них было страшно. Киргизские женщины и старики, подойдя к мосту, читали молитвы и переползали его на четвереньках, но молодые джигиты умудрялись пройти, ведя в поводу лошадей. Говорят, бывали случаи, что лошади обрывались и разбивались о камни, их останки уволкивали бешеные воды реки.

Глупая юношеская гордость не позволила мне встать на четвереньки. Я перешел по этому мосту как, по моим тогдашним воззрениям, надлежало мужчине — во весь рост, но натерпелся столько страху, что потом, покидая долину Кетмень-Тюбе, двинулся другим, самым дальним, кружным путем через ледяные перевалы, лишь бы не очутиться вновь на этом мосту. Вот был мост так мост, есть что вспомнить!

«Стой, раб божий! Остановись! Живи! Не умирай!» Такой смысл вложил байский батрак Сатылган, давая своему сыну имя Токтогул. «Токто» по-киргизски значит «Стой! Остановись!», «гул» — «раб», подразумевалось — раб божий. Вся жизнь киргизского народа до революции была как висячий мост через Нарын, смерть подстерегала человека на каждом шагу. Как тут было не дать сыну имя, похожее на заклятие?! И Токтогулу повезло, он задержался на земле, выжил, мало того, сделался великим киргизским акыном, народным певцом.

Восемнадцать лет юноша Токо расстался с бичом пастуха, взял в руки комуз и стал профессиональным акыном. В Киргизии говорят: «Смерть гонится за красавцем». Кетмень-тюбинские богачи, сыновья манапа Рыскул-бека, хотели, чтобы он слагал им мактоо — песни восхваления, а он слагал кордоо — песни оскорбления, и они стали преследовать Токтогула, пытались задушить налогами, пробовали подстеречь и тайно убить, грабили его юрту, угоняли овец.

Певец оставался верен правде, тогда против него вооружили ложь. Сыновья Рыскул-бека написали царским властям донос, будто Токтогул был участником андижанского восстания. И хотя Токтогул никакого отношения к восстанию не имел, был схвачен жандармами, заключен в тюрьму и приговорен к смертной казни через повешение.

Фантастически трудна и длинна была дорога правды Токтогула. Смертную казнь, как и другим осужденным, ему заменили каторгой. Осужденных сковали по четыре человека железными цепями и посадили на арбы. Песни Токтогула, сложенные по дороге на каторгу и на самой каторге, — поэтическая автобиография. Семнадцать месяцев длился путь киргизского поэта-каторжника от Андижана до Иркутска. По дороге Токтогул бежал, спустя два месяца его поймали, за побег прибавили еще двенадцать лет.

В одиночестве томит тоска,
Щель слепого окна узка!
Тридцать тысяч солдат вокруг —
Я не знаю их языка...

Только через три года сняли с Токтогула железные наручники, только через четыре сняли ножные кандалы. Вместе с

другими арестантами Токтогул работал на строительстве Кругобайкальской дороги. Тоскуя по матери, жене, сыну и родному народу (его сохранившиеся арестантские песни полны этой тоски). Токтогул бежит с каторги второй раз: в 1905 году, в разгар первой русской революции. Три месяца наугад пробыл Токтогул на родину, в пути его опять поймали, вернули и увеличили срок каторги до двадцати пяти лет.

На двенадцатом году каторги Токтогул бежит третий раз. Через Сибирь и по аральским степям Токтогул шел к далекому Тянь-Шаню: «Я неустанно иду, иду, сон побеждая в своем пути. В двери стучусь и прошу еду... Где ты скрылась, стыдливость моя? Как ты решилась, стыдливость моя, брать подаенье в толпе людской?..» Осенью 1910 года Токтогул вступил на родную землю. Горестные вести встретили его здесь: мать жила в нищете, единственный сын Топчубай умер, жена, не дождавшись, ушла к другому. Народ встретил певца с ликованием. Хотя его, беглого каторжника, могли в любую минуту схватить и упечь обратно в Сибирь, Токтогул смело запел свои кордоо, песни обличения.

Три года народ скрывал его, все же в 1913 году манапам удалось выдать певца царским властям, его заточили в наманганскую тюрьму. Тогда-то (есть в Средней Азии крылатая фраза «Друзей двое — врагов восемь», но у Токтогула на каждого врага было восемь друзей!)... тогда весь народ пришел на выручку своему «соловью». Его ученики акыны Эшмамбет и Калык собрали в селениях Киргизии деньги, лошадей, коров, овец. Царские чиновники получили крупные взятки, Токтогул был выпущен на свободу и запел опять.

Днем рождения киргизской советской народной поэзии считают теперь тот весенний день 1919 года, когда в долину Кетмень-Тюбе приехал первый большевистский комиссар, и Токтогул перед ним спел песню о Ленине.

В гостях у Токтогула

Было это в тридцатом году. Я приехал в долину Кетмень-Тюбе, попал в Мазар-сай, мне сказали, есть старичок, хорошо поет песни. Имя Токтогул ничего мне не говорило. Послушать песни пошел в сопровождении киргиза милиционера — единственного здесь человека, знавшего русский язык. Теперь понимаю, милиционер не зря увязался со мной: это были дни, когда Токтогул из столицы уехал обратно в горы на родину — в своего рода почетную ссылку, если можно ее так именовать, а я не знал этого и радовался, что у меня есть переводчик.

Увидел низенького старичка с добрыми глазами: удивительно гладкая розовая кожа на лице, совершенно белая борода. Встретил меня вежливо, но сдержанно. Перед нами сразу появились чашки с кумысом. Спеть согласился охотно, взял в руки комуз и начал...

Слов я не понимал, но его игра на комузе меня захватила. Это были сразу и музыка, и театральное представление, и цирковое искусство. Токтогул склонялся над своим узеньким инструментом, словно спрашивая его о чем-то, и, когда его пальцы отрывались от струн, комуз неожиданно ему отвечал. Чем бы Токтогул ни прикасался к комузу — пальцами, ладонью, локтем, плечом, куда бы в порыве ни отбрасывал свой инструмент — под мышку, на плечо, за спину, взволнованный разговор его с комузом не умолкал ни на миг. Шутка? Пожалуй. Но Токтогул был знаменит своими шутками — теми, о которых в Киргизии говорят: «Шутки высекают огонь».

С его слов записал тогда подстрочные переводы двух песен. И вот что поразило меня: когда дело дошло до перевода, оказалось, по-русски акын говорит лучше милиционера, хотя и неправильно. Вкладываю в письмо тебе одну из записанных мной песен: он сложил ее обо мне, госте, — повод, которым часто пользуются киргизские народные певцы, чтобы высказать мысли совсем о другом, о своем.

— Э-эй! Комуз мой! Скажи, ответь...

Ходит джигит вдали от родимого дома,

Оставил милую, милая его ждет...

Скажи, что делать джигиту?

— Не ходи, джигит, вдали от родимого дома.

Милая подождет, подождет...

Улыбнется ей парень,

С парнем она уйдет!

— Эй, комуз! Зачем сердце посыпать солью?
Услышит твои слова джигит,
Услышит их и заплачет,
К чему миру еще одни слезы?
— Пусть плачет! Пусть плачет!
Поплачет джигит и перестанет,
Сделается мужчиной.
Сердце будет как у льва.
— Для чего ему сердце льва,
Если милая будет плясать,
Если милая будет радоваться,
Если милая будет смеяться с другим?
— Сердце льва поможет ему вынести беды:
И станет он биться за правду!
За одну правду! Только за правду!
Только правда чего-нибудь стоит на земле.
Э-эй, комуз! Недаром называю тебя другом.
Знай, джигит! Знайте все! Придет день.
Ложь провалится в пропасть.
Девушка будет лить длинные слезы.
И останется правда! Только правда!
Одна правда останется на земле!

Тогда строки эти показались мне любопытными, и все. В дом Токтогула попал случайно, провел в нем два-три часа и лишь спустя несколько лет, узнав его историю, ощутил по-настоящему трагический подтекст этих строк.

Две любви было у Токтогула. Первую, Алымкан, выдали насильно замуж за другого: юноша Токо был в ту пору всего лишь нищим певцом. Его песню «Алымкан» знает наизусть каждый киргиз. Вторая — Тотуя, его жена и мать его сына, сама ушла к другому, когда Токтогул был на каторге: вернулся, жена с другим — судьба многих.

А Токтогул умел ценить жизнь, умел и в старости воскликнуть в певучих строках: «Джигиту встретить красавицу прекрасную, как зеркало, — вот наслаждение!», а то и так: «Женщины, жадно глядите на нас звездами говорящих глаз». Как жаль, что не задержался тогда в Мазар-сае хотя бы на несколько дней. Сколько бы еще услышал!

Умер Токтогул в 1933 году. В последние дни жизни сложил предсмертную песню, вот строки из нее:

... Пусть серенький ваш соловей запоет.

Пусть не только язык его говорит,
Пусть кровью сердце его изойдет.
Когда ваш любимый Токо умрет,
Кто вспомнит серенького соловья,
Кто к серой могиле его придет?

Не правда ли, странные слова в устах прославленного в своем народе певца?

Бывает так. Прожил жизнь человек, умер, в надгробной речи превознесли его до небес, но спустя два дня все о нем позабыли, ибо дело, которому он посвятил жизнь, было ничтожно. Бывает и так: умер человек, скромно опустили его в землю, даже речей особых не было, а проходит месяц, год, Два... Дело, которому отдал жизнь человек, повлекло за собой сотни других, больших, бесконечно важных для человечества дел, и все чаще возвращается к этому человеку благодарная память потомков. Так произошло с Токтогулом: в песнях он выразил дух своего народа — гордый, неsgiбаемый, во имя правды готовый жертвовать всем.

И вот я в уютной гостиничке, в Каракуле, поселке Токтогульской ГЭС. В двадцати минутах езды отсюда — Токтогульская плотина, одна из самых высоких в мире, позади нее разлилось Токтогульское море, а в теснине рядом с плотиной Токтогульская ГЭС, вырабатывающая больше электроэнергии, чем в 1972 году ее выработали все станции Киргизии. Может ли быть поэту памятник грандиозней?

Будь моя воля, я начертал бы на здании ГЭС четверостишие Токтогула:

Жил человек. Глядишь — зарыт.
Зачем же ссориться, джигит?
Пойми, не ссора жизнь твою,
А дружба счастьем озарит.

Чтобы слова эти всегда горели перед глазами людей, сдерживая их от злых слов, сказанных хотя бы и в порыве раздражения, а главное, чтобы обиды не застилали людям глаза.

23 апреля. Фрунзе

Кто-то, не помню кто, сказал: «Жизнь страннее вымысла». Все чаще в нынешней поездке приходят на ум эти слова.

Прилетел во Фрунзе под вечер. Места в гостинице, конечно же, не оказалось: «Наведайтесь позже». Ждал, что-то ел в ресторане. Там почему-то все пили пиво: батареи пивных бутылок

на каждом столике. И опять ждал, ждал...

Наконец уложили меня в коридоре на койке. Всю ночь мимо ходили, где-то дурными голосами орала коты. Потом плакал ребенок, хлопали двери, кто-то надсадно кашлял. Не сомкнул глаз, но отдохнуть — чуть отдохнул.

А дальше и весь день пошел вкривь и вкось. Двинулся по городу... Небо закрыто тучами, вот-вот брызнет дождь, холодный ветер... Люблю Фрунзе — пожалуй, самый чистый город в Средней Азии. Слагал когда-то гимн его бульварам, паркам, садам, но в непогоду и тут неуютно и грязно.

И что хуже всего — мне всюду начала мерещиться ты, может быть, потому, что очутился в городе, где русских больше, чем киргизов. Откуда можешь ты взяться! Понимаю, дикая мысль! Однако сделать с собой уже ничего не могу. Знакомый стук каблучков... Резко поворачиваюсь! Мной овладевает дрожь ожидания, прибавляю шаг, почти бегу. Меня обгоняет автобус. Болтается задняя дверь, как видно, поломанная. Вдруг из автобуса на полном ходу выскакивает какой-то парень... Но этот прыжок — целый рассказ.

Прыжок с автобуса

Парень прыгнул прямехонько на меня, чуть не сбил с ног. Хрипло крикнул:

— Нина!

И устремился куда-то бежать. Его перехватил невесть откуда взявшийся милиционер. Розовый, почти мальчишка, с кобурой на боку:

— Запрещается прыгать на ходу! Штраф!

— Она... Понимаете, она... — задыхаясь, сказал парень. — Нина!.. Уйдите!..

Вывался. Оттолкнул милиционера. И побежал, иступленно крича:

— Нина-а!!!

Засвистев, милиционер помчался за ним:

— Стой!.. Стой!..

Все произошло в мгновение. Успел только заметить, что у парня вздернутый нос и очень светлые мохнатые брови. Пестрая кепка с огромным козырьком болталась на его голове.

На крики и свист подкатил еще милиционер — коренастый киргиз. Соскочив с мотоцикла, бросился наперерез парню. Тот бежал, ничего не видя. Коренастый схватил его за рукав.

— Нина-а-а!.. — закричал парень отчаянным голосом. И, стараясь вырваться, буркнул: — Пошел ты!..

Милиционер отстранился. Парень рванулся. Треснул рукав. Милиционер испуганно выпустил его. Но уже подбежал розовый. И подскочили двое военных. Парню скрутили руки. Задыхаясь, розовый говорил обиженным голосом:

— На милицию замахиваться! Не замахнешься! Я тебе покажу, как замахиваться! На милицию замахнешься, будешь год щи деревянной ложкой хлебать!

Парень хлопал глазами, явно не слыша слов. Только когда его повели, спросил: «Что?! Что такое?!» — как будто — впервые заметил милиционера. Розовый милиционер проворчал:

— Узнаешь в отделении, что такое!

Парень покорно шел. Я догнал их и зашагал рядом. Милиционер-киргиз, все время молчавший, покосился на меня.

— Я свидетелем... — миролюбиво сказал я.

— Не надо нам свидетелей! — сказал он довольно чисто по-русски.

— Его дружок, верно, — насмешливо сказал розовый. — Иль папаша. Ты, папаша, лучше бы смотрел за сынком!

Милиция оказалась наискосок. Начали писать протокол.

— А вы чего? Кто вы? — спросил дежурный.

— Продолжайте свое дело, — сказал я.

Лет сорока, побывавший, судя по внешности, не в одной переделке, дежурный хитро сощурился: мол, а-а, понимаю... Хотя вряд ли что понял. Ведь и я толком не понимал, зачем пришел.

Он принялся за протокол. Но скоро положил перо. И стал молча слушать.

... Год назад парень, звали его Виктором (тезка!), ехал в поезде Москва — Ташкент. В том же вагоне ехала девушка Нина. Ну, познакомились, подружились, часами простаивали у окна, разговаривая. Приехали. Простились на перроне, как все. А через два дня он понял: не может жить без нее. Однако что уж там говорить об адресе, не догадался спросить даже фамилию.

Целый год Витя, ташкентский житель, рыскал по Ташкенту в поисках Нины. Знал, студентка, но какого вуза... разговор об этом почему-то отвела. Обошел университет и все институты. Перевидал бесчисленное множество Нин, по описанию похожих на спутницу. Все оказывались не те!

— Это просто юмористический рассказ, если записать мои разговоры с Нинами... — сказал парень, вертя в руках кепку.

По вечерам ходил в городские сады и парки, надеясь встретить там. Дежурил у главного почтамта, рассчитывая, что она получает письма до востребования.

— Приезжает гастролер, бегу в филармонию: Нина говорила, любит музыку. Знал, и театр любит: ну и сижу первое действие, вижу в антракте, что ее нет, и ухожу. Чудно: перевидал первые действия всех ташкентских спектаклей...

Искал ее и на рынках, и в плавательном бассейне, и на пляжах Комсомольского озера, и в университете. О киношках нечего и говорить.

— И надо же было мне приехать сюда в командировку, чтобы увидеть ее! Из автобуса. Вот и прыгнул... Она здесь! Понимаете, здесь! Почему — не знаю. Но здесь! И я ее найду! Теперь-то найду!

Розовый милиционерчик, слушая парня, глядел все виноватей. И подхватил:

— Мы кого хошь отыщем... Говоришь, в синем платочке с цветами? Ну а брюнетка или блондинка?

— У нее.... У нее.... — восторженно сказал парень. — У нее каждый волосок: горит!

— Не может быть! — поразился милиционер. — А какого цвета волосы?

— Цвет? — растерялся Витя. — Пепельные... Хотя скорей

каштановые. Только... — Он запнулся.

Я себе ясно представил: те три дня, что ехали вместе, наверно, смотрел ей в глаза. Не отрываясь — в глаза! До того ли было, чтобы задерживать взгляд на голове.

— А может, брюнетка? — насмешливо спросил дежурный.

— Нет, нет! Что вы, — смущенно запротестовал Витя. — Светлая она. Блондинка, но не совсем...

— Крашенная... — догадался розовый милиционерчик.

— Нет! — с негодованием отверг Витя. — В ней ничего искусственного! Все свое!

— Ну, ну, не обижайся, — сказал розовый. — Может, у нее родинка есть приметная? Вот ежели бы шесть пальцев, разыскали бы мигом...

— Не смеете про нее так говорить! — покраснел Витя.

— Для твоей же пользы спрашиваем. Помочь хотим, дура, — покровительственно сказал розовый милиционерчик. — Без нас тебе ее не найти.

Киргиз, продолжавший хранить молчание, вдруг решительно вмешался:

— Пойдем! — и взял Витю за руку.

Через окошко милиции мы увидели, как они вышли на улицу. Накрапывало. Киргиз показал парню на коляску мотоцикла. Тот сел. И укатили искать Нину. Интересно, видел ли ее на самом деле? И найдет ли?

Зашел в первое попавшееся кафе....

Вкусно поесть не удалось: стоишь в очереди с подносыком в руках, раздача с медлительностью XVIII века, и когда, наконец, ставишь на поднос нечто под названием «щи», и холодные котлеты с белесоватым налетом застывшего сала, и бледно-красный кисель в граненом стакане — от желания поесть не остается и следа.

Заведующий этого кафе напомнил мне того бухарского продавца халвы из народного анекдота, который орал на базаре: «Сахарная халва! Душистая халва!

О аллах, хвалю тебя, что ты создал столько людей и народов!» Кто-то, заинтересовавшись, спросил: «Почему тебя радует, что аллах создал столько людей?» — «Попробуй мою халву — узнаешь!» Прохожий бросил продавцу монету, взял халву в рот и выплюнул: «Ну и дрянь! Никогда больше в рот не возьму твою халву!» — «Вот и ответ на твой вопрос, — сказал продавец. — Если бы людей было мало, кому бы продавал я халву?»

С металлическим привкусом киселя во рту вернулся в

гостиницу. На мое счастье, один номер освободился. Пospал среди дня часика три и с прояснившейся головой отправился на балет «Чолпон». Вместо тебя в кресле слева сидела скромно одетая девушка, гладко причесанная. Сидела, чуть склонив голову, отчего казалось, что глядит на все исподлобья. Ее облик был мне приятен и в то же время досаждал слабый, но ощутимый запах сладковатых духов. Ты знаешь, с запахами у меня свои, особые отношения. Чтобы слова эти не казались тебе пустой фразой, расскажу кое-что, сейчас всплывшее в памяти.

Подарок поэта

Москва, зима 1933/34 года. Поэтесса Аделина Ефимовна Адалис привела меня к Осипу Мандельштаму: жил на Тверском бульваре, во флигеле Дома Герцена. Привела, чтобы послушал мои «киргизские рассказы» (некоторые из них уже были напечатаны). Ей они нравились, вероятно, хотелось, чтоб понравились и ему.

И вот сижу в его низенькой, темноватой комнатке, заставленной мебелью. Сижу за столом и читаю. Осип Эмильевич, низенький — под стать комнате, — смотрит на меня внимательными глазами, сидя на сундуке. Изредка повернет голову к Адалис, тогда успеваю заметить его птичий профиль и где-то возле уха клочок востановленных седоватых волос. От него «сыплются искры», как бывает у очень нервных людей. То и дело вскакивает с сундука, опять садится, чувствую, не от того, что скучно, просто так устроен.

Прочел ему два рассказа — «Звездопад», «Жара, товарищи!» — и умолк. Осип Эмильевич вскочил с сундука, пробежал несколько раз из угла в угол своей крошечной комнатки, ни разу не наткнувшись при этом ни на ножку стула, ни на угол стола, потом остановился и, глядя в упор, спросил:

— Что у вас с носом? Я опешил:

— С носом?

— Да, — сказал он, еще раз пробежавшись по комнате. — Зрение у вас хорошее. Просто отличное! Слух тоже. А что с носом? — И опять уставился на меня, ожидая ответа.

Я был поражен: суметь разглядеть, слушая рассказы... Дело в том, что в раннем детстве мне вырезали аденоиды. Помнил это со слов матери. Из-за этого почти не ощущал запахи. Только самые резкие! Не ощущал, ну и не писал... Но чтобы заметить это, слушая рассказы! Объяснил Осипу Эмильевичу, в чем дело.

Потом был подробный разговор о рассказах: он говорил и хорошее (уменьше, которое не каждому дано) и плохое (прямо и без обиняков — и это дано не каждому). Разговор был для меня интересным, но не о нем речь. С того дня стал приносиваться, думать о запахах, вписывать их в прозу. Добрых два года нюхал все, с силой вдыхая в себя ароматы, и с каждым годом стал ощущать их острее. Оказалось, и обоняние можно развить. Так Осип Эмильевич подарил мне мир запахов.

24 апреля. Фрунзе

Зашел сегодня пообедать в столовую рядом с рынком. Думаю,

дай пообедать здесь, может, кормят лучше? И на этот раз не ошибся: большой выбор национальных блюд, даже бешбармак — гордость киргизской народной кухни. Взял лагман, налили мне его в кису (огромную пиалу). Выбрал ложку получше и сел за столик. Ко мне подсели трое студентов — один русский, двое киргизов. Дурачась, один из киргизов воскликнул, кивая на тарелку товарища:

— Сидят марсиане у себя на планете Марс, смотрят в свои телевездескопы на земной шар и вдруг обнаруживают, что Абдрасул взял три палочки шашлыка! Тут все марсиане закричат: «Ура! Ура! Теперь у нас ясное доказательство, что Земля населена разумными существами!»

— Уйди ты! — отмахнулся Абдрасул, продолжая разговор с русским приятелем, начатый раньше. — Пойми! Даже ошибочный путь не всегда бесплоден...

Его приятель серьезно слушал и ел. Абдрасул стащил зубами с палочки кусочек шашлыка, торопливо проглотил и, размахивая палочкой с оставшимися кусочками, продолжал:

— ... Возьми Кеплера! Идиотское учение о «музыке сфер» вдохновило его на открытие третьего закона движения планет. А на этом законе, в свою очередь, Ньютон построил теорию тяготения...

Тебе, вероятно, покажется дуростью, что так подробно описываю это. В том-то и дело, что разговор оказался «к чему». Однако здесь я... Когда киргизскому акыну надо сменить веселую песню на грустную, он перестраивает свой комуз... Тут и я дам другой строй своей «колибри». Расскажу тебе одну трагическую историю, чтобы стало понятно все, что пришло на ум.

Ромео и Джульетта Пишпекского уезда

Бесконечная в проявлениях, имеющая свои законы и все же никогда не повторяющаяся жизнь преподносит нам порой какую-нибудь историю, редкую, исключительную, словно для того, чтобы бросить еще более яркий свет на глубины происходящего. Одна такая история не выходит у меня из головы. Слышал ее давным-давно на колхозном комсомольском собрании. Рассказал ее старик, приглашенный секретарем комсомольского комитета. И история эта, похожая на маленький четырехстраничный роман, пошла из уст в уста.

В давние времена, когда старик рассказчик был молод, незадолго до восстания 1916 года, жили-были в одном из селений Чуйской долины девушка и парень, Лена Королькова и Чалагыз Бейше. Чалагыз батрачил у кулака-миroeда, Лена батрачила у него же, хотя и доводилась родной племянницей. Оба были сиротами.

У Чалагыз а мать, как часто бывало тогда, погибла во время родов. Отец однажды ушел из дому и не вернулся: то ли стал жертвой какого-нибудь феодального князька, то ли лавина накрыла в горах. Отец Лены сложил голову на русско-японской войне. Девочка жила с матерью, бедствуя в родном сибирском селе. Когда ей стукнуло пятнадцать, мать заболела и умерла, завещав дочке поехать в далекую «страну Пишпек», к отцову брату — единственному живому родичу, за много лет до того переселившемуся в Семиречье и, по слухам, забогатевшему.

Дядя принял племянницу неприветливо и, чтобы не ела даром хлеб, поручил ей скотный двор. Одиннадцать коров, два десятка лошадей, свиньи, овцы, куры, гуси, индейки — легко ли все это ухаживать, уследить? Чалагыз пас скот, а в свободное время помогал по хозяйству — где хлев починить, где перестелить солому, где навоз вывезти из конюшни на поле.

То ли общая сиротская доля — попреки, жизнь впроголодь, то ли (теперь об этом можно только догадываться) хрупкие, пронизывающие мгновения восторга при виде клина журавлей, летящих в небе, или какой-либо другой, такой же светлой, полной воздуха картины природы, а верней всего, и то и другое послужили причиной того, что они полюбили друг друга.

Ходили слухи, что прежде всех дознался об этом сам Федор Корольков, и дознался едва ли не раньше, чем юноша и девушка открылись себе в своих чувствах. Так или иначе, племянницу Корольков собственноручно избил, а Чалагыз а убрал со скотного двора и отослал с другими батраками работать на поле, совсем

расставаться с ним не хотел — работящ и безответен был парень. И еще говорят, будто Корольков сказал на людях Чалагыз у насмешку:

— Отработаешь калым, за полсотни лошадей отдам племянницу! — и очень довольный собой, подмигнув слушателям, добавил: — Это по-вашенскому, киргизскому закону, калым!

Тут-то и поняли Лена и Чалагыз, что жить один без другого не могут. Надо думать, были у них тайные свидания. Надо думать, немало слез было пролито Леной: разве можно было тогда русской девушке не то что заикнуться — просто помыслить сыграть свадьбу с киргизом? Долго ли, коротко ли было лить слезы Лене. Да пришел шестнадцатый год.

Сперва сельский староста на сходе прочел царский указ о «реквизиции киргизов на тыловые работы». Потом злые люди начали распускать слухи, будто киргизы хотят русских перерезать. Испугавшись, как бы с ними не расправились, киргизы-батраки бежали из селений в горы, с ними Чалагыз. Дело была в июле, кулаки, хлеба которых остались неубранными, осердясь, стали распространять совсем уж кривые толки.

И будто бы в одну из ночей на скотный двор к Лене прибежал Чалагыз уговаривать вместе бежать к его братьям в горы: мол, примут хорошо, как его невесту! Подумала Лена о неведомых горах, о жизни в юрте — непонятной и страшной, не решилась.

Тут начали всех попадавших в руки киргизов хватать. И Чалагыза схватили, когда вдругорядь пробирался к Лене, привели к Королькову. Убил бы его Корольков, да хлеба спасли: не убрана еще пшеница была, осыпалась на поле, нужны были батрацкие руки. Запер Чалагыза в сарае, чтобы утром погнать на поле с серпом.

Вот тогда-то (где смелость взялась!), не гляди что худенькая, забитая, выпустила девушка милого на волю, и сама, еще солнце не пало на горы, с ним ушла и с собой двух коней увела.

Есть пословица, родилась в горах у киргизов, а прижилась и у русских в Чуйской долине — ходкая, как всякое меткое слово: «Родишь сына, покажешь вороне, скажет — слишком белый; покажешь ежу, скажет — слишком мягкий; змее, скажет — слишком толстый; муравью, скажет — слишком большой». Впрочем, беда была бы невелика, если бы только за тем дело стало, что нос русской девушки не понравился женщинам рода Чалагыза, и волосы слишком светлы, и ресницы слишком белы. Беда была в том, что привез Чалагыз милую свою к родичам в недоброе время, в темных головах кочевников, не умевших разобраться в событиях, начинала закипать ненависть против

всего русского.

Весь аил сбежался посмотреть на Лену, все были возбуждены. Старухи, размахивая костлявыми руками, осыпали ее проклятиями. Мужчины ожидали, что скажут старейшие. И вот выступил вперед аксакал. Выслушал горячие слова Чалагыза в защиту милой, неодобрительно покачал головой, важно сказал, что от женитьбы киргиза на русской добра не жди: приедут, мол, казаки и в отместку всех перережут.

Под конец поднял старик руку и, приглашая в свидетели родовых предков, изгнал Чалагыза из племени. Так для русской девушки-крестьянки и киргизского парня-батрака не нашлось места ни у русских, ни у киргизов. Остались они среди Тянь-шаньских гор одни на всем белом свете.

Спустя три недели были они уже далеко за горами Тянь-Шаня. Им повезло, удалось отделаться малым выкупом: только коней отдали пограничным стражникам. Чалагыз нанялся батрачить к китайцу-помещику.

Кто знает, быть может, в чужом краю Чалагызу и Лене удалось бы прижиться, да международная политика помешала, самая международная что ни на есть! Увидев, что часть киргизского народа снялась с места, генерал-губернатор Куропаткин разослал по городам Семиречья телеграмму: «Догнать и водворить на место».

Царские чиновники смекнули: испугался Куропаткин, вдруг кто-нибудь из иностранцев царю удивление выразит, и царь ему, Куропаткину, чтоб приличие соблюсти, по шапке даст. А там, глядишь, и новый от царя приедет и для острастки первоначально еще много шапок поснимает. И вот, желая заранее себя обелить, царские чиновники и каратели стали обвинять во всем киргизов, противу которых они, чиновники, действовали, мол, в порядке самозащиты. Они наполнили черносотенные газетенки свои воплями о «киргизских зверствах», в особенности расписывали страдания русских крестьянок, будто бы захваченных киргизами, зная, это вызовет впечатление совсем особого рода.

Тотчас же русское правительство обратилось с официальным представлением к правителю (даотаю) в Кашгаре, требуя разыскать русских женщин и детей и препроводить российским властям. В ноябрьский день, когда Чалагыз вместе с хозяйским приказчиком уехал продавать фрукты на базар в город Аксу, у его хибарки появились синьзянские стражники, с ними драгоман русского консульства. Говорят, Лена Королькова ехать не хотела, отбивалась, кричала, звала на помощь Чалагыза. Ее схватили, связали и увезли. Откуда было знать ей, что нужна царским слугам, чтобы оправдать поднятую ими шумиху.

Когда Лену привезли в Ташкент, две сотни благотворительниц — жен царских чиновников — с величайшим рвением и торжеством препроводили «несчастную жертву» в специально обставленный дом, окружили такой роскошью, какая крестьянской девушке и не снилась, стали проводить с ней душевспасительные беседы... Потом повезли в Верный, где все началось сызнова. Потом по другим городам... Прошло некоторое время, шапка осталась на Куропаткине, и Лену за ненадобностью отправили обратно в село.

Тут Федор Корольков, дядя ее, привязал Лену к телеге и, заголив, стегнул лошадей. Кругом стояли соседи, хмуро посмеивались: «Не бегай с Киргизией, блюди закон». В ту же ночь со стыда Лена наложила на себя руки, серпом зарезалась.

Зимой один из крестьян встретил и Чалагыза. Похудевший, непохожий на себя, вернулся из-за гор, надеясь разыскать Лену. Крестьянин рассказал Чалагызу о ее смерти. А когда пришла весна и с полей Чуйской долины побежали ручьи, крестьяне обнаружили труп Чалагыза: он лежал возле могилы любимой.

Видишь, какая между народами была пропасть. Чалагыз и Лена попробовали через нее перепрыгнуть, пропасть их поглотила. Наше поколение многое сделало, чтобы эту пропасть засыпать, и гордится этим. Мы сетуем, что нашим детям жизнь не дала тех же уроков, что нам. Спросить эти сетующих: «Неужели вы хотите всерьез, чтобы ваши дети испытали на себе все, что испытали мы постарше и мы помоложе?! Тогда чего бы стоил весь наш труд?!»

Представь себе на минуточку, что ты киргизка и живешь до революции: как бы сложилась твоя жизнь? Киргизских женщин и девушек продавали как скот, меняли на овец и охотничьих беркутов, дарили друзьям, проигрывали на скачках. После революции были найдены счета о цене киргизских девушек, которые шли в рабство — в хорошие годы «за цену сивого мерина», а в годы массового падежа скота «за одно лукошко лука».

Пришел конец двадцатых годов. Это было время, когда киргизки приходили в женотдел и спрашивали: «Можно ли мне назвать мужа по имени? Можно ли мне посмотреть тестю в лицо?...» Услышав утвердительный ответ, они смеялись, будто им сказали что-то забавное, однако глаза их светились счастьем. Это было время, когда женщины-дунганки уже участвовали в собраниях, но сидели спиной к президиуму и голосовали не поворачиваясь. Это было время, когда в юрту работавшей в женотделе киргизки Курбан Джан Задунбаевой ворвался убийца с криком: «Ты здесь, преступившая законы аллаха! Комиссаром

стала!..» — и вонзил ей в спину нож. Тревожное, трудное и вместе с тем замечательное было время! Но хотим ли мы, чтобы все повторилось вновь? Были и издержки жизни, издержки роста. Жил-был в Узбекистане композитор, который помощь русских композиторов и музыкантов употребил не столько на то, чтобы чему-нибудь научиться, сколько чтобы на этом «подняться», сделать карьеру.

— Снаружи гладок, а внутри как осиное гнездо, — сказала о нем Халима Насырова, народная артистка СССР

После смерти некоторых своих учителей он даже пытался их обокрасть. Я слышал в зените его славы, как в одной чайхане сказали о нем:

— Идет собака рядом с тенью слона и говорит: «Это моя тень».

Именно его фигура дала нам (мне и Ягдфельду) — задолго до того, как он был разоблачен, — тему фильма «Легенда о ледяном сердце». Театральный администратор Ашик старается пролезть в композиторы с помощью волшебника, который сочиняет за него оперу.

Неужели кому-нибудь нужно, чтобы все повторилось опять?! Неужели наша советская гордость не удовлетворена тем, что благодаря труду нашему пришло и идет новое поколение во всеоружии знаний и творческих возможностей, какие принес людям XX век?! И неужели кто-нибудь может хотеть, чтобы его дети за это платили своей кровью ту же плату, какую заплатили мы?! Нет, нет и нет!

Прошрое не возвращается. Оно повторяется только в частностях. А новое идет неудержимо, сметая все на пути. Никогда не переживут молодые люди, родившиеся в шестидесятых годах, то, что пережило наше поколение. Наши дети глядят вперед: у них будет (и есть уже!) свой собственный груз. Дай-то бог, чтобы он был, если и тяжел, так не слишком, чтобы под его тяжестью не сломились молодые жизни.

Невольно вспомнилась судьба Мишки Мещеряка. Ах Мишка...

Познакомился с ним заглазно еще в Баку: проглядывая в редакции «Молодого рабочего» литературные страницы молодежных газет, в сталинградской газете «Резервы» наткнулся на стихи Михайло Мещеряка, от которых веяло свежестью. Откликнулся на них письмецом.

Осенью 1928 года неожиданно-негаданно встретился с Мишкой в Ленинграде у беломраморной лестницы Института истории искусства: оба поступали (и поступили!) на «лито» — литературное отделение Высших государственных курсов искусствоведения. Университет университетом, решил учиться еще: воображение захватило созвездие имен, преподававших в институте: Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский, Жирмунский. Родник живых знаний!

Оба здания института — «красное» и «черное» — выходили зеркальными окнами на Исаакиевскую площадь. Темно-золотой купол Исаакия сторожат крылатые ангелы. За чугунными перилами — зеленовато-черная вода Мойки. Рядом гостиница «Астория», где — лафа для студента! — за 19 копеек можно было съесть тарелку супа, а заодно бесплатно умять гору хлеба! Два года спустя вспоминали об этом как о баснословных временах! Бок о бок с «Асторией» была гостиница «Англетер», заставлявшая нас помнить о смерти Есенина.

Вспомнил рассказанную Мишкой историйку, имевшую место не то возле Урюпина, не то в районе Борисоглебска, сейчас не упомяну.

Жила-была там до революции помещица. Перегородила речку, разлился пруд, напустила в него рыбы. На глазах честного народа выдернула она из своего уха золотую серьгу, продела в жабры молоденькой щучке и бросила щуку в воду. Ловить рыбу в пруду не позволяла. Но на то и запрет, чтобы его обходить: по ночам многие пытали счастье — да никому не подфартило вытащить щуку с серьгой. Потом поставила помещица мельницу на пруду, практичная была дама. Грянула революция. Помещица укатила в Париж. Крестьяне бросились ловить щуку. Спустили пруд, сломали мельницу. Засолили каждый по тридцать-сорок пудов рыбы. А золотой серьги так и не нашли. Теперь у них нет ни рыбы, ни мельницы.

Мишка собирался написать об этом рассказ. Не написал. Как, впрочем, все мы в те годы не написали многого. До завтра не напишешь, и уже весь в другом: так оно в юности. А литературный труд... Придумать — миг, наткнуться в жизни и

того короче, но написать! Измараешь чернилами тонны бумаги прежде, чем поймешь, что есть труд писателя.

Талантлив ли был Мишка? Мне кажется, очень. Хотя я мог и обмануться, в нем мне все было мило. Друзья! Талантлив ли, нет ли... А Мишка был гений! Не шучу. У него была гениальная память, какую встретишь, может, раз в тысячу лет. Николай Заболоцкий читал у нас в институте «Торжество земледелия», большую поэму, читал впервые. Мы наслаждались непредвиденностью образов: «Тут стояли две-три хаты над безумным ручейком. Идет медведь продолговатый как-то поздно вечером...» После вечера вышли под звездное небо, Мишка прочел нам всю поэму раз и два, он знал ее наизусть!

Много лет спустя, собирая вместе с писателем Сатымом Улугзода материалы для киносценария об Абу Али Ибн-Сине (Авиценне), наткнулся на исторические свидетельства, будто у Авиценны была такая память. Когда фанатики сожгли бухарскую библиотеку, Авиценна восстанавливал по памяти целые книги; мало того, стал, систематизируя по специальностям, диктовать наизусть писцам знания из всех книг сразу. Так возникла первая в истории энциклопедия.

Я бы принял свидетельства эти за рассказы исцеленных Авиценной людей, если бы не знал Мишку: не держал в доме книг, были ему ни к чему, все, что когда либо прочел или слышал, «отпечатывалось» у него в голове — открывай любую страницу, помнит наизусть!

И в университете Мишка ошеломил всех памятью. За первую же зиму освоил кавказские языки: прочтет словарь не торопясь — более или менее помнит слова, перелистает грамматику, синтаксис, пробежит глазами два-три романа, и так или иначе, а знает язык, берется за следующий...

Учился Мишка у Алиханяна, числился студентом армянского отделения, единственным на курсе! Но тут надо рассказать, откуда взялся в нашей жизни Ленинградский университет. Видишь ли, Высшие государственные курсы при Институте истории искусств закрыли, и нам осенью 1929 года предложили перевестись в университет на любой гуманитарный факультет: искусствоведческого не существовало, Мишка подал на кавказское отделение филологического, я ради экзотики маханул на японское.

Ему хорошо. А я мученик! Ну прокачусь на чужом велосипеде из конца в конец километрового университетского коридора, ну сбегаю в студенческую столовую... Никогда из памяти не изгладится веселое (столько было надежд!), но уже голодное время (после первой волны коллективизации, когда в нашу жизнь

вернулись продкарточки). В те дни в студенческой столовой приятель поставил однажды передо мной тарелку с кониной, широкий жест: «Лошади поданы!»

Мишка с головой ушел в языки. А я... Ну на кой мне японский! Языком надо заниматься, а я пишу, печатаюсь. Да и глава семейства. Только что женился! Да и один университет уже кончил! Однако уйти не так просто: государство тратит на меня деньги — получаю сорок рублей стипендии.

Уйду, по тем временам обеспечен скандал — дезертир! Чего доброго придется Ленинград покидать. Как же тогда Таня? Ее учеба? Тут-то Мишка меня и выручил.

Кабинет греческого посланника

Вот как было. Собрался я жениться, а своей жилплощади нет. Встречаю Лешу Христофорова, делюсь горем. Он:

— Хочешь кабинет греческого посланника?

Привел показать: бельэтаж, два зеркальных окна на Неву — на шпиль Петропавловской крепости, камин, паркет, пятьдесят два метра — хоть балы задавай! По стенам на две трети высоты панель красного дерева. Мебель вывезена, во вдоль одной стены, во всю длину, невысокий, по пояс, красного же дерева шкаф для бумаг: врежай в стену, не оторвешь! И в двух углах тоже врезанные в стену красного дерева кожаные диванчики: спать — так складываться пополам.

Возле камина четыре железные койки. Называлось «чумандринская коммуна»: четверо пареньков со «Скорохода» и «Электросилы», из рабкоров, «ударники, призванные в литературу» (Лешка один из них), организовали коммуну. Чумандрин, секретарь ЛАППа (Ленинградской ассоциации пролетарских писателей), раздобыл им ордер. «Во оторвали! Кабинет бывшего греческого посланника!» Да не пошла коммуна, уютней жить дома, хоть в крошечных, да своих обжитых комнатенках за Московской заставой под присмотром мамаш. Пустеет палаццо; «Раз такое дело — женитьба, с радостью отдадим!»

Переписали ордер на меня, увезли свои койки. Раздобыл дрова, тоже по ордеру, сложил поленицу в коридоре рядом с дровами соседей — четы пенсионеров, поселившихся в бывшей спальне греческого посланника: стены из плюша с нарисованными цветами, ударишь палкой — пыль столбом! «Во жили буржуи!» Шикарная жизнь! Красота, кто понимает! Золотой шпиль за окнами! А толку?

Прикатили морозы, питерские, пронзительные, сырые! Встала Нева маленькими торосами, нагромождением льдин, наехавших одна на другую. Топлю камин, дрова сгорают, как спички. Хлопотал-хлопотал, выхлопотал уголь, набил чулан. Из камина пышет жаром, пока меж углей гуляет синее пламя, а погасло — несет холодом, как в трубу, комната вмиг выстывает? При буржухах небось был холуй-истопник! По десять часов кряду топлю, склонившись над иероглифами японских сказок «Фурусато» и словарем Позднеева. Экзотикой — камином да иероглифами, ничем другим заниматься не могу! Положение куда уж хуже...

Пришел как-то Мишка, протянул к камину окоченевшие

пальцы и говорит:

— Вот что... Вместо того чтобы в чужой клеветон попадать, если бросишь университет, напиши-ка ты, брат, сам про себя фельетон. Вот, мол, субчик: один университет кончил, во второй пробрался. Зря, дескать, государство денежки тратит на него! Ну а я тисну под псевдонимом в нашей стеновке (Миша был редактором стенгазеты факультета). Тебя, голубчика, и исключат! Сами исключат тихо-мирно... Что и требуется доказать!

Написал про себя фельетон. Исключили. От иероглифов избавился, оставалось отделаться от камина, это проще: обменял свое палаццо на комнатенку в шестнадцать метров на Литейном проспекте — пальцем достаю до потолка, окна в колодец двора — зато теплая-теплая! Здравствуй, жизнь!

Она-то, жизнь, довольно быстро и развела нас с Мишкой: он ушел с головой в языки (по Ленинграду ширились слухи о колдовской его памяти), я бросился в громкобурлящие воды невской изящной словесности. Мишка заглядывал ко мне все реже. Спустя несколько лет узнал с чьих-то слов: где-то вдалеке, кажется в Армении, заболел и умер. Умерла гениальная память! Сколько мог дать людям! Теперь, многие годы спустя, оглядываясь на жизнь поколений, письменные свидетельства о коих теряются в глубине веков, вспоминаю Менандра (через две тысячи триста лет его процитировал Байрон): «Богов любимцы долго не живут», и все больше утверждаюсь в мысли, что гении — это чудом выжившие!

Думаю, что на земле рождается гениев неизмеримо больше, чем доживает до возраста, когда успевают себя осуществить. Обуюнному чем-нибудь целиком (звуками, красками, мыслями, мечтами...) гению легко погибнуть в детском возрасте: утонуть, попасть под копыта лошадей (в наши дни под машину)... Ежели благодаря счастливому стечению обстоятельств гений все же доживет до совершеннолетия, зависть обрушивает на него все, чем люди умеют мстить за свою заурядность.

Надо ли вспоминать биографии гениальных поэтов, художников, ученых всех времен? Жизнь, как правило, мученическая! Именно это заставило Дидро воскликнуть: «Как мы были бы счастливы, если бы наши современники вздумали судить о нас так, как если бы мы умерли три тысячи лет назад!»

После смерти гения, успевшего себя осуществить, человечество, видя, что прошли десятки лет, а он все еще возвышается над временем, начинает ему поклоняться. При этом оно стыдливо замалчивает страницы жизни, которые с точки зрения современной морали «порочат» гения: так гениев превращают в иконы.

25 апреля. Под вечер. Берег Иссык-Куля

Ну вот я наконец и в Рыбачьем... Весь вечер, да и всю ночь за окошком гостиницы выл и бушевал ветер: его здесь называют улан. От его порывов стекла то вздрагивали, звеня, то протяжно ерзали в рамах, слышен был звук летящего в окна песка, даже удары мелких камешков о стекла. Под вой, свист и звон ветра лежал на койке, вперясь взглядом в черное пространство окна.

На заре улан утих так же внезапно, как начался. Я вышел на берег Иссык-Куля, прихватив с собой «колибри», бумагу и термос, взошло солнце, озеро затрепетало светлым пламенем. Пристроился на пристани, открыл машинку писать тебе и вспомнил, как здесь, именно здесь давным-давно пережил вместе с поэтом Александром Гитовичем потрясение.

Но к рассказу об этом надо подойти.

С рюкзаком за плечами

Летом 1929 года Саша Гитович и я решили пуститься в дальнее странствие, в Киргизию. Третьим с нами отправился Б. А. Логунов, библиотекарь военно-политической академии имени Толмачева, друг Гитовича. Тот добрался лишь до Пишпека: когда шли со станции Пишпек в город, речку Алаарчу, бегущую по камушкам, переходили вброд — моста еще не было, Логунов представил себе дальнейшее путешествие пешедралом в глубь «диких тянь-шаньских хребтов», у него ко всему отпала охота, нанял подводу — обратно Алаарчу переехать, да и был таков. А мы с Сашей с рюкзаками за плечами отправились в глубь Тянь-Шаня.

На тебя Тянь-Шань произвел бы сначала мрачное впечатление: голые горы, изборожденные каменными морщинами. Только постепенно (знаю по себе) величие скал перестает подавлять глаз; и ты начала бы наслаждаться их формой и бесконечным разнообразием цвета, красота гор мало-помалу овладела бы тобой, заворожила. И пришло бы мгновение, когда взгляд твой был бы не в состоянии насытиться созерцанием скал, и снежных вершин, и тянь-шаньских речек, будто наполненных самоцветами.

Как полагается, с востока Заря явилась. И за ней —
Толпа холмов, базар потоков,
Рябая ярмарка камней...

Так начал Саша описание нашего восхождения к перевалу Калмак-аша из Чон-Кеминской долины, куда мы пришли вдвоем, свернувши из Боомского ущелья вдоль ревущей в глубоком каньоне горной реки Чон-Кемин.

... И мы идем, сгибая спины,
По той странице дневника,
Где комсомолец Табалдинов
Играет роль проводника...

В моем дневнике этого путешествия рядом с фамилией Табалдинова четыре киргизские загадки. Сидели на перевале, отдыхали, он нам задавал их и смеялся до упаду, что не отгадаем: вот простак! Признайся, отгадала бы ты хоть одну? «Белая

собачка прыгнула с арбы». «Синий теленок и на привязи толстеет». «На сухой сук воробей не садится». «Над бугром кружится хромой ворон». Не стану переворачивать отгадки вверх ногами, как в сборниках развлечений, вот они: «Плевок», «Арбуз», «Голова быка», «Бритва».

Распростившись на перевале с Табалдиновым, спустились к синеве Иссык-Куля. В Рыбачьем — в ту пору маленьком поселке — за крайним домиком искупались. По просмоленной эстакаде-пристани разбегались, прыгали головой в воду, выбирались на берег, опять разбегались...

Подъехали двое верховых киргизов, некоторое время глядели на нас. Потом один спешился, отдал товарищу повод, снял одежонку, разбежался, бух вниз головой! Ждем минуту, вторую, нет его! Еще минуту... Уж не убится ли о сваю?!

Я прыгнул в воду, Саша за мной. Добрых полчаса ныряли, ища киргиза. А его товарищ сидел на коне. Обессилев и поняв — ежели и найдем, не спасти, вылезли на берег. Подошли к всаднику, голубенькая бабочка вилась вокруг его шапки.

Тут мы узнали: они приехали из-за гор, первый раз в жизни видели озеро — ни он, ни его товарищ понятия не имели о плавании! (Вот как в глубине Тянь-Шаня были оторваны одно от другого горные урочища!) Представляешь? Тот, утонувший, увидел: «прыгают», подумал: «Чем я хуже?» Оказались виновниками смерти человека!

Весь день Саша бродил по Рыбачьему, опустив голову, жуткое впечатление произвело на него. Подвернулись спутники, возвращающиеся в Пишпек, и он уехал из Киргизии прямо домой, в Смоленск, к родным. Я остался один.

Бродяжничество у мужчин в крови. Казахи говорят: «Сердце матери к сыну, сердце сына в степь». И у киргизов слышал похожую поговорку: «Между женщинами колыбель, между мужчинами седло». Целое лето бродяжил по Тянь-Шаню. Колесил с «витаминной тройкой» (про нее тебе еще расскажу). Но самое сильное впечатление относится к концу лета: чтобы дальше все было понятно тебе, вынужден еще раз вернуться к моим ленинградским годам.

Откуда такой псевдоним? Расскажу. В 1926 году я впервые побывал в Ленинграде. В поезде сдружился с севшим в Армавире студентом Краснодарского сельхозинститута Виктором Закаморным. Ехал он, как и я, по студенческому литеру. Поезд прибыл в Питер в шесть утра. С рюкзачками прошлись по Невскому, еще пустынному, любуясь красотой домов, с одной стороны уже озаренных солнцем, и наслаждаясь мягким стуком копыт извозчиков, кативших по торцевой мостовой. Посреди Невского проспекта — паркет, чуть припахивающий смолой после ремонта: легендарные времена.

Дошли до Адмиралтейства, до Невы. И тут я, вместо того, чтобы в восхищении замереть и погрузиться взором в волшебную палитру широких вод, расцвеченных косыми лучами солнца и отражениями золотых шпилей, словом, вместо того, чтобы поступить, как, наезжая в Ленинград, поступаю теперь — объятый мальчишеским желанием прежде всего тут утвердить себя, разделся, отдал одежду и рюкзачок Вите Закаморному и с гранитного спуска — бух головой в державное течение Невы!

Не ожидал такого свирепого холода! И столь стремительного течения! Пока переплывал, меня снесло почти до следующего моста, где Академия художеств. Утвердить себя утвердил. Но какое являл собой жалкое зрелище: покрывшись «гусиной кожей», приплясывал и, клацая зубами от холода, в мокрых трусах побежал через мост навстречу Вите!

Устроились на Петроградской стороне, на Большом проспекте, в общежитии политехнического института.

Комнатка на мансарде, окна на черепичную крышу. Две недели вместе бродили по Ленинграду. Тогда-то твердо решил — кончу в Баку университет, перееду сюда, испытаю, чего стою. Брошусь головой в державное течение ленинградской литературы. Сумею ли себя в ней утвердить? Хватит ли способностей? Самолюбив был! Ну и пришла идея: придумаю-ка на «пока» себе псевдоним. Если выстою, выдюжу, стану опять собою. Поделится с Витей. Он стал балагурить:

— Возьми мою! Че!.. Сло!.. Валяй-бери-грабь фамилию! Нет, ты только представь! Вдруг учудю и женюсь. И вдруг стишок в печати: «Виктор Закаморный». Скажу: «Видала?»

Шутка шуткой, а мысль эта всерьез запала ему в голову. И в час расставания Витя взял с меня честное слово, что воспользуюсь именно фамилией Закаморный. Переехав в Ленинград, целый год печатался под этим псевдонимом.

Корыто и сюрреализм

Сорок лет спустя сидел на Петроградской стороне в гостях у Геннадия Гора, вспоминали товарищей тех времен. Рассматривал картины, которыми увешаны стены до потолка. Наталья Акимовна угощала нас чаем со всякими вкусностями. А перед внутренним взором стояли... корыто и сюрреализм, стояла судьба самого Гора.

До чего плохими мы оказались пророками! Влюбился Геннадий в соседскую домработницу и объявил нам: женюсь! Как мы, я и Борька Лихарев (который в то время жил у меня, сбежав от своей легкомысленной Вали, и считал себя опытным сердцеведом) — как мы отговаривали его! «С ума сошел! Ничего хорошего из этого брака не выйдет! Ты знаток Жана Кокто, Матисса и Кирико! И рядом с тобой — жена, которая читать не умеет! Какая она тебе подруга жизни! Через неделю разойдетесь! Да и кормить ее тебе нечем! Когда-то еще рассказы начнут денежки приносить!» Напрасные уговоры. Женился.

Я нет-нет да забредал к нему в снятую им комнату на Васильевском острове. На стенах репродукции сюрреалистов, в углу над корытом клубы пара: Наташа брала стирку, зарабатывала на жизнь. Геннадий учился в аспирантуре, да разве проживешь на стипендию в сорок рублей? Рядом с корытом — дощатый стол, за которым Геннадий писал рассказы, неторопливо отделявая каждую фразу. Когда я заявлялся, его жена ставила перед нами два стакана чая и отходила к корыту, время от времени устремляясь к стоявшей в другом углу колыбели, едва из нее доносилось требовательное «кхы... кхы...». Мы спорили о современном искусстве. Оценил тогда ум и тактичность его молодой жены: не вмешивалась в разговоры! С ликбеза, ликвидации неграмотности, началась их совместная жизнь.

Сколько семей за эти сорок лет развалилось! А Горы прожили долгую полную жизнь, Наташа стала Натальей Акимовной, прекрасной хозяйкой, матерью, бабушкой и, главное, образованной собеседницей. Чего только не сделает любовь!

Геннадия Гора знают главным образом как автора философских научно-фантастических повестей и романов, но мало кому известно, что он страстный любитель современной живописи: его домашнее собрание картин и акварелей — целый музей, в котором есть Петров-Водкин, Филонов!

И есть Панков, самобытный художник — охотник-ненец, погибший (разведчик и снайпер) в 1944 году в Северной Норвегии, когда наши войска выбивали оттуда гитлеровцев.

Любовь к живописи и северу связала Гора с Панковым (Гор — сибиряк, родился и провел детство в Баргузине). Панков меня поразил: полное слияние художника с народом и с природой¹ Это сочетание удивило меня и заставило задуматься, когда в 1929 году именно здесь, недалеко от Рыбачьего, услышал песню-импровизацию киргиза-старика.

Было так: нанялся я помогать Терентьичу, собирателю лекарственных растений, вместе бродили вокруг Иссык-Куля, то забираясь высоко в горы, то спускаясь к озеру. Однажды разложили костерок у какой-то канавы, заросшей лопухами и дикой морковью. Как всегда, Терентьич затеял готовить борщ: делал его из дикорастущих трав, кореньев и дикого же лука, известных ему одному. Лучшего борща не едал! Так вот, сварганил борщ, вытащил из мешка деревянные ложки. Хлеб купил я за два дня до того, проходя краем какого-то села.

Тут-то к нам и подъехал на иноходце старик киргиз, с Терентьичем обнялись: давние знакомые. К седлу иноходца приторочены два чанача кумыса: один чанач киргиз отвязал и поставил на нашу домотканую скатерку.

После ужина за разговором Терентьич спросил его, откуда взялась эта канава. Вместо ответа киргиз извлек из переметной сумы комуз с узким грифом и, ударив по струнам, стал рассказывать, запел, перешел опять на рассказ. Меня поразил ритм его импровизации: ни до, ни после такого не слышал. Закончив, сказитель снисходительно согласился мне продиктовать свою импровизацию. С помощью Терентьича, свободно говорившего по-киргизски, записал. Захватил ее с собой, вкладываю в письмо. Вот отрывок из нее:

«... Мы приехали к Кашкару и увидели семь тысяч оседланных коней. Покачиваясь на лошадках, слушали слова Кырбаш-батыра, что за сильный был человек! «Знаете ли вы меня?» — спросил Кырбаш. И все ответили: «Знаем, это ты отбил зимой у китайцев нашу скотину!» А Кырбаш поднял руку и запел:

«Я горче полыни!

Я бешен, и меня не остановить натянутой веревкой! Я — смолистый черный сук, руби топором — не перерубишь!

Э-эй! Слышите ли вы меня?!

Я родился от матери черным, будешь мыть мылом — и тогда не побелею!

Я тяжелее верблюда-мерина, лошадью меня не стянешь с места!

Э-эй! Хорошо ли вы слышите меня?
О, бурый широковынный манекерь мой с
копытами в обхват!
Ты гулял в табуне и никому не давал оседлать
тебя!
Ты говорил: раньше, чем батыр сядет на меня,
пусть подымет меня за хвост!
Вчера я поднял его за хвост!
Э-эй! Слышите ли вы ржание моего жеребчика?
Мясистая шея его как колыбель!
Челка как размотанный шелк!
Красив конь как бархат, что продают на базаре!
Э-эй! Солдаты ак-падшаха!
Или ваши уши заложила золотуха, что идете
против меня!
Или ваши руки раззудила чесотка, что не
сидится вам на месте?!
Или ваши головы помутило солнце, что
бросаетесь бы, как голодные хорьки, на наши
аилы! Э-эй!..»

Так пел Кырбаш, и мы кричали от радости. Тут
выехал вперед на желто-саврасом бегунце Умметалы,
такой старый, что десны коренных зубов стерлись, а
нижняя губа отвисла, а он подвязывал ее шерстяным
платком. Кырбыш поднес ему чашку бузы, почки старика
согрелись, и он начал песню, тряся головой, моргая
глазами, скрипя как телега:

Ты, Кырбыш, стреляешь из лука всеми десятью
пальцами!
Но не говори, что силен, нарвешься на
сильного.
Но не говори, что хитер, нарвешься на хитрого.
Раньше дуба я вырос, раньше ели: ударит ли
ураган в мою голову — не содрогнусь!
Это я ездил на манекере, кормившемся
васильками, с хвостом, умещавшимся в горсти
человека!
И теперь это я пою, слушайте!
Если лошадь упадет в колодец, лягушка
попляшет на ее ушах.
Если солдаты захлебнутся в воде, рыбы будут
плавать под мышками...

Мы удивились, что он такое поет. Умметалы повернул коня на восход: «Что вы в той стороне видите?» Мы посмотрели — ничего там нет, только покачивается иссык-кульская вода, только висит солнце над озером. И мы ответили: «Ничего в той стороне не видим, ни одна уточка не плещется в камышах». Умметалы повернул коня к закату и спросил: «Что вы слышите в той стороне?» Мы стали слушать — ничего не слышно, только трава шелестит от ветра, только река Чу ревет в ущелье, как раненая медведица. И мы ответили: «Ничего в той стороне не слышим, прямо удивительно тихо как!»

Тогда Умметалы закричал: «О, слепые! Разве на восходе иссык-кульская вода не стоит до неба?» — «Это правда, там вода до неба». — «О глухие! Разве на закате не кричит чуйская вода, бросаясь на скалы, уплывая к Пишпеку?» — «Твоя правда — там кричит вода». И Умметалы запел опять: он пел, чтобы мы взяли в руки кетмени и прорыли канаву: потечет тогда иссык-кульская вода в Чу, затопит ак-падшаха, и всех генералов, и еще тысячу сел. Обрадовались мы.

Но Кырбаш засмеялся: «Состарится беркут, превратится в мышелова» — и отъехал в сторону: с ним сары-багыши. Вечером сары-багыши поехали вниз по Боому, громко плакала их боевая труба, и под сердце мое подкатился камень. Где ты теперь, Кырбаш? Череп твой валяется между гор, вода льется через дырки, где раньше смотрели глаза, и осталась только про тебя песня...

Что это? Документальная проза? Да. Но и песня, и эпос, и лирика, полное слияние рассказчика с народом и с природой; все органически соединилось, сплавилось тут. Как у Хлебникова (и как у Панкова). Какие древние и вместе с тем новые горизонты открылись передо мной!

Видишь ли, к великой, я бы сказал величайшей классической прозе, к «прозе характеров» к тому времени поостыл. Образование приучило меня мыслить исторически. Думал тогда примерно так: до восемнадцатого века (если не считать трех-четырех проницательных писателей и философов) люди имели смутные, романтические представления о мотивах, какими человек руководствуется в том или ином случае жизни: психология была землей незнакомой. Какое гигантское поле для открытий гению! За исследование человеческого характера взялись сперва энциклопедисты, потом блестящая плеяда писателей. Отделив

себя от своих героев, поднявшись над ними, они открыли нам новый мир.

Но психология людей меняется неизмеримо медленней, чем общественные формации: письма Сенеки, стихи Катулла будто написаны сегодня. Чем дальше шло великое исследование характеров, тем меньшим делалось для писателя-психолога поле нового, лишь искры открытий оставались на его долю. Понятно, гигантам, ищущим работу себе по плечу, это становилось неинтересным. Великая психологическая школа прозы исчерпывала себя (так думали мы), как когда-то исчерпала себя голландская школа живописи, музыкальная школа эпохи барокко и другие крупные художественные течения. Горький и Бунин были для нас последними великанами этой школы. Лучшую, как теперь понимаю, книгу Горького «Жизнь Клима Самгина» мы уже воспринимали с трудом: чудилось нам что-то знакомое, читанное. Да и писал он, как и Бунин, на темы далекой нам дореволюционной жизни. Мы чувствовали: не случайно новое требовало новой формы!

Какой? Кто из нас мог ответить?! И мы хватались с жадностью за все новое, неслыханное. Явственней всего оно было в поэзии: Хлебников, Маяковский, Цветаева, Пастернак, Багрицкий, Заболоцкий — сколько разных путей! В самом строе их стихов нам чудилось выражение пульса нашей жизни, ее энергии, ритма.

Ну ладно, поэзия... А проза? Беллетристы с бойкостью начали перекладывать, каждый раз по-новому, пасьянс уже открытых до них характеров, обряжая персонажи в другие одежды, перенося в наши условия жизни.

Людям необразованным казалось — на страницах книг появилась когорта современных героев. Между тем талант этих беллетристов, как и труд, большей частью был невелик. И уж конечно, почти никакого отношения к нашей действительности книги их не имели. А сколько пестрело их на прилавках! Вокруг некоторых раздувались шумные дискуссии. Все больше появлялось авторов, о которых можно было сказать словами Жюль Ренара: «Очень известный в прошлом году писатель».

Но разве не было, воскликнешь ты, прозы, выхваченной из гущи событий?! Была, конечно, была. Особенно сильное впечатление произвели на меня тогда «Мятеж» и «Чапаев» Фурманова, «Конармия» Бабеля, «На западном фронте без перемен» Ремарка: авторы в них не отделяли себя от героев, вместе с ними жили, подвергались опасностям, терпели лишения, радовались удачам.

И все же в каждой из этих (даже лучших!) книг чего-нибудь

нам не хватало: в «Мятеже» красок языка, в «Конармии» вмешательства автора в события, у Ремарка идеалов жизни, так необходимых нам в молодости. А главное, книги эти не совпадали с нашей жадой поэтического начала в литературе.

Говорю «мы», «нашей», потому что так думало большинство моих приятелей, хотя у каждого было что добавить к этому и что оспорить.

Нам казалось, что великая литература характеров исчерпала себя. Ты спросишь, как я теперь смотрю на все это? Что ж, скажу: жизнь на поверку куда сложнее, чем любая набрасываемая на нее сетка скороспелых суждений.

Да сейчас и не об этом речь. А о том, что, попавши в глубь Тянь-Шаня, шагнув назад чуть ли не в племенной строй, услышал устную импровизацию, в которой сплелись документальная проза и песня, эпос и лирика, а рассказчик — со своими героями, народом, природой. Шагнуть так далеко назад, чтобы увидеть контуры будущего?!

Но и это — в сторону! Я тебе про другое... Про то, чем стала для меня случайная встреча с киргизом-импровизатором. Мне показалось: увидел свой путь. Сказал себе: «До свиданья, стихи! Здравствуй, проза — прежде всего очерк, из которого попробую высекать искры поэзии!» А жизнь шла так быстро, и мы, сменовцы, столь быстро мужали, что в один прекрасный день поняли: настало время сказать «до свиданья» друг другу. Литературное объединение не просто умерло естественной смертью, как обычно, а специально собралось, чтобы подвести черту под своей деятельностью.

На последнее собрание пришли все и не без чувства грусти проголосовали, подняли руки, чтобы сказать: «Прощай, дом с лепными потолками! Прощай, литературные потасовки, и дружный смех, и сидящая в уголку на кресле Оля Берггольц, конец золотой косы которой лежал если не на полу, так на ее коленях! Прощай, «Смена»! Ты подарила нам много чудесных минут. Мы благодарны тебе, а теперь пойдем каждый своей дорогой». Было это в 1930 году.

26 апреля, раннее утро. Берег Иссык-Куля

Ангелами, влюбленными в литературу, сколько помнится, изобразил тебе в прошлом письме себя и приятелей. Влюблены-то мы были... Но ангелы?! Какое там! Мы хотели жить не как все, а именно потому жили как все: пили, участвовали в буйных проделках. Да и молодость в нас гуляла. Кто в юности не дрался, чтобы подраться: из чистого удовольствия!

Раз летом, часиков в десять вечера, шел я с книжками в руках

по Каменному острову, возвращался со «стрелки», где лежал у воды. Гляжу — драка. Так захотелось размяться, что положил книжки под кустик и встрял сам не знаю на чьей стороне. Милиция!.. Всех забрали. Едва успел подхватить книжечки из-под куста. Дравшихся парней отправили в ближайший район милиции. Мой же дом далеко — на Литейном, наше 5-е отделение и того дальше — на Лиговке. А в тот год завели в Ленинграде моду препровождать хулиганов в отделение по месту жительства, чтоб видно было, у кого сколько приводов.

Ну, дежурный милиционер и довел меня до следующего постового, сказал «за что», тот до следующего... Постовые передавали меня из рук в руки по всей улице Красных Зорь (как назывался Кировский проспект), через мост и Марсово поле, мимо Инженерного замка и цирка, на Литейный... А «за что» превратилось в общеизвестную игру «испорченный телефон»: мало-помалу я сделался чуть ли не «зачинщиком драки», откуда ни возмись в руках у меня объявился кастет, который потом-де «вышвырнул в Невку»... Попытался поправлять милиционеров, но это только ухудшало мое положение, и я умолк, покоровшись судьбе.

И судьба выручила меня! Недалеко от дома попал в руки постового, знавшего меня в лицо, помнившего, что я — один из тех, кто незадолго до того, по заданию редакции, ходил с участковым по району. Так или иначе милиционер проводил меня до моих ворот и пожелал доброй ночи.

Пишу и остро чувствую, что со мной, с тем драчуном, ты бы не подружилась. Не понравился бы тебе. А думаешь, сам себе нравлюсь — тот? Но неужели себя тогдашнего должен изображать сахарным барашком? Все было! И «божье» — любовь к слову, и «рожье» — беготня за заработком, розыгрыши (порой дикие!), те нелепые шутки, про какие в Узбекистане говорят: «Верблюд в шутку съел поле хлопчатника».

Руководил я литературной группой в Ленинградском коммунистическом институте журналистики, и однажды мой кружковец привес из библиотеки книгу «Социалистический земледельческий календарь за 1919 год». Вот что тогда выписал в свой дневник, напечатанное жирным шрифтом: «Бюрократизм в советском управлении Россией уничтожен. Такого сотрудника комиссариата, который вздумал бы по-старому писать бумагу тогда, когда можно сказать на словах, немедленно выгонят!» Первая пятилетка обязывала нас жить на этой революционной волне.

Ну и старались так жить. Я писал очерки, пытаюсь высекать

искры поэзия. Руководил еще двумя литературными группами на обувных фабриках «Пролетарская победа» и «Ленинская победа». Работал, кроме того, редактором радиоцентра: зарабатывал на хлеб. Меня обступили заботы: родился сын, тяжело заболела Таня. Потом оба — жена и сын умерли. И в «слезу», где еще раньше выхлопотал квартиру для них, въехал уже бобылем.

«Слезой социализма» (сокращенно «слезой») величали жильцы новый пятиэтажный дом на улице Рубинштейна. Предназначен был для инженерно-технических работников (ИТР) и писателей. Задумали его как опыт строительства социалистической жизни. Кухни строить в квартирах? Боже упаси! Индивидуализм! Правда, одну на всех, кажется на третьем этаже, сделали на «аварийные случаи жизни» — именины вдруг или гости, одним словом, на «пережитки». А так завтраки, обеды, ужины — на первом этаже по талонам в коллективной столовой. Дежурить — по очереди, тарелки мыть тоже по очереди... Воспитание людей в духе коллективизма!

Эх, открыть бы в доме этом филиал исторического музея! Водить экскурсии: мол, вот как ошибались люди! Нет, не будет музея! Заглянул недавно в «слезу». Не выдержали жильцы! Перегородили коридоры: построили кухоньки, хоть темные, да свои! Детский сад в помещении бывшей столовой — единственное живое наследство социалистической фантазии архитекторов.

Что-что, а фантазерами — это да! — были! Пришел ко мне в «слезу» Левка Канторович, молодой художник, увлекавшийся функциональной раскраской: «Давай распишу!» Перед тем раскрасил стены и потолки в лечебнице для душевнобольных на Васильевском острове, выбирая цвета и оттенки, какие «согласно новейшей науке должны были успокаивать психику».

Отвел ему для эксперимента одну из двух моих комнатенок: «Малюй!» Ну и размалевал. Потолок черный, и мельчайшие белые точки, как звездная пыль: «чтобы высота казалась бездонной!» Ну и смеялись же все! Зато одно Левкино изобретение всех покорило: внутренний переплет наружной рамы и простенок между окнами выкрасил в ярко-яичный цвет. Даже в самые пасмурные питерские деньки казалось — в комнату заглянуло солнце! И все же я предпочитал жить и работать в нетронутой «гением» Левки комнатке-крохотуле, где умещались только койка и стол. Как-то уютней без звездной пыли над головой.

Левка, Левка!.. Мечтатель и работяга, участник ледовых походов на «Сибирякове» и «Челюскине», он погиб в начале войны от пули финского снайпера-«кукушки».

«Вот пуля просвистела, вот пуля просвистела, вот пуля просвистела, и падает Фома...» Сколько раз ко мне в «слезу» заскакивал Боря Корнилов! Написаны новые стихи, не сидится на месте, всем приятелям надо прочесть! Волосы на пробор,

татарский прищур глаз, с наплывшими на них веками, порывистый ритм, окрашенный волжским говорком: «Ох, давно не виделись, чертовы куклы, мы, — посидеть бы вместе, покурить махры, — вспомнить, между прочим, что были мы пухлыми мальчиками с пальчиками — не хухры-мухры...»

Оля Берггольц к тому времени уже ушла от него и поселилась в «слезе». Кто из нас мог подумать тогда, до чего высоко поднимется она как поэт. Испытав жестокие удары судьбы, похоронив близких, она обрела такой безыскусственный сильный и чистый голос, который стал живым голосом ленинградской блокады и покорила всю страну.

А Бориса видел совсем незадолго до его смерти. Захожу как-то в большой Мосторг на Петровке, натыкаюсь на него: вышитая рубашечка, крученный поясок с кистями. Обрадовался мне, ткнул пальцем в живот: «Помоги рубаху купить!» Выбрали ему очередную украинскую рубашечку по сердцу. На прощанье расцеловались. Оказалось, навсегда.

Вспомнилось... Году в тридцать втором забрели мы с Борисом в Александро-Невскую лавру. Ходили, глазели. В лазаревской усыпальнице читали надписи на могильных плитах осмнадцатого столетия. Одну надпись (специально зашел в Лавру) списал: «Здесь покоится прах раба Божия корнета лейб-гвардии Уланского полка князя Платона Дадияна, внука Кации, владетеля Мингрелии, и Симона, владетеля Гурии... Сын нежный, друг верный, воин храбрый, соединял доблесть мужа с кротостью юности. Прохожий! Соедини слезы с молитвою...» и т. д.

Этот «прохожий» тогда рассмешил нас с Борисом. Какой может быть прохожий внутри маленькой часовни! И на некоторых других могилах военных, похороненных в Лавре, та же смесь риторики и сантимента. Напоследок заглянули мы с Борисом в Боровичскую церковь Лавры. Среди плит на полу белела мраморная: «Суворов». Не нужно перечислять ни заслуг, ни медалей, ни чинов, ни орденов. Все сказано именем! Молча постояли. Потом Борис сказал:

— Вот так лежать...

Не пришлось. Некуда плиту положить. Но том стихов в большой серии «Библиотеки поэта» почище этой плиты. «Что ты заводишь песню военную флейте подобно, милый снегирь...» Осмнадцатый век, Державин, строка, которую Корнилов очень любил и которую прочел вслух, когда в тот день выходили из Лавры.

Сегодняшний день провел здесь... Отдыхали бы тут с тобой — купили бы акваланги и ласты, отправлялись бы на подводные прогулки. Интересно, какая походка была бы у тебя под водой? В Иссык-Куле ее можно было бы издали разглядеть: так прозрачна вода.

Знаешь, расскажу тебе вот что... Более подходящее место вряд ли найдется, ведь Иссык-Куль — это естественная, созданная природой физиотерапевтическая лечебница. А пять десятков лет назад здесь гуляли эпидемии оспы, холеры и тифа: кожные болезни, трахома и малярия были обычны. И единственный практиковавший до революции на Иссык-Куле, в Пржевальске, врач писал: что «... киргизам лечебной помощи и не надобно, ибо кочевой образ жизни спасает их от грязи, а ежели по собственному нерадению они и подвергают себя болезням, на то у них искусно владеющие киргизской медициной бакши существуют».

Я видел бакши еще в 1929 году, и вот тебе о них мой рассказ.

Укротитель джинов

Очаг топился конским пометом. Трехлетняя девочка таскала по юрте на толстом аркане кошку, уже смирившуюся с ролью куклы и мгновенно засыпавшую, едва веревка на шее ослабевала. Поглядывая в кастрюлю, стоявшую на треножнике, мы молчали. Мы — это «витаминная тройка». В кое-каких горных местностях Киргизии кочевники никогда прежде не видали фруктов и овощей. Питались мясом, молоком, изредка пользовались мукой и солью. Это было причиной некоторых болезней.

Желая покончить с этим, летом 1929 года надумали отправить в горы «витаминные тройки», в каждой — агитатор, повар и овощевод. Делом нашего повара, Александра Ивановича, было устраивать местным жителям угощение из овощных блюд, такое, чтобы понравилось и захотелось готовить самим. Мне, агитатору, вменялось в обязанность пропагандировать витамины. Третьим у нас был огородник Костя: он возил мешочки с семенами овощей, годных для высокогорного земледелия, и обучал киргизов выращивать огурцы, капусту, редиску, морковь.

В то утро, о котором речь, Кости с нами не было. Засветло ускакал за врачом. В углу юрты на ветхом ситцевом одеяле лежал больной комсомолец Урлакан. Всю ночь метался в бреду, под утро очнулся, позвал мать, увидел круги усталости под ее глазами, ничего не сказал и отвернулся. Потом вновь потерял сознание.

Ждали сразу врача и знахаря. Лечебно-санитарный караван двигался где-то по долине Джумгала — в сотне километров отсюда, и было ясно, что врач приедет не раньше вечера. Знахаря же, несмотря на наши отговоры, пригласили родители больного.

Этот известный бакши, носивший необычайно пышное имя Кулмамбет Ашымбай Есенджан Туре-гельды Ходжаев, жил неподалеку; за хребтом. И мы скоро услышали стук копыт его лошади. Пожилой, с насурмленными глазами и лицом, изрытым «желтым цветком» (оспою), бакши соскочил с коня, вынул из переметной сумы связку колокольчиков, прямой нож — ханджар, рукоятка которого была увешана пестрыми тряпочками, головной убор, весь в бубенцах, и многое другое.

Откинув с двери войлочную кошму, знахарь нагнулся и перешагнул порог юрты. Комсомольцу было хуже, порывисто дышал, хватался за грудь. Бакши уверенно подошел к Урлакану, пощупал пульс, потом осторожно, двумя пальцами вытянул его белый пересохший язык и покачал головой.

— Плохо, — сказал он по-киргизски и взял в руки комуз.

Жужжащие звуки струн полетели вдоль войлочных стен юрты, они как бы кружились, поднимаясь все выше, и вдруг на полутоне оборвались. Недоконченность мелодии, ее невысказанность томила, даже мы, сторонние люди, почувствовали своего рода озноб.

По приказанию знахаря родичи привели лошадь и барана, привязали с двух сторон юрты и просунули кончики веревочек внутрь. На этом приготовления были закончены. Тогда бакши опять схватил в руки комуз и заиграл угрожающую мелодию коркутуу.

Чистый, вибрирующий, сливающийся с говором комуза, голос знахаря вдруг вынырнул среди струн, он был едва слышен, потом усилился и перекрыл звучание инструмента: музыка превратилась в аккомпанемент. Бакши запел с легким присвистом песню, в которой угрожал злым джиннам Куленгера, засевшим в теле больного:

Куленгер, Куленгер, долговязый Куленгер!
Я сломаю твой шатер, налетев, как храбрый воин!
О, выходи же по дуновенью Сулеймана!

Знахарь качнул шеей, перья головного убора рассекли воздух, шарик покатился в щели бубенца.

... О насекомое с верблюжьей головой!
Я заставлю тебя выйти, не шути со мной!
И не терзай бедного больного!

Догадывались суеверные кочевники по поведению знахаря, что происходит: сидели в животе Урлакана джинны, выпуча глаза. Ладно! Не то еще будет.

... О, если я рассержусь, напущу морозу и снегу!
Окружу тебя лебедою и солянкою!
Огорожу тебя колючкой и отстегаю мятой!
О, выходи же, пока не поздно, по дуновенью Сулеймана!

— Берегись! — нечеловеческий крик разодрал юрту. Рванулись у всех, сжались сердца. Ударил бакши в кожаный бубен, увешанный амулетами, и вскочил на ноги. Явился джинн Ергобень! Схватил бакши плетъ и начал наносить удары невидимому Ергобеню. Острый кончик плети извивался в

воздухе, разнося по юрте звонкие щелчки. Не выдержал Ергобень? Видно, больно ему стало! Выпрыгнул он через верхнее отверстие юрты! А на выручку ему летит джинн Козбембет! Он несется в синей повозке на высоте пяти пик!

— Берегись!.. — Рокот колокольцев покатился Козбембету навстречу, заглянул он внутрь юрты, смотрит: сабля описывает круги над очагом, огнем горит лезвие. «Ладно, — думает, — полечу-ка я лучше домой, раз такой искусный бакши в этой юрте...»

Слушали родичи больного, догадывались по разговорам и выкрикам знахаря, что происходит, бледнели от страха. Сидели в животе Урлакана джинны, выглядывали из-за печени, еле переводя дух. Ладно! Не то еще будет! Схватил бакши ханджар, сжал пальцами рукоятку. Затрепетали тряпочки, заколотились колокольчики.

Медленно стал бакши наклоняться, нацеливаясь ножом в живот комсомольца. Тишина заполнила юрту, переливаясь через край. Дыхание остановилось в гортанях. Заговорил знахарь глухим голосом:

— О мухоротая змея величиной с остов юрты, ну тяни!..

Тонкий свист покрыл конец фразы. Кольнул ханджар в обнаженную полоску живота.

— Ай, как джинны в голову побежали!.. О, сивая змея, толщиной с дверной порог, ну, тяни!..

Кольнул ханджар в бледный висок.

— Ай, как джинны в живот побежали! Не уйдут джинны — помирать Урлакан будет, я говорю!

И стремительно начал бакши колоть комсомольца ханджаром в живот, в грудь, в ноги, в голову, в руки: это значит, заматались внутри Урлакана джинны. В бешеной пляске носилась рука с ножом, прикасаясь к телу больного. Свист вырывался из посиневших от напряжения губ знахаря, разрастаясь сильнее и сильнее, холодной струею обтекая потные тела сидящих.

Лежал комсомолец, хрипя и корчась.

— Гайда!.. Гайда!.. — плюнул знахарь в глаза ему. — Берегись!

Судорожно выпрямился бакши и ударил в кожаный бубен. Бросился бакши к двери, загородив ее своим туловищем. Размахнулся бакши ханджаром. Ударил бакши в бубен еще раз... Это значит, испугались джинны и выскочили через рот из тела больного. Это значит, заматались джинны по юрте в поисках выхода... Но разве может такой знаменитый бакши упустить джинов!

— Это я, Кульмамбет Ашымбай Есенджан Туре-гельды

Ходжаев, который во дворце Сулеймана был! Это я, который стрелы врагов, как боорсаки, ртом глотал! Это я, бакши, имя которого от Аксая до Иссык-Куля как ветер носится!.. Гайда, гайда! Смотри, как один джинн по веревочке в рот иноходца влезает! Ай, джакши! Не будет больше тревожить больного. Гайда, гайда! Гляди, как второй джинн по веревочке в рот барана влезает. Джуда джакши!

Завертелся бакши на месте, глухо прозвенел бубен, колесом знахарь прошел по юрте, нагнулся и вдруг — вот ведь, оказался еще и акробатом — не выскочил, нет, а словно бы на крыльях вылетел в дверь.

Тишина глухая и торжественная наполнила юрту. Никто не смел пальцем пошевелить. Прошла минута... В двери появился бакши, спокойно вошел и стал собирать свои вещи. Тут только все почувствовали, как затекли поясницы, как болят шеи и ноют колени. Родичи Урлакана встали, начали разминаться, и все сразу заговорили громкими голосами. Они благодарили знахаря и удивлялись его умению. Они вышли вслед за ним из юрты и столпились вокруг его коня. Знахарь неспешно отвязал от юрты лошадь и барана, подвел их к своему иноходцу. Широко расступились люди перед «погаными» животными, внутри которых — это всем было ясно — сидели джинны. Кивнул бакши на животных:

— Поведу джиннов во дворец Сулеймана! Пусть посадит их на цепь!

Отец Урлакана поклонился знахарю. Мать стояла в двери юрты, утирая глаза рукавом. Бакши уехал, угоняя животных. Глядя вслед ему, Александр Иванович, наш повар, подморгнул мне:

— Дворец Сулеймана, знаешь где, — на атбашинском базаре.

К вечеру того же дня прискакал врач. И вот что интересно: родители Урлакана обрадовались ему не меньше, чем знахарю. Хоть такое сравнение теперь и странно звучит, хоть и не слишком уважительно по отношению к врачам, но тогда оно свидетельствовало об успехах советской медицины. Ведь новое обычно пробивается трудно. А старое... Говорили же прежде в Киргизии: «Каким бы горьким ни было то, к чему ты привык, отними его у тебя, и оно покажется тебе слаще яблока, слаще меда, таким сладким, как если бы ты с сахаром, урюком и конфетами пил вкусный чай ценою в десять рублей фунт».

Не знаю, выздоровел ли комсомолец Урлакан: в тот же вечер наша «витаминная тройка» двинулась дальше из долины в долину и уже не возвратилась в этот аил.

У этого рассказа есть еще один конец совсем из другой

ЖИЗНИ, ВОТ ОН:

Н. Тихонов — не за столом

Я напечатал рассказ в 1930 году в журнале «Звезда». Редактором «Звезды» был Николай Семенович Тихонов. Редакция находилась в Ленинграде, на Невском, в Доме книги. На всю жизнь запомнил урок, который дал мне тогда Николай Семенович.

Он никогда не принимал авторов в кресле за редакционным столом, чтобы не создавать обстановки официальности, а сидел на подоконнике, сидел боком, по-кавалерийски, будто под ним седло, сидел сухощавый, подтянутый, попыхивал трубочкой и разговаривал. Рукописи он читал дома. Когда автор приходил за ответом, прежде всего говорил «беру» или возвращал рукопись: если возвращал — объяснял почему, если «беру» — протягивал ее, испещренную пометками, чтобы автор у себя дома внимательно ее перечел в свете замечаний.

Ты спросишь нетерпеливо: «А в чем же урок?» Погоди, не торопись, урок вот в чем... Когда автор, прочтя рукопись с пометками, возвращал ее в редакцию с исправлениями, Николай Семенович больше в нее не заглядывал, а отправлял в типографию так, как порешил автор — все равно принял или не принял тот его предложения. Он отлично понимал: можно дать совет, но нельзя научить им воспользоваться. А главное... Нельзя, чтобы автор (в особенности молодой) потерял веру в себя.

Пусть читатель поверчит, что не все гладко, лишь бы у автора, сбитого с толку, не появилась капля отвращения к собственному труду, которая, однажды родившись, никогда не даст ему создать ничего значительного. Молодой автор должен верить в себя, в муках находить каждое слово, единственное, неповторимое. Тогда есть надежда, что пройдет время — труха осыплется, и вычеканится мастерство. Других путей к нему нет. А уж получится ли из молодого автора мастер или не получится — это, как говорится, дело его личной биографии.

Тихонов опубликовал в «Звезде» три моих киргизских рассказа. В них было, теперь вижу, много чрезмерностей, взять хотя бы такие фразы из «Укротителя джиннов»: «Пузырьки недоконченных звуков громко лопались в тишине, наполняя юрту тягостным желанием», или: «Яд заливал его ребра. Мысли его не могли прорваться сквозь тесную марлю сознания». Или; «Громко, как средневековые пушки, палили сердца». Плохо? Еще бы. Напыщенно. Тихонов увидел это и подчеркнул. Я не принял, а теперь стыдно читать.

Еще со школьной скамьи в Ташкенте помню простенький физический опыт. Наливаешь воду в стакан, бросаешь соль — щепотку за щепоткой, размешивая. Соль растворяется, раствор насыщен. Последняя крохотная щепотка! И вся соль в стакане на твоих глазах превращается в кристаллы.

Не так ли и мы... Живем, вбираем в себя все, что можно вместить, перебегаем от одной дневной заботы к другой, от одного увлечения к бесчисленным другим, и при этом ведь не думаем: мол, «накапливаю жизненный опыт!». Из-за вороха дел, встреч и болтовни, надежд, радостей и обид — целого не видишь. Но наступает день — последняя щепоть! — и все накопленное вдруг начинает кристаллизоваться.

Сколько моих друзей и знакомых, не успев сверкнуть, сгорели как метеоры! Немногие добираются до вершины того, что могут сделать. В юности время не ставишь ни в грош. Инстинктивная вера в собственное бессмертие да погоня за романтическими видениями давали нам возможность прожигать дни, запас их, казалось, неисчерпаем.

Впрочем, сделайся в сто раз мудрей, пока жив, все равно будешь гнаться за романтическими видениями. Вот и сейчас стоит перед глазами, не дает мне покоя воспоминание о другом друге, Мише Лоскутове, талантливом писателе, влюбленном в Среднюю Азию, погибшем в Отечественную войну. Гонясь за романтическими видениями, он проделывал своеобразные опыты. Вот хотя бы...

Было, если память не изменяет, в 1934 году. Миша вместе со своей Леной прикатили в Одессу. Остановились в «Красной» гостинице.

За столиком ресторана Мишка разговорился с профессором-психиатром. В Мишкином сердце жил журнализм: любил все испытывать сам. Упросил профессора, чтобы тот денька на три положил его в лечебницу как психа. Условился, чтоб никто из персонала не знал. Заманчиво побывать в чужой шкуре. Хотел написать очерк для «Наших достижений», основанного Горьким журнала, в котором сотрудничал Миша. Прошло несколько дней.

Впечатлений с три короба. Пора обратно в «Красную» к Лене. Просит сказать профессору: больной спрашивает его. Обнаружилось: профессора нежданно-негаданно вызвали в Москву, улетел. Вместо него пришел врач:

— Хорошо, больной, выпишем.

Подождал с полчаса, опять вызывает врача:

— Понимаете ли, я сюда сам, собственной волей. Захотелось жизнь поглядеть. Я писатель...

— Хорошая профессия, — одобрил врач.

— Не верите? Можете справиться...

— Боже меня сохрани не верить. Я верю всем больным. Сейчас выпишем. Ждите спокойненько.

Еще час, и два, и четыре... Мишка заволновался. Начал уже другому врачу (тот сменился) объяснять, как вышло дело. Добро бы врач опровергал! Нет! Со всем соглашался! Мишка понял: скажи даже, что он прилетел с Сатурна, или что он троюродная тетка Ричарда Львиное Сердце — врач не станет возражать. Тетка так тетка! Выписать? Пожалуйста! Только чуточку подождать! Самую малость!

Миша не выдержал, разорался. Санитары тут как тут: перевели в «буйное». Там нагляделся и натерпелся столько, что пришлось помалкивать: авось профессор в Москве вспомнит о нем. Не вспомнил. Видно, здорово заморочили ему голову в наркомате! Вспомнила, забеспокоилась Лена. Отправилась в лечебницу, терпеливо объяснила: муж на самом деле журналист!

Врач ей втолковывал: родственники часто стараются вызволить близких, а оборачивается это бедой. Рассказал о течении болезни: какие грозные симптомы в последние дни! В конце концов под личную ответственность (Лена дала подписку) выпустил Мишку, но Лену так запугал, что уже в гостинице она всю ночь не могла сомкнуть глаз: нет-нет, взглянет на Мишку, а вдруг и впрямь псих!

Сижу на камне. Машинка на коленях. От мокрых скал идет пар — только недавно отсюда ушло облако. Солнце такое сильное, что приходится сидеть к нему спиной: сидел бы лицом — письмо могло бы мне стоить ожога. В стороне грязные полосы обледеневшего снега, от них поддувает холодом. Из-за ближней гряды гор выступают далекие вершины, одетые в снежные мантии. Едва слышится пение альпийского жаворонка, серебристое, как снег. Вот и решил с тобой поговорить здесь. А то вернусь в Пржевальск, окунусь в тишину теплого вечера, и мягкость воздуха, его ласковость не дадут мне досказать все, о чем хочется сейчас написать.

Перевал, где я сейчас, называется Санташ — Считанный камень. Так именуют здесь и холодный восточный ветер, который дует с этого перевала на Иссык-Куль.

Вот он передо мной — высокий холм из камней. Знай же: это не холм, а памятник, его камни ведут печальный счет. Рассказывают: когда Тимур шел в поход на горцев-язычников, он повелел каждому воину взять в руки камень и положить в кучу. Выросла большая гора. На обратном пути, возвращаясь с победой, воины Тимура сняли по камню и унесли с собой в Самарканд. Прошел последний воин, а гора осталась: остались камни убитых в походе. Так погибшие сами сложили себе памятник.

Есть на свете наследники Тимура, ищущие себе славы на путях войны. Презрительная киргизская поговорка говорит о них: «Если не сумел прославиться, подожги землю».

Сегодня с утра ехал рейсовым автобусом вдоль Иссык-Куля; когда дорога подходила к самому берегу, рядом по озеру бежало отражение солнца — вытягивающееся в струну на волнах, круглое и ослепительное между ними; потом, по долине, изрезанной холмами и ручьями, катили сквозь черноту пашен, побродил по Пржевальску, взял такси и приехал сюда. Сговорился с шофером грузовичка сыроваренного заводика «Санташ», что прихватит меня вечером в Пржевальск, отпустил такси, а сам по горной дороге поднялся на перевал.

Но прежде чем рассказать тебе, что меня сюда привело, послушай об Отчаянном тигре.

«Отчаянный тигр»

Было это в шестидесятых годах прошлого века. В Китае, в трех западных провинциях (Шэньси, Ганьсу и Нинся) вспыхнуло восстание дунган: по-китайски «чжун-юань-жень» — «жителей срединной равнины». Не стану рассказывать тебе о ходе дунганского восстания: все равно «огонь в бумагу не завернешь» — на двух страничках не передашь всю силу страстей, остроту, трагичность и сложность этой многолетней борьбы. Расскажу только о последней странице дунганского восстания, когда Китай услышал имя Бый Яньху: Бый — родовая фамилия, Яньху — прозвище, означающее «Отчаянный тигр».

«Человек рождается от матери, а погибает за народ!» Горделивые слова эти произнес Бый Яньху, бросаясь в одну из битв. Верил ли он в победу, сказать трудно. Восстание — нам-то теперь это ясно — в то время было уже обречено: армии богдыхана почти в сто раз превосходили силы повстанцев. После ряда удач Бый Яньху потерпел сокрушительное поражение, крестьяне из его шэньсийских отрядов стали разбегаться по домам, а сам Отчаянный тигр, отступая и сражаясь вместе с несколькими тысячами человек, каждому из которых вместе с их женами и детьми грозили пытки и казнь, в конце концов очутился в Синьцзяни у подножий Тянь-Шаня.

Беглецы направились было в Кашгар, к правителю Якуб-беку, обещавшему им приют. Но в пути Бый Яньху узнал, что Якуб-бек намерен выдать его голову богдыхану за двести тысяч лан серебра: такова была цена, назначенная за голову Отчаянного тигра, неслыханная даже для Китая. Богдыхану все еще чудился пожар крестьянского мятежа, и он страшился побежденного вождя восставших. Положение беглецов казалось безвыходным. Стояла зима. Бый Яньху и его сподвижники очутились в замкнутом треугольнике: с одной стороны — месть, с другой — предательство, с третьей — белая смерть: ледяная цепь тянь-шаньских хребтов, непроходимых зимой.

И Отчаянный тигр решил на то, на что до него никто не решался: перевалить с товарищами, их женами и детьми через зимний Тянь-Шань. И это удалось, правда, какую ценой!

Когда дунгане появились в Иссык-Кульской, а затем и в Чуйской долинах, одежда их, как шерсть на овцах, висела клочьями, почти все были истощены и тяжело больны, многие не дошли, умерли на ледниках Тянь-Шаня, погибли от морозов, от голода, были погребены лавинами. Те же, что дошли, тоже, вероятно, поумирали бы, если бы не традиционное

гостеприимство киргизов, если бы не сердечная помощь русских. В лагерь дунган сразу приехали доктор Поярков и фельдшер Василий Фрунзе, они организовали спасательные экспедиции в горы, вывезли оттуда и вылечили сотни людей.

Едва дунгане очутились в пределах России, богдыхан потребовал у царского правительства выдачи Бый Яньху. Добиться этого не удалось. Богдыхан не успокоился: в Чуйскую долину, где Бый Яньху поселился, то и дело пробирались охотники за головой дунганского вождя. Друзья зорко оберегали Отчаянного тигра, который мирно крестьянствовал, мотыгой пускал воду в оросительные каналы, выращивал рис. Глядя на этого труженика, многие со стороны и не подозревали, какую борьбу ему и его друзьям приходится ежедневно вести.

Вся острота ее обнаружилась спустя несколько лет, когда Бый Яньху умер: было это в августе 1882 года. Наутро после похорон могила Бый Яньху на кладбище была разрыта, возле нее валялось деревянное чучело: лазутчики богдыхана охотились даже за мертвой головой легендарного героя, но его предусмотрительные друзья вместо покойника похоронили деревянный чурбан. А сам Бый Яньху был похоронен в другом месте. Где? Осталось тайной.

К чему я это тебе? К тому, что возле Санташа, памятника недоброго прошлого, прославляющего войну, а не мир, ненависть, а не дружбу, я бы теперь в противовес ему поставил наш памятник: доктор Поярков и фельдшер Фрунзе, склонившиеся над больным китайским повстанцем. Человек, оказывающий помощь человеку, — в этом дух, смысл и цель нашей жизни: то, на чем воспитались и чему отдали свои жизни сын фельдшера Фрунзе и его друзья, надо ли тебе их называть.

Говорю об этом столь серьезно, потому что и повод серьезен.

Известно ли тебе, что по ту сторону границы китайцы с величайшей помпой и речами воздвигали памятник — кому бы ты думала? — Чингизу. Мы, среднеазиаты, лучше, чем кто-либо, помним, кто такой Чингиз.

Далеко не все знают, что бурный расцвет культуры, своего рода эпоха Возрождения началась в Средней Азии гораздо раньше, чем в Европе. В X–XI–XII веках в Средней Азии — в Бухаре, Самарканде, Термезе, Балхе, Гургандже и других оживленных городах впервые за историю человечества торжествующе зазвучала мысль, что главное в этом мире — человек, его судьба, его жизнь, счастье, любовь, дружба и ум, который может всем овладеть.

«Поцелуй любви желанный — он с водой соленой схож: тем сильнее жаждешь влаги, чем неистовее пьешь», — страстные строки Рудаки были у всех на устах. Сказки «Тысячи и одной

ночи», а вслед за ними «Розовый сад» Саади, предвосхитившие дух и образы Декамерона, в бесчисленных списках разошлись по книжным базарам среднеазиатских городов.

В Бухаре, в одной из книжных лавок, пятнадцатилетний Абу Али Ибн-Сина купил книгу философа Аль-Фараби, который еще в IX веке осмеливался утверждать, что райское счастье возможно лишь на земле, а «все другое, что говорят об этом, рассказы и бредни старух». Не отрываясь, прочел юноша Ибн-Сина книгу и был так ею потрясен, что выбежал на улицу и стал раздавать встречным оставшиеся у него деньги, говоря каждому:

— Сегодня я получил ответ на мои вопросы!

Бухара славилась в то время не только книжными лавками, но и больницами в каждом квартале: в ней-то вырос и возмужал гений Ибн-Сины. Кроме всемирно известного «Канона медицины», этот выдающийся ученый создал первую в мире научную энциклопедию — семнадцатитомную «Книгу исцеления», сохранил человечеству в переводах и комментариях множество страниц древнегреческих ученых, которые иначе были бы безвозвратно утеряны, широко распространил учение Аристотеля и вместе с ним сделался на несколько веков во всем мире непререкаемым авторитетом в области философии, естествознания и медицины.

А Фирдоуси, титанический труд которого привлек всеобщее внимание к истории! А Носир Хисроу — интереснейший поэт-путешественник! А Омар Хайям, четверостишия которого и сейчас украшают нашу жизнь.

В Средней Азии тогда рождалась новая астрономия, новая математика. Здесь возникла алгебра: Ал-Хорезми разработал первые два вида алгебраических уравнений. Знаешь ли ты, что само имя Ал-Хорезми в искаженной позднейшей европейской транскрипции «Алгарифми» дало начало математическому термину «алгоритм». В XI веке Ал-Бируни — Коперник Средней Азии — поднялся до гелиоцентрической теории. Его гениальные догадки по поводу естественного отбора среди растений и животных предвосхитили учение Дарвина.

Очень вероятно, что именно здесь, а не в Европе, родилась бы та новая культура, новая цивилизация, которая подарила бы человечеству эти чудеса на три столетия раньше. И мы с тобой (подумать только!), быть может, жили бы сейчас в обществе, располагающем техникой XXIII века. Вся наша жизнь была бы иной, если бы... Если бы не Чингиз!

Человек и его жизнь ничего не значили для Чингиза. Он не умел ни читать, ни писать, он умел только считать. Он создал войско, разделив его на десятки, сотни и тысячи, скрепив их

железной дисциплиной. Посадив двести тысяч воинов на выносливых лохматых монгольских коней, он лавиной обрушился на Среднюю Азию. Орды прошли по Средней Азии, превращая все в пепел, кровь и огонь.

Ворвавшись в Бухару, Чингиз крикнул со ступеней мечети: «Луг скошен! Дайте волю коням!» Это был сигнал к грабежу: дома были ограблены, жители перебиты, город сожжен. В Термезе какой-то горожанин, спасая свои драгоценности, проглотил жемчужину, один воин увидел это и вспорол горожанину живот, чтобы жемчужину извлечь. Вслед за этим воины Чингиза стали вспарывать животы всем термезцам подряд, роясь в кишках, ища драгоценности.

Средняя Азия не могла оправиться от этого удара целых семь веков — до нашего времени. Цветущие земли в Хорезме и вокруг Термеза были превращены в пустыню, книги и книжные базары сожжены, Омар Хайям позабыт. В X–XII веках впервые человек был поднят здесь до уровня человека. Чингиз превратил его опять в червя, которого можно раздавить конским копытом. И этому памятник?!

Человек, его жизнь — единственная ценность на земле! Есть древняя китайская поговорка: «Не забывай, что даже жизнь столетнего — это всего 36 тысяч дней» — этот счет напоминает, что жизнь человека слишком коротка, чтобы разменивать его дни на злобу и ненависть.

Именно отношение к человеку — великий водораздел нашего времени. Пусть вычислительные машины служат человеку, но они не должны вторгаться в его счастье. Нельзя допустить, чтобы людей опять начали считать, как сосчитаны человеческими жизнями камни, холм из которых передо мной, иначе над людьми — над тобой и мной — всегда будет висеть угроза, что в один прекрасный день борьба за мир превратится в войну за мир.

Величайшая ценность на земле — человек. Уверен, что это так — и в крупном и в личном, хотя бы потому, что на земле живешь ты, и я могу закончить это письмо словом «твой».

28 апреля. Фрунзе

День — вверх дном, и конца этому пока не видать. Сели в самолет в Пржевальске. Самолет не поднимался и не поднимался, выяснилось, получена радиограмма: идет ветер улан. Решили переждать его ярость. Через короткое время улан налетел и, ударившись о фюзеляж и крылья, зазвенел, зарокотал, засвистел, потом смолк почти так же внезапно. Поднялись в воздух, взлетели и уверенно взяли курс на запад.

Солнце клонилось к горизонту, холодным блеском заливая

крылья самолета. Быстро миновали Иссык-Куль и над Боомским ущельем столкнулись (именно столкнулись — это было физическое ощущение) с грозой. Самолет вздрогнул, зазвенел, покачнулся, рядом за клубилась туча, один край ее сверкнул от солнца. Стена дождя обрушилась на нас.

Все происходило гораздо быстрее, чем в состоянии тебе рассказать, — крылья нашего самолета рвали дождевую тучу, по ним текли струи дождя, вдруг откуда-то сбоку глянуло солнце, в то же мгновение вокруг нас вспыхнула радуга — круглая, совершенно круглая, круглая как колесо, и в самом центре радуги обозначилась тень нашего самолета. Ударил молния, границы между цветами радуги стерлись, исчезли, пропали, радуга превратилась в многоцветный клубящийся шарф. Но цвета разделились, вновь перед глазами колесо радуги. Еще удар молнии, опять это чудо...

Подумал, быть может, в последний миг перед смертью это чудо видела прославленная киноактриса Ната Вачнадзе: если помнишь, молния ударила в их самолет, когда летели над Кавказским хребтом.

Грозовой разряд грохнул совсем рядом, упало сердце, закрыл глаза, и когда вновь глянул — клубящаяся туча стремительно улетала назад: мы выпорхнули на солнечные просторы над Чуйской долиной. Ну просто не поездка, а лебединая песня: природа будто торопится напоследок показать все свои чудеса. Туча осталась позади, вздохнул с облегчением: как-то все-таки, знаешь, приятней умирать на земле, чем падать с небес на скалы Тянь-Шаня.

Прилетели во Фрунзе. Места в гостинице, конечно же, не оказалось. И я в фойе, напротив дежурной, раскрыл свою «колибри». Гремлю. Дежурной, по-моему, это начинает надоедать, и если у нее есть хоть один забронированный номер... Ура! Не успел дописать фразу, «как дежурная поманила меня. Подошел. Сказала: «Платите деньги!» — и вручила ключ от номера.

Сейчас машинка моя уже водружена на письменный столик. Вспомнилось... Когда-то давным-давно Леня Соловьев говорил:

— Знаете, Витя, меня часто занимает мысль: а ну как за стихи, за рассказы, вообще за искусство перестали бы платить? Полезный был бы опыт! Сразу станет видно, кто бросит искусство, как дело невыгодное, и приспособится ну хоть бы директором комиссионного магазина, а кто художник милостью божьей.

Мне хочется рассказать тебе, как однажды жизнь проделала похожий опыт. Правда, условия этого опыта были другие. Однако расскажу по порядку.

Знаешь ли, откуда строки колыбельной:
Спите, люди, тьма кругом,
Спите, ветры и метели,
Спите, речки подо льдом,
Спи, ущелье!..
Спи, все горе на земле,
Боли нам не причиняя.
Навсегда усни в стволе
Пуля злая.

Смерть, ты тоже отдохни,
Стариков оставь в покое.
Пьяным сном своим усни,
Зло людское!..

Было, если память не изменяет, году в 1953-м. Ездил по Тянь-Шаню, собирал материалы для книги «С вами по Киргизии», то и дело возвращаясь отдохнуть на денек-другой во Фрунзе. Тогда-то судьба и занесла меня в низенькую мазанку, где жил поэт. Мебель европейская, но на всем лежал неуловимый отпечаток кавказской сакли. Трагичной оказалась судьба этого человека — коренастого, сильного, брызжущего весельем.

Великая Отечественная... Воевал. И на всех фронтах, даже в центре Европы писал (не мог не писать) стихи. Война кончилась, уцелел, демобилизовался, из неметчины — домой, на Северный Кавказ. Вернулся: ни кола ни двора. Долго ли, коротко искал, а нашел мать в Чуйской долине, недалеко от Фрунзе. Его сородичи слепили сакли на кавказский манер, растили кукурузу и виноград: жить-то надо!

Ну а ему как жить? Что делать? Была до войны кабардино-балкарская литературная организация, был свой журнал, выходили книги. Для кабардинцев все осталось, для балкарцев — ни книг, ни журналов. И вот что характерно: члены бывшей литературной организации перестали писать — кто завхозом пристроился, кто сторожем.

Человек, о котором идет речь, не мог не отзываться сердцем на горести и радости народа. Вот и «Спи, все горе на земле, боли нам не причиняя...» — молитва — щит над колыбелью сына.

Спите, люди, в поздний час,

Спите, взрослые и дети,
Будто бы врагов у вас
Нет на свете!..

Спросишь: ну а жил-то он все-таки чем? Отвечу: стихами. Как так? Очень просто! (Хоть на самом деле далеко не просто! И только он один знает, чего это ему стоило!) Стал переводить киргизских поэтов на русский язык. Конечно, русский фронтовой словарь его был бедноват, зато чутьем настоящего поэта он угадывал многое, что не под силу и культурнейшему переводчику.

Прошли годы, балкарцы вернулись на родную землю, все встало на место. И поэт, о котором пишу тебе, высится как Эльбрус среди своих соплеменников. Он давно уже не переводит кого-либо на русский язык, а собственные стихи доверяет мастерству русских переводчиков. Да и то сказать, берутся переводить его лучшие, берутся, потому что — стихи сердца, интересно переводить!

Имя его знает каждый любитель поэзии — Кайсын Кулиев.

С тех далеких лет, когда был в гостях у него во Фрунзе, сберег листок с записью песни тянь-шаньского каменщика Мамбеталлы Джолочиева, которую он перевел. Безыскусная простота этой песни заворожала меня:

Я с рождения рос в горах,
Где глаза мои наполнялись сверканьем вершин.
Но красоту этих залитых солнцем гор
Я вижу словно впервые в жизни.
После радостного труда
Яснее кажутся травы,
Выше кажутся горы,
Я отдыхаю.

Уметь бы так всем телом, всей душой отдыхать!

28 апреля. Фрунзе. Полночь

Посидел в Дубовом саду, наслаждаясь вечерней прохладой, глядя на транспаранты, вывешенные к Первому мая: «Мир», «Труд», «Свобода», «Равенство», «Братство», «Дружба», «Счастье». Что ж, здесь, в Киргизии, ясно видно, как много мы сделали и делаем, чтобы слова эти не остались пустыми словами — не лозунги, а дела! — но «счастье», на мой взгляд, попало сюда по ошибке.

Разве можно обещать кому бы то ни было счастье?! Разве в состоянии мы распорядиться — быть человеку счастливым или нет. Мы можем освободить человека от самых тягостных забот, облегчить ему жизнь, и многое для этого сделали. Но подарить счастье?! Как мало нужно человеку для счастья, и в то же время как много! Да и у каждого свое счастье. Да и знает ли человек, в чем его счастье?

Советская власть дала народу образование, и, конечно, счастье культурного человека, живущего творческой жизнью, острее. Но ведь и горе, когда придет к нему на порог, тоже острее! Как всякий другой, тянусь к счастью. В жажде счастья мечусь, ошибаюсь, гонюсь за ним, и, когда уже кажется, что счастье — твое, оно вдруг ускользает из рук. Счастье — жар-птица, которую всю жизнь ловишь за хвост. Оглядываюсь назад, вздыхаю: «Как был счастлив!» И это относится к дням, о которых никак не могу сказать, что это самые легкие дни моей жизни.

Даже и сейчас вот: возвращался в гостиницу, нагретые камни домов еще струили тепло, а в улицы свежестью вливался горный ветер, благословенная тишина, я же... вместо того, чтобы наслаждаться прохладой и тишиной, только и делал, что искал глазами в глубине бульвара — хотя и понимал, что это бессмысленно! — твою походку, которую узнал бы даже в темноте, когда видишь лишь силуэты людей.

Встреча с Фучиком

Хочется рассказать тебе о мимолетной встрече с Юлиусом Фучиком. Было это в 1930 году. Я тогда вновь приехал в Киргизию, на этот раз по командировке журнала «Звезда». Исчерпав свои командировочные, я, чтобы продолжать «лазить по Тянь-Шаню», нанялся контрактировать шерсть: особых познаний в те времена не требовалось, прочитал две брошюрки, и ладно.

Перед отъездом на пастбища из Нарына присутствовал на митинге по случаю открытия Турксиба. Как не вспомнить те годы! Порыв к будущему вызвал из небытия энергию миллионов людей; среди них было не шибко много грамотных, меньше того — образованных. Теперь, когда мы слышим слова «вековая отсталость», мы, особенно молодежь, не совсем ясно представляем себе, какое это имеет отношение к нам.

После митинга скотоводы верховыми толпами двинулись в свои ущелья. На коне, которого мне дали в Нарыне, я поехал в урочище Куланак. Добрался туда поздно и заночевал в юрте председателя. Наутро мы толковали с ним о товарах, которые получают они при сдаче шерсти, говорили и о премиальных фондах. Потом мы поехали на пастбища осматривать отары.

— Скажи, — заговорил председатель. — Ты сегодня из района. Прискакал вчера из Нарына человек, привез новость. Будто написано в газете, что родился большой человек Турксіб-батыр, родился со счастливой луковицей в руках и будто скоро Турксіб-батыр придет к нам, даст хлеба много, сыра, товары даст. Правда это? Я думаю, не может быть такой человек, а? Скажи.

Я рассказал председателю все, что знал о Турксибе... Неделию спустя в урочище Кара-Гуп секретарь комсомольской ячейки мне сказал так:

— Молла Азиз думает плохое дело. Смотри, вот постановление комсомола, — и протянул мне измятую бумажку, вырванную из тетрадки в клеточку:

«Мы, комсомольцы урочища Кара-Гуп, клянемся разоблачать гнусную выдумку моллы Азиза. Вот что врет молла. Жил будто один ходжа, имени которого мы, комсомольцы, не знаем и не хотим знать, и будто сказал тот ходжа, что будет в Алма-Ате рожден святой батыр Турксіп. И некоторые старики ему верят. Еще сказал, будто в газетах пишут, что батыр Турксіп родился. Но мы, комсомольская ячейка, бесстрашно разоблачаем эту поганую ложь. Клянемся, что нигде в мире никакого

Турксиха нет, а есть прямая контрреволюционная ложь нашего классового, а также комсомольского врага, имя которого молла Азиз».

Но и это оказалось не все! Две недели спустя в урочище Ак-Тала, одном из самых глухих уголков Тянь-Шаня, услышал сказку. Чертменчи перебирал струны комуза, слова сыпались из него как просо:

Давным-давно,
когда осел был распухшим,
когда гусь был караульщиком,
когда журавль был стоящим,
когда перепел был слабым,
когда его хвост был куцом,
когда скворец был судьей,
когда жаворонок был муллой, —
жил один хан,
а у того хана был сын по имени Турксих.
Четырех лет ему еще не было,
а десять исполнилось наверняка.
Вздумалось Турксиху бороться с Баян-аулом, уверяю вас.
Приехал Баян-аул, круглый как лепешка,
приехал Баян-аул с голыми локтями.
«А!» — закричал Турксих, и у Баян-аула выпал глаз.
«Ма!» — сказал Турксих, и у Баян-аула переломилась
рука.
Сказал Турксих:
«У твоего отца была ли голова, что тебя родил?» —
сел и заплакал.
Коротко ли он плакал — года полтора,
у ног его из слез образовалось море,
рыбы его высунули головы из моря, спрашивают:
«Турксих, а, Турксих, зачем плачешь?»
Отвечает рыбам Турксих:
«Как же мне не плакать?
Когда ешь редьку — нужна соль,
когда спишь — нужна девица,
не найдете ли мне невесту?»
Рассмеялись рыбы:
«Брось плакать, найдем!»
Поплыли рыбы на другой край моря,
видят, на крыше лежит девица,
быстро приплыли назад, говорят:
«Не плачь, Турксих, а то затопишь красавицу,

там она на крыше сидит».
Глядит Турксип — на берегу растет морковь,
говорит она человеческим голосом:
«Хозяин, вырви у меня хвост!»
Удивился Турксип, говорит:
«Мозг твоей головы постигла какая-нибудь порча?
Зачем буду хвост из тебя рвать?» —
«Ну, как хочешь», — сказала ему морковь.
Вдруг кричит ему с крыши девица:
«Вырви у нее хвост!»
Схватил Турксип морковку за хвост,
вырвал из земли, забросил в море.
Пошла вся вода из моря в дырку,
последней приплыла морковь и дырку заткнула,
говорит: «Вот теперь мне хватит воды!»
«Ну, спасибо», — сказал Турксип морковке
и побежал к красавице.
Вот сорок чудес!
Но аллах лучше знает истину.

Записал тогда эти «сорок небылиц», чтоб их не забыть, и, выполнивши задание по контрактации шерсти, отправился обратно во Фрунзе.

По пути, в Боомском ущелье, километрах в трех-четырех за «поворотом смерти» (как его величали в ту пору) — там, где тракт слегка отступает от реки Чу, наш крытый фургон (украинская мажара, обтянутая парусиной) сделал остановку, и его пассажиры собрались вокруг костерка, занявшись приготовлением пищи.

Тут-то к нам подъехали два всадника-чеха, соскочили с коней, привязали их к борту фургона, со всеми поздоровались за руки, подсели к костру. Оказалось, один приехал из Чехословакии — корреспондент «Руде право» Фучик, второй жил в Пишпек: думаю, был это сопровождавший его в поездках по Киргизии Маречек — председатель коммуны «Интергельпо», созданной рабочими, эмигрировавшими сюда из Чехословакии.

Разговорились, скрутили сигарки, Фучик был без шапки, ветерок шевелил его светлые, откиннутые назад волосы. Когда на мгновение ветер стихал, дым костра поворачивал на него, и тогда он проводил рукой по слезящимся глазам.

Фучик всячески пытался вызвать сидящих вокруг костра на какую-нибудь интересную историю, ему не удавалось никак, тогда я извлек свой блокнот. Мои записи о Турксибе привели его

в восторг, он со своей стороны вытащил карандаш, но, узнав, что я приехал от журнала, отложил его в сторону, и взял с меня слово, что я про это все напишу.

Должен со стыдом тебе признаться — написать-то написал, но как! Превратил мои записи в многословный рассказ, наворотил — представить себе не можешь — сколько лишнего! Номер журнала «Звезда» с этим рассказом отослал Фучику в «Руде право»: представляю, как он смеялся над моими литературными чрезмерностями, когда журнал дошел до него.

1 мая. Ташкент

Прилетел вчера дневным самолетом. С аэродрома — прямо к Гале Козловской: мол, явился бродяга. Вместе пообедали. Галя из-под пышных седых волос то и дело бросала на меня внимательный взгляд. С болью смотрел на ее тяжелую походку: ноги больные. Если бы мог ей помочь...

А сегодня с утра окунулся в праздничную толпу. Перебегал, как в юности, поперек колонн демонстрантов. В руках идущих красные маки, нарциссы, садовые тюльпаны всех тонов и оттенков, а я не могу подарить тебе даже ветку жасмина!

Удивительное дело, когда общаюсь с другими, мне случается бывать в ударе, и тогда, как мне кажется, изобретателен, разнообразен, умен. А с тобой всегда глуп и твержу одно и то же: наверное, из-за того, что ни секунды не могу терпеть твоей нелюбви. Стоит мне ощутить твое равнодушие, целый день хожу подавленный... не то слово — окаменевший нравственно и физически; а потом начинаю доискиваться до причин, страдать. Считаюсь с переменчивостью твоего характера, мне быть бы стойким оловянным солдатиком. Не выходит...

Знаешь что, расскажу-ка тебе сегодня одну первомайскую историю, и как раз о подарках.

Правда светлее солнца

... Великая Отечественная. Группа узбекских писателей и актеров поехала с подарками узбекского народа на фронт. На передовой дали праздничный концерт: выступали на импровизированной сцене — у пятитонного грузовика откинuty борта, грузовик задрапирован, сверху накрыт ковром. Поэты читали стихи, актеры плясали и пели. А в первом ряду сидел командир и чему-то все время усмехался.

После концерта поэт Гафур Гулям подошел и спросил:

— Что вас смешило?

Командир возьми да откинь драпировку с грузовика. Оказалось, стенки подперты ящиками с минами., Плясали на минах! Актерам стало не по себе, а командир протянул им мелок:

— Распишитесь на минах. От вашего имени пошлем в подарок фашистам!

Дрожали, но расписывались.

В тот же Первомай Гафур Гулям беседовал с пленным гитлеровским офицером. Вот запись, сделанная мною тогда же, по свежему следу:

Гафур Гулям. Что заставило вас поднять против нас оружие?

Офицер. Меня мобилизовали и отправили на фронт.

Г. Гулям. А как далеко вы думали пройти в глубь нашей страны?

Офицер. До тех пор, пока командование не приказало бы нам остановиться.

Г. Гулям. Вот я узбек. Вы знаете такую республику, такую страну — Узбекистан?

Офицер. Нет, не слышал.

Г. Гулям. Ну а Туркестан? Про Туркестан... про такую страну вы слышали?

Офицер. Это где турки живут?

Г. Гулям. Нет, зачем же турки... Гораздо восточнее...

Офицер. Нет, не слышал.

Г. Гулям. Ну хорошо, а про Баку вы слышали, знаете?

Офицер. Знаю.

Г. Гулям. И про Индию знаете?

Офицер. Знаю.

Г. Гулям. Как вы думаете — между Баку и Индией есть какое-нибудь пространство?

Офицер. Вероятно, есть.

Г. Гулям. Ну вот, как раз на этом пространстве и находится Узбекистан — республика, в которой я родился и вырос. Что же,

вы думали захватить и нашу республику, добраться до нас?

Офицер. Если бы приказало командование.

Г. Гулям. А что бы вы тогда сделали с нами, с нашими семьями?

Офицер. То, что приказало бы командование.

Г. Гулям (*раздражаясь*). Вот вы завоевали Бельгию, Голландию, другие страны: скажите, вам оттуда присылают по восемьдесят вагонов подарков, как вот мы привезли на фронт своим солдатам?

Офицер. Если бы приказало командование, привезли бы.

Г. Гулям (*вконец раздраженный*). И с такими ослами они надеются выиграть войну! (*Плюнул и ушел.*)

И отступлю еще на двадцать с лишним лет назад. Мне попало как-то в архивах старое заявление, его энергия и поэзия пленили меня:

1 мая 1919

От кр-ца 251 этапа

РСФСР

Тита Семочкина

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, кр-ц просился у своего комиссара добровольцем на туркестанский фронт. Но комиссар меня не отпустил.

И я к вам обращаюсь, рабоче-крестьянская инспекция, что можно или нет идти добровольцем. Я на фронте знаю, за что погибну — за свободную грамоту всех народов. А здесь в этапе погибаю от одних вшей и скуки. А на фронте, на туркестанском, степей раздолье, весело будет идти против жужжания пуль. Вся моя отрада — винтовка и граната. И буду и буду биться до тех пор, пока расплавится моя винтовка или свалится головка.

Кр-ц Семочкин Тит.

И надпись на письме, сложенном треугольником: «Прошу товарища почтальона, как родного брата, передать в рабоче-крестьянскую инспекцию».

Романтическое было время. На первомайских демонстрациях в Ташкенте в начале двадцатых годов на транспарантах, что несли над головами, можно было прочесть: «У мастера в руках и снег горит!», или «Правда светлее солнца»: кто что придумает, то и писали. Советские воины, безвестные Титы Семочкины, с первого дня революции знали, за что сражались: на туркестанском фронте «за свободную грамоту всех народов».

В праздник хочется, чтобы не омрачало ничто. И все же тень омраченности коснулась меня в тот миг, когда над городом понеслись праздничные самолеты. Вспомнил одну из самых

грустных историй, свидетелем которой был здесь.

Тень птицы

В юности, бывало, ходил на охоту. Не раз доводилось видеть: выстрелишь в летящего селезня, и он, если ранен смертельно, вдруг начинает стремительный взлет вверх и уже оттуда, с высоты, камнем падает вниз. Что-то похожее произошло в Ташкенте с человеком, летчиком гражданского флота. Фамилию не стану называть, назову первой пришедшей на ум — Ваничкиным.

Дело было среди дня, я вышел из киностудии на Шейхантауре. На улице Навои было изрядно милиционеров: напротив, на стадионе «Пахтакор» шел интересный футбольный матч. Только сделал три шага, как над головой, задевая колесами макушки тополей, срывая с них ветки и листья, бреющим полетом пронесся самолет, показавшийся мне гигантским.

Не успел сообразить что к чему, как опять его увидел. Вдалеке из-за крыш самолет (теперь было ясно видно — двухмоторный) круто взлетел вверх, поднимаясь все выше, и потом сверху, с огромной высоты пикирующим полетом... вниз!

Улица, ахнув, замерла. Все, задрав головы, остановились.

Самолет исчез за деревьями. Закрыв глаза, ожидая эха далекого взрыва, а когда глянул, опять его увидел: он взлетал ввысь. Успокоился, решив — учение особого рода — и сел в подъехавшее такси...

Спустя некоторое время мне рассказали об этом полете, все оказалось и обыденней и трагичней, чем предполагал.

Жил в Ташкенте летчик Ваничкин — ас Отечественной войны, грудь в орденах! Пришла победа, стал служить в гражданском флоте: один из лучших пилотов, исполнительный, дисциплинированный, летал на международных линиях, последние годы на трассе Ташкент — Кабул.

Время идет, человек стареет. Настал день, когда Ваничкина вызвали в управление и сказали: увольняем на пенсию. Был в отчаянии: чувствовал себя в расцвете физических сил, летать бы и летать! Трудно человеку, привыкшему летать, внезапно остаться без крыльев.

Напрасно ходил по начальству, ссылаясь на заслуги. Мягко улыбались и разводили руками: «Возраст!.. На том аудиенции и оканчивались. Что было хуже всего, в управлении не нашлось никого, кто поговорил бы сердечно, обласкал, подумал бы о состоянии человека, смягчил бы удар, уж если он был необходим. Ожесточение и обида завладели Ваничкиным. В припадке отчаяния выпил, пришел на аэродром, где все знали его. Тут-то

им и овладела хоть и пьяная, но пронзительная по ясности мысль: дай-ка покажу, на что гожусь! Как раз час обеденного перерыва! Все ушли в столовку! Ваничкин пробрался в кабину своего самолета, самолет был заправлен. Обедавшие в столовке увидели: Ил-14, рокоча, выруливает на взлетную дорожку. Прежде чем успели опомниться, Ваничкин разбежался, оторвался от земли и взмыл в небеса.

«Списали? Кончился? Не гожусь? Так нате вам! Пусть весь Ташкент посмотрит! Увидит!» И началось неслыханное. Огромный Ил-14, сделав круг, плавно опустилсЯ и бреющим полетом понесся вдоль главных улиц над самыми крышами (тут-то я его и увидел), потом взлетел в поднебесье, оттуда спикировал... Понимаешь? Ил-14, обычный транспортный самолет, на котором никто никогда не мог и подумать войти в пике! — спикировал на стадион «Пахтакор».

Когда самолет стал «падать», на стадионе возникла короткая паника, игра прервалась, зрители повскакали с мест, готовые ринуться врассыпную. Самолет, не коснувшись поля, выправился и взлетел, ветром сбросив с голов несколько соломенных шляп, покотившихся через ряды: вновь набрал высоту и стал пикировать — на этот раз на ташкентскую Красную площадь перед домом правительства.

Потом на суде Ваничкин говорил: хотел сесть на Красную площадь, было бы верхом летного мастерства, по подумал — с площади самолет нельзя будет поднять, придется разбирать, везти по частям, этой неприятности доставлять не хотел. Опять взмыл...

Тем временем на аэродроме и в городе рос переполох. Сразу поняли: Ваничкин. Стали по радио увещевать, не отвечает. Тогда сгоняли на мотоцикле за женой. Жена начала по радио умолять:

— Васенька! Милый! Садись!

То ли внял просьбам жены — сердце не камень, то ли уже выдохся: сел...

Уже 2 мая

Р. С. Почти тысячу лет назад Ибн-Хазм советовал: «Успокаивайте душу кое-чем из пустяков, чтобы было это ей помощником в истине». Не хочется кончать праздничное письмо на грустной ноте — вот тебе в заключение сценка вполне акварельная.

Бабочка в трамвае

Это уже сегодня, на второй день праздника. Ехал от Гали на 10-м трамвае. Только что кончилась какая-то ссора, хвост перепалки застал, но из-за чего сыр-бор — не разобрался. В окно трамвая влетела белая бабочка, что-то вроде нашей капустницы, и, цепляясь за шляпы, газовые шарфики и косы узбекских девушек, запорхала вдоль вагона. И все подобрели, заулыбались. Бабочка вернула всем праздник. Как немного надо, чтобы вернуть человеку хорошее настроение! Если бы люди об этом думали чаще!

2 мая. Вечер

Почти нигде не был сегодня. Прошелся лишь по Учительской, на этой улице жил в Ташкенте в первый год войны. Нелепая вышла прогулка: ни один знакомый порог не решился переступить — кто-нибудь да умер, столько лет уткло! — разговорами о смертях не хотелось омрачать сегодняшнего дня. Не хотелось устилать этот день и вежливыми принужденностями. Ни с кем не хочется мне сейчас разговаривать, кроме тебя. И все же прогулка всего меня всколыхнула, воспоминания стали разворачивать свой свиток...

Вот дом, где жил я! Хотя жил, собственно, — не в доме, а в четырехметровой парадной. Гляжу, парадная моя заделана, вместо двери окно: наверно, ходят кругом через калитку... За забором цветет сирень. Возле дома какой-то брюнет копается в «Волге». Может, сын моей бывшей квартирохозяйки?

Жил... Ходил отсюда пешком через весь город на киностудию, где Я. А. Протазанов снимал нашего «Насреддина в Бухаре». А по вечерам, когда опускалась прохлада, спешил к конфетной фабрике «Уртак». Там, возле проходной, был установлен репродуктор. Вокруг собирались жители окрестных кварталов послушать сводку Совинформбюро о положении на фронтах.

У этого репродуктора почти каждый день сходились мы с Зайчиковым, бывшим мейерхольдовским актером, и обсуждали новости.

Два случая с Зайчиковым

В те дни известные всему Союзу артисты, ученые, писатели встречались на Алайском базаре. Месячной нормы продуктов, что выдавали по карточкам, едва хватало на неделю. Затирухой — болтушкой из муки, списанной со старых интендантских складов, пахнувшей затхлостью, не прокормишься, да и та выдавалась по талонам. Вот и выходили на базар продавать свою одежонку. Продавали и драгоценности у кого были, но те шли за бесценок. На вырученное покупали масло и сахар.

Зайчикова все тогда знали в лицо: он сыграл роль комиссара в фильме «Мы из Кронштадта». Фильм имел колоссальный успех, смотрели его по нескольку раз. И вот вышел как-то Зайчиков на Алайский базар продать свои часы, конфузливо извлек из кармана, хотел выложить на ладонь, кто-то рядом сказал:

— Гляди, гляди! Комиссар из Кронштадта...

Неловко прославленному комиссару гражданской войны продавать часы на базаре! Сунул Зайчиков их обратно в карман, походил, походил... Опять вынул, кто-то снова признал в нем комиссара, так и не продал, вернулся ни с чем.

Второй случай окончился по-другому. Было несколькими днями позже. Получил Зайчиков по продовольственной карточке пол-литра водки, понес на базар обменять на хлеб для семьи, вытащил бутылку, и, словно из-под земли, перед ним выросли два фронтовых морячка:

— Товарищ комиссар?! Что это вы...

— Да вот... День рождения у меня, пол-литра купил... — смутился Зайчиков.

— Только пол-литра?! — искренне удивились морячки.

И решили расстараться для знаменитого комиссара. Напрасно отнекивался:

— Я же не комиссар! Я артист!

Это лишь подогрело энтузиазм морячков.

— Мне хватит и пол-литра! Да у меня и денег больше нет! — в отчаянии воскликнул Зайчиков.

— Какие деньги?! — поразились морячки.

Не успел опомниться, как добыли для него двенадцать поллитров. А так как поллитры эти было ему не донести, и он пытался всеми способами увильнуть, морячки вежливенько проводили его до дома, донесли. Вместо хлеба принес двенадцать поллитров: хотел бы посмотреть на лицо его Олечки, когда вошел с этими бутылками в дом!

С Зайчиковым встречались мы и на студии: исполнял в «Насреддине» роль горшечника Нияза. У нашего сценария была судьба вполне в духе Ходжи Насреддина.

«Насреддин в Бухаре»

Неисповедимы судьбы искусства. Центр кинопроизводства перебазировался из Москвы в Ташкент, в глубокий тыл. Уполномоченным министерства кинематографии в Ташкент был назначен М. И. Ромм. Он пришел к министру и сказал: ему необходимо сразу же после приезда выложить на стол перед Юсуповым, секретарем ЦК, два сценария: «Насреддин в Бухаре» и «Навои». Министру пришлось согласиться: так нежданно-негаданно наш сценарий был запущен в производство в первые месяцы войны. Постановку поручили Якову Александровичу Протазанову, который и раньше хотел его ставить.

Я в это время жил в Москве — ждал, когда призовут в армию. Рюкзак сложил еще 22 июня — не призывают и не призывают. Сунулся в ополчение — отослали домой, сказали, брать не имеем права: кадр военкомата, командир запаса, средний комсостав (говоря нынешним языком, старший лейтенант). Звание получил за несколько лет до того в Ленинграде: окончил с группой молодых писателей Всевобуч.

В конце августа отправил семью с эшелоном в Ташкент. Начались бомбежки Москвы с самолетов: дежурю на крышах, устремляюсь сломя голову к зажигательным бомбам, в просторечье «зажигалкам», надо успеть погасить их прежде, чем они, крутясь и шипя, подожгут здание! Вдруг телеграмма из Ташкента — Лене Соловьеву и мне: запущен в производство фильм «Насреддин в Бухаре», просят приехать.

Леня уже призван: служит военным корреспондентом газеты «Красный флот». (Сколько смеху было по этому поводу: надо же было, чтобы мобилизовали во флот именно его, не умевшего плавать, панически боявшегося воды! Переправа через Оку на лодке, в былые дни наших охот, была для него сущим испытанием!)

Я пришел в военкомат с телеграммой, мне сказали: «Езжайте! Там сразу встаньте на учет!» Так очутился в Ташкенте. Началась работа с Протазановым. В комнатке, куда поселили мою семью, негде было поставить столик и стул для работы, вот меня и устроили на Учительской в парадной: дверь, ведущую в дом, забили, его хозяева стали ходить через калитку, а я прямо из парадной два шага — и на улице! Удобно, никого не тревожил, съемки ведь шли и ночью и днем.

Никогда не забуду, как работал Лев Наумович Свердлин! Каждый день — иногда после четырнадцатичасовой съемки — он шагал со мною от Шейхантаура через весь город пешком, хотя

мог часть пути ехать на трамвае, шагал, чтобы поработать в пути над завтрашной сценой. Я был нужен ему как живой контрольный прибор. То присаживаясь на скамью, то останавливаясь посреди улицы, на глазах удивленных прохожих он показывал разные варианты сцены, спрашивал, как лучше — так или так? А может быть, эдак? Дойдя до моей парадной на Учительской, простаивал еще добрый час и — только когда был совершенно удовлетворен рисунком сцены — уходил, сияя: он жил на Учительской дальше.

Полным контрастом с этим был стиль работы Якова Александровича Протазанова. Спокойный, скептически улыбающийся, он не позволял себе волноваться, приходил на съемку, помахивая стеклом, встречал разговорами на посторонние темы, анекдотом, шуткой. Если сцена на съемке не ладилась или, что еще хуже, вдруг обнаруживался брак пленки и ее приходилось выбрасывать, Яков Александрович мягко улыбался и говорил:

— Чего вы волнуетесь? На монтажном столе все сойдется...

Он был выдающимся мастером монтажа, знал это, и, что бы ни произошло, был спокоен: картина выйдет.

Когда съемки «Насреддина в Бухаре» подходили к концу, в Ташкенте неожиданно появился на несколько дней — во флотском кителе и морской фуражке — Леня Соловьев. Его вместе с другими защитниками Севастополя вывезли на корабле за несколько дней до сдачи города. Путь на Москву с Северного Кавказа был отрезан гитлеровскими армиями, ну и пришлось давать кругалю через Каспий и Среднюю Азию.

Я устроил Леню ночевать в своей парадной. Сидя на ее ступеньках, свесив ноги на тротуар, он рассказывал об обороне Севастополя. Сейчас вспомнил случай, переданный им, незаметный на фоне грандиозной битвы за Севастополь, и все-таки в нем что-то есть, от чего щемит сердце.

Севастопольский комендант

Жил-был майор Старушкин, севастопольский комендант. Был олицетворением города, его живой совестью. Ходил майор Старушкин по Севастополю, сверкавшему белыми домишками на солнце, и город вокруг него всегда был такой же трезвый, подтянутый и аккуратный, как его комендант.

Ворвалась война. Двести пятьдесят дней моряки, артиллеристы и пехотинцы обороняли Севастополь под непрерывным артиллерийским и минометным огнем. Да и самолеты со свастикой утюжили землю бомбовыми ударами. Танковые орды Манштейна плотным кольцом окружили город и, накрывая огнем, превращали Севастополь в руины. Проходили недели, а гитлеровские танки не могли продвинуться ни на метр — такова была стойкость защитников: только нечеловеческим напряжением нервов можно было выдержать стену огня, который день и ночь обрушивался на них.

Чтобы как-то облегчить людям жизнь, предоставить нервам короткий отдых в часы, когда бойцам с переднего края давали увольнительную, им стали отпускать по чарке водки: выпьешь, вроде чуть отляжет от сердца. Но и в те дни стояло среди руин появиться Старушкину, захмелевшие разом трезвели и исчезали с его глаз. Шел майор Старушкин сквозь минометный огонь по осажденному Севастополю, и город вокруг него, как всегда, был подтянут и трезв.

Настал горький день, был отдан приказ оставить Севастополь: фашистские танковые колонны далеко обошли город и ринулись на Северный Кавказ. Прощаясь с Севастополем, моряки плакали, клялись возвратиться с победой. Спустя несколько дней после того, как город был оставлен, Леня вместе с Баковиковым — тоже корреспондентом «Красного флота» и защитником Севастополя — шли в Потти приморским бульваром. Неожиданно увидели Старушкина: шел, слегка покачиваясь, под хмельком. Остановились как вкопанные и прочли в глазах друг у друга: Севастополь сдан! Официального сообщения еще не было. Потом Баковиков схватил Леню за руку, оттащил в кусты и сказал:

— Зачем смущать Старушкина! У него горе! Раз в жизни может же выпить и севастопольский комендант! Будем считать, что мы этого не видали.

... Прогуливаясь по Учительской, весь во власти воспоминаний, остановился перед домом, в котором часто бывал

в первый год войны. Его теперь не узнать — неповторимое своеобразие дома исчезло. Исчезла темная деревянная решетка во всю высоту дома, которая ограничивала крошечный палисадник.

В прохладе этого палисадника и в комнатке рядом прожил я восхитительнейшие часы поэзии, дружбы, кофе... Да, да, и кофе! Просто диву даешься, когда вспоминаешь, какой вкусной казалась традиционная чашка ячменного кофе у Александра Сергеевича Кочеткова в тот голодный год.

С любимыми не расставайтесь...

Худощавый, высокий, откинутае назад пепельно-серые волосы... Словно сошел с одного из полотен Дюрера. Характерное для портретов средневековья сочетание: необычайная интеллигентность и в то же время что-то от плотника. Особая розовость щек, в глазах звериная святость. Поразительное умение восхищаться — с непривычки некоторым чудилось в этом преувеличение. Но стоило чуть пообщаться, как чистота его взгляда завораживала и делалось ясно: именно такой, каким кажется. Естественность. Естественность во всем!

Хотя Кочетковым самим трудно жилось в Ташкенте, они оказывали приют еще и другим, нуждавшимся в нем. В первые месяцы войны у них жил сын Марины Цветаевой — жизнерадостный «гимназист», вскоре призванный и погибший на фронте.

Они приютили у себя и В. А. Меркурьеву — старую поэтессу из круга символистов, дружившую с Вячеславом Ивановым, с которым, кстати сказать, был дружен в юности и Кочетков. Меркурьева тяжело болела и умерла зимой 1942/43 года здесь же, в Ташкенте: за ее гробом, под хлопьями мокрого снега и пронизывающим ветром, шли двое — Кочетков и я.

Именно к Кочеткову я привел Леонида Соловьева в первый же вечер, когда тот объявился в Ташкенте. Этот день стал своего рода страницей истории советской поэзии — столько об этом написано. В тот вечер Александр Сергеевич прочел Лене свою, ныне знаменитую, «Балладу о прокуренном вагоне». Кто теперь не знает звучащую как заклинание строку из нее: «С любимыми не расставайтесь!» Хотя стихотворение было написано в тридцать втором году под впечатлением крушения поезда, в дни войны казалось, что оно обращено к людям, сражавшимся с гитлеровскими полчищами.

Леню оно потрясло, по его просьбе Александр Сергеевич прочел балладу второй и третий раз, наконец, продиктовал ее Лене. Наутро Леня уже знал ее наизусть. А вернулся в Москву в «Красный флот» и принялся читать встречным и поперечным — стихотворение начало расходиться в бесчисленных списках не только по морям, но и по фронтам. Хоть опубликовано оно не было, его списывали друг у друга — подчас с голоса, с устного чтения, и оно, бывало, возвращалось, с перепутанными строками, с отсебятиной. Так к Кочеткову пришла известность — единственная, какую ему довелось увидеть при жизни.

Жил он трудно до конца своих дней: скромность,

незащищенность и достоинство не позволяли ему участвовать в свалках, какие ведут в издательствах стихотворцы. При жизни ни одна строка его оригинальных стихов не была опубликована, да и теперь напечатано далеко не все. Среди литераторов Кочетков был широко известен только как переводчик, да и то сказать, его переводы — блестящие страницы русской поэзии.

На язык просится стихотворение Хафиза, которое перевел он тут, в Ташкенте, суди сама — какая высота стиха:

Ты, чье сердце — гранит, чьих ушей серебро —
колдовское литье,
Унесла ты мой ум, унесла мой покой и терпенье мое,
Шаловливая пери, тюрчанка в атласной кабо,
Ты, чей облик — луна, чье дыханье — порыв, чей язык —
лезвиё,
От любовного горя, от страсти любовной к тебе
Вечно я клокочу, как клокочет в котле огневое питьё.
Должен я, что кабо, всю тебя обхватить и обнять,
Должен я хоть на миг стать рубашкой твоей, чтоб
вкусить забытьё.
Пусть сгниют мои кости, укрыты холодной землей, —
Вечным жаром любви одолею я смерть, удержу бытиё.
Жизнь и веру мою, жизнь и веру мою унесли —
Грудь и плечи ее, грудь и плечи ее, грудь и плечи ее.
Только в сладких устах, только в сладких устах, о,
Хафиз, —
Исцеленье твое, исцеленье твое, исцеленье твое!

Мог бы рассказывать и рассказывать об Александре Сергеевиче, с которым близко общался и дальше в Москве, покинув Ташкент. Да боюсь, не все будет интересно тебе.

Умер он первого мая 1953 года, умер внезапно. За четыре дня перед тем, я зашел мимоходом к нему на Брюсовский переулок, в комнатенку-пенал, в котором, кроме него, жили тяжело болевшая жена Инна Григорьевна и четыре бездомных кота, подобранных на улице.

— Почему-то — почему? Неужто предчувствовал? — он прочел мне вслух двенадцать строк о смерти, давнее стихотворение, которое я отлично знал:

Из вихря, холода и света
Ты создал жизнь мою, Господь!
Но чтобы песнь была пропета,
Ты дал мне страждущую плоть.

И я подыемлю с горьким гневом
Три ноши: жалость, нежность, страсть, —
Чтоб всепрощающим напевом
К твоим ногам порой упасть.

И сердца смертную усталость
Ты мучишь мукой долгих лет, —
Затем, чтоб нежность, страсть и жалость
Вновь стали — холод, вихрь и свет!

На следующий день заболел, оказалось — вирусный грипп. Последние два дня был без сознания, когда очнулся — возле него в больнице дежурила Нина Павловна Збруева, его старый друг. Она выжала ему на кончик языка дольку лимона, он прошептал: «Восхитительно!» Вот возглас, с которым умер поэт, — умер, оставив миру золотую россыпь стихов и поразительные по силе поэмы и драматические новеллы в стихах.

Прошли годы, улеглись страсти; многие наиболее шумливые стихотворцы тех лет уже позабыты, а к стихам Кочеткова с каждым годом ширится интерес.

3 мая. Ташкент

Вчера, возвращаясь с Учительской, прошел по Пушкинской улице мимо дома, в котором живет поэт Абдулла Арипов. Если при имени поэта у тебя тут же не возникают на языке строки его стихов, значит... Настоящий поэт — редкость куда большая, чем мы привыкли думать. Прошел мимо его дома, и уже на кончике языка!

Ты плакала, ты мой ловила взгляд,
Ты так искала этого свиданья,
А я глядел, как небеса горят,
И думал о величье мироздания.

Сегодня я один в своем дому,
Ты далека, я сам все смял и спутал.
Что мирозданье мне, что я ему?
Пришла бы ты ко мне хоть на минуту.

Да ведь это про нас с тобой, это я — тебе. Вот лакмусовая бумажка, безошибочно указывающая — поэт!

Бывают в жизни истории, похожие на притчи. Именно такой

житейской историей-притчей в юности Арипова однажды одарила судьба. Было это на моей памяти.

Золотая рыбка

Сейчас Арипов — зрелый поэт, гордость Узбекистана. Тогда стихи его еще не печатали, но они уже гуляли среди молодежи; студенты списывали их один у другого, с воодушевлением друг другу читали. А на его вечер в университетском клубе было не протолкнуться.

Окончив университет, Арипов устроился работать редактором в Издательство художественной литературы имени Гафура Гуляма. Рядом с издательством на улице Навои существовала чайхана, куда многие издательские работники приходили в обеденный перерыв. В чайхане был небольшой водоем, в водоеме плавала рыбка. С нее-то все и началось.

Собрались как-то молодые редакторы и затеяли мушаиру — поэтическое состязание: кто сложит лучший рубай об этой рыбке. Молодой Абдулла тут же сочинил: мол, плавает в мутной воде золотая рыбка и не подозревает, что есть на свете великий чистый океан. Я не слышал этого рубая по-узбекски, поэтому не могу дать подстрочного перевода. Но люди, вкусам которых доверяю, говорят: стих был легкий, чеканный. Арипову единодушно присудили победу.

Четверостишие пошло с языка на язык. Приходили в чайхану парни и девушки: «Вот та рыбка, о которой Абдулла Арипов сложил такой рубай...» (и читали его).

Однажды в чайхану зашел участковый милиционер. К сожалению, есть люди, которые все, даже законы природы, оглуляют до уровня своего понимания, что уж там говорить о языке. Участковому четверостишие не понравилось — показалось подозрительным. Этот милиционер к тому же свято верил во всемогущество воздействия административных мер на умы. Попадись другой на его месте, притчи не получилось бы.

Милиционер, чтоб «не чесали языки», взял да выловил рыбку. Тогда парни и девушки, приходя в чайхану, стали говорить: «Вот водоем, в котором плавала рыбка, о которой Арипов сложил такой рубай»... (и читали). В один прекрасный день милиционер (отдадим честь его упорству) пришел с рабочими и засыпал водоем. Весть об этом развеселила молодежь.

Началось паломничество в чайхану: «Тут был водоем, в котором плавала рыбка, о которой Арипов сложил...» и т. д. Стихи явно брали верх над административными мерами. Кончилось тем, что чайхану закрыли и снесли: как милиционер этого добился, не знаю. Но это, как и следовало ожидать, только подлило масла в огонь: «Тут была чайхана, где был водоем, в

котором плавала рыбка, о которой Арипов сложил такое четверостишие...» и т. д. Так к Арипову пришла слава.

Остается сказать, что рядом со зданием издательства, в стороне от бывшей чайханы, через некоторое время построили чайный стеклянный павильон, куда многие ходят в обеденный перерыв поныне. И кто-нибудь нет-нет, да вспомнит там «золотую рыбку» даже теперь, многие годы спустя.

5 мая. Самарканд

С детства люблю барабаны. В пять лет мечтал стать барабанщиком. Очень любил играть и на деревяшках, идя вдоль забора, извлекая звуки разной высоты. Когда попал мальчишкой в Среднюю Азию, дробные удары нагора — особых барабанчиков — заставляли меня несколько кварталов идти за арбой, ехавшей на свадьбу. Полюбил я и гулкие, рыдающие звуки дойры — среднеазиатского бубна.

Но загадкой, едва впервые приехал в Ташкент, были для меня маленькие глухие барабанчики, которые то и дело звучали в разных концах Старого города. Прислушивался к ним, замирая, казалось — кукольные барабанчики, игрушечные, очень хотелось такой купить. Спросил каких-то узбеков в чайхане, меня сперва не поняли, потом, поняв, долго и весело хохотали: хохотали, как смеются здесь — тоненько, валясь на один бок. Выяснилось: не барабанчики, а крики перепелов! Городской мальчишка, я никогда до тех пор их не слышал, а тут клетки с перепелами висят в домах.

Сегодня утром, едва мы — опять же с Арипом, на той же машине — подъехали к Гур-эмиру, мавзолею Тимура, прежде всего услышали далекие, глухие барабанчики перепелов, и пришло ощущение счастья.

Но прежде чем о Самарканде, несколько слов тебе о маках... По пути из Ташкента в Самарканд миновали Янгиюль, затем обширные новые зеленые районы в Голодной степи, потом нас обволок пьянящим ароматом цветущих белых акаций город Джизак, наконец покатали по дикой степи.

Тут-то, справа и слева от шоссе, возникли красные точки маков, их становилось все больше — степь вокруг нас постепенно превращалась в грандиозный цветник. Среди маков пасутся отары овец, камни, разбросанные по степи, вылезают из маков, дальние холмы — в кровавых подтеках маков... Сказочное зрелище!

«Твои слова, как лепестки мака — сверху красные, а основа у них черная» — слова народной песни. Сколько бы внутри ни пряталось черного, благословляю алые лепестки! Впрочем, черного не замечаешь, пока не возьмешь цветок в руки. И в жизни

так: начинаешь видеть черное, когда цветок уже в руках.

Джизакским ущельем среди желтых скал промчались мы вдоль каменистой речки Санзар, переезжая по мостам то на правый, то на левый берег. Из-за холмов сперва показались руины Биби-ханым, затем они скрылись, утонули за городскими домами, чтобы неожиданно возникнуть вновь совсем рядом с нашей машиной. Наслаждаясь струей воздуха, льющейся в машину, погрузился в созерцание: окна в некоторых домах Самарканда имеют великолепный синеватый оттенок от длительного облучения солнцем. Кружится голова от запаха цветущих акаций, сижу, бормочу: «Блаженство, блаженство...»

И вот уже барабанчики перепелов, и передо мной сверкает среди зелени деревьев голубой купол Гур-эмира. Озарены солнцем стены, украшенные синей и голубой мозаикой, похожей на вышивку крестиком, и порталный вход, где «в общей палитре слиты такие краски, как белая, зеленая, синяя, голубая, желтая, черная и золотая. В скверике перед Гур-эмиром играли в «лянг» дети: подбрасывали внутренней стороной ботинка свинцовую бляшку с пучком перьев.

Внутри мавзолея в прохладном полумраке нежно отражался свет решетчатого окна на темно-зеленой, почти черной, плите из нефрита — надгробном камне Тимура. Расскажу тебе жизненный анекдот, начало и конец которого были как раз тут, в Гур-эмире.

19 июня сорок первого года была вскрыта для изучения гробница Тимура, а 22 июня Гитлер напал на Советский Союз. Мусульманское суеверие объяснило: «В старинных-де книгах предсказано: когда откроют гробницу Тимура, выпустят на волю духа войны!» Война, как всякое бедствие, приносит вспышку религиозности; слух, что ученые выпустили духа войны, нашел благодатную почву в отсталых слоях населения, взбудоражил их, мол, не было бы Академии наук — не было бы и войны!

Что этому противопоставить? Решили торжественно возвратить останки Тимура в Гур-эмир, превратив это в грандиозное зрелище. Приехали делегации, прибыла правительственная комиссия. Говорились речи, разъяснялась научная причина вскрытия, научные результаты... И прах Тимура 20 декабря 1942 года при стечении народа вновь предали земле. Но вслед за этим развернулась Сталинградская битва, Паулюс был пленен, — опять возникло: «Сами видите, похоронили духа войны, Гитлеру пришлось солоно...» До сих пор в Узбекистане, улыбаясь, рассказывают про это.

Утопив в крови, разрушив и разграбив Грузию, Армению,

Сеистан, Малую Азию, Индию, Тимур сохранял жизнь мастерам и свозил их в Самарканд, стремясь превратить свою столицу в «центр вселенной»: руками этих мастеров воздвигнуты лучшие здания Самарканда.

Перед памятью безвестных мастеров почтительно склоняешь голову, стоя во дворе Биби-ханым — соборной мечети Тимура. Это о ней некогда поэты писали: «Ее купол был бы единственным, когда бы небо не было его повторением. Единственной была бы арка, когда бы Млечный Путь не оказался ее двойником».

Теперь сквозь купол Биби-ханым днем проглядывает небо, а ночью сквозь него переливается серебром Млечный Путь: купол и арка обрушились от времени и землетрясений. Верю, что реставраторы, окончив работу, вновь напишут на арке то, что было начертано на ней по повелению Тимура: «Мир — час, а потому вооружайтесь терпением!»

В центре двора Биби-ханым стоит гигантская мраморная подставка для Корана. Туристы любят рядом с нею сниматься: ничтожность человеческого роста выразительно подчеркивает величину подставки. В своем простодушии они думают (величайшее заблуждение!), что это всего-навсего подставка для Корана. На самом деле — еще одна гробница, воздвигнутая Тимуром: под сим мрамором похоронено одно из семи великих искусств — искусство каллиграфии.

Почти двадцать лет назад тутошний старик сторож поведал мне об этом, но, признаться, принял тогда его рассказы за легенду. Десяток лет спустя прочтя об этом же в «Трактате о каллиграфах и художниках» Кази Ахмеда, писателя XVI века, понял: подлинная страница прошлого!

Расскажу тебе ее — наполовину по иронической записи, сделанной мной со слов сторожа, наполовину по Кази Ахмеду.

Смерть седьмого искусства

Жил-был искусный каллиграф. Его обуяла жажда славы и жажда денег. Он решил написать и преподнести в дар Тимуру Коран величиной с ноготь... Передаю слово Кази Ахмеду:

«Другой из знаменитых мастеров письма — Омар Акта: он не имел правой руки и левой писал на страницах таким образом, что взоры знатоков изумлялись, а мудрый разум мутнел, взирая на это. Он написал для господина времени эмира Тимура Гурагана список (Коран) почерком губар: по объему этот (список) был так мал, что его можно было уместить под гнездом перстня, и принес в дар господину времени...»

Тимур не понимал маленьких вещей, ценил только гигантское. Каллиграф двадцать лет трудился над своим миниатюрным Кораном. Но Тимур не дал в награду ему ни гроша...

«... Так как он слово его святейшества всеведущего царя написал чрезвычайно мелко, он (Тимур) не одобрил, не принял и не соизволил быть к нему любезным...»

На Востоке говорят: «Если тесен сапог, что пользы от широты вселенной?!» Весь мир показался каллиграфу тесным. Понося Тимура, он вернулся домой в раздражении, взял лист бумаги величиной с площадку арбы, за семь дней левой рукой написал гигантский Коран, взгромоздил его на арбу и повез во дворец.

«... Омар Акта написал другой список, чрезвычайно большой, каждая сторона его была один локоть и даже более; после окончания украшения и переплета, привязав этот (список) на арбу, он отправился во дворец господина времени. Когда это известие дошло до слуха султана, господина времени, он вышел навстречу со всем духовенством, вельможами, эмирами, столпами державы, оказал упомянутому каллиграфу большие почести, и уважение, и безграничные милости».

В награду Тимур дал каллиграфу десять тысяч золотых тиллей. А для Корана сделали мраморный пюпитр и поставили в соборной мечети.

Но каллиграф совершил ошибку: получив деньги, начал хвастать, что написал Коран всего за семь дней, и смеяться над Тимуром, что тот за неделю работы заплатил ему десять тысяч золотых тиллей. Этот каллиграф не знал простой истины: чем меньше человек понимает в искусстве, тем ему кажется проще судить о нем. Тимур был талантлив как воин и умный правитель, но, помимо этого, мало что знал. Доносчик сообщил Тимуру о словах каллиграфа. Тимур рассудил: если Коран можно написать за семь дней, то за переписку книг можно платить в сто раз меньше.

С тех пор по его повелению стали каллиграфам в сто раз меньше платить: в тот день умерло искусство каллиграфии, сделалось простой перепиской.

Стоя во дворе мечети Биби-ханым, хочется рассказать тебе еще одну историю. Только прежде объясню, кто такая Биби-ханым. Настоящее имя ее — Сарай Мульк-ханым. Была правнучкою Чингиза, о внешности ее в одной из чагатайских легенд говорилось: «Если сказать о ее красоте, покажется некрасивой она, потому что девушка эта красивей всех слов».

На ней первой женился Тимур и прожил с нею в согласии долгие годы, ей одной доверил воспитание сыновей от всех своих жен и воспитание внуков, словом, только с нею считался, относясь к прочим женам как к гаремным наложницам. А для ее погребения воздвиг отдельный мавзолей напротив мечети Биби-ханым.

Так вот, поверишь ли, я видел Биби-ханым. Не шучу! Говорю не о мечети, не о мавзолее: о ней самой — о старшей жене Тимура.

Моя встреча с Биби-ханым

В 1946 году, бродя по Ташкенту, наткнулся я как-то раз на музей кустарно-художественных ремесел. О его существовании не подозревал; очень удивился, увидев табличку. Вероятно, многие ташкентцы до сих пор не знают про этот музей, так как он на тихой улочке, далеко в стороне от обычных путей горожан.

Дом оказался в своем роде единственным: построил его до революции некто Половцев и украсил в чисто узбекском вкусе, поручив расписать внутри народным мастерам. С интересом разглядывал я росписи на стенах и потолках и выставленные тюбетейки, одежды, вышивки, ковры, сюзаны, гончарные кувшины, блюда.

Директор, водивший меня по музею, под конец спросил:

— Хотите поглядеть Биби-ханым?

— В каком смысле? — не понял я.

— Ну, самое Биби-ханым... Сарай Мульк-ханым, старшую жену Тимура?

Подвел меня к углу, откинул покрывало, и я увидел под стеклянным колпаком деревянный саркофаг, в нем лежал хорошо сохранившийся костяк маленькой женщины; остались части одежды, кусочек бархатного женского наряда, местами на лице кожа, ногти на руках, и волосы... прядь седых волос!

— Откуда? — мог я только выдохнуть в изумлении. Оказалось, когда в сорок первом году вскрывали гробницу Тимура и заодно, в том же Гур-эмире, гробницы его сыновей и знаменитого внука — Улугбека, одновременно в мавзолее Биби-ханым вскрыли ее гробницу. Потом Тимура (и ее сыновей, и Улугбека) захоронили, а Биби-ханым временно оставили в музее и позабыли...

— Почему же вы о ней не напомнили?!

— Сколько раз! Никому неохота заниматься этим. Отмахиваются.

Уехал из Ташкента и долгие годы вспоминал об этом как о странном сне. Рассказал одному, другому, меня высмеяли: мастак сочинять! Засомневался и сам: уж не почудилось ли? Но неожиданно узнал конец истории с Биби-ханым, рассказал мне его Л. И. Ремпель — крупнейший знаток древней архитектуры Узбекистана.

— Был такой Юсупов Мамед Салихович — директор самаркандского музея... Может, знали? — так начал Ремпель рассказ.

— Еще бы, очень хорошо его помню — художавый,

невысокого роста, — был он скромным ученым-историком, преклонявшимся перед великими тенями прошлого, отлично знал историю Самарканда, вдохновенно о ней рассказывал, но темой для своей собственной научной работы избрал «Делопроизводство и судопроизводство в бухарском эмирате». Тема, мягко говоря, суховата, но безопасна.

— Так вот... — продолжал Ремпель. — Работал я с ним в бухарских архивах. Тихо жил этот человек, старался никому не мешать... Но у самых тихих людей порой с неодолимой силой вспыхивает мечта сделать такое, чтобы весь мир посмотрел на них. Кто из скромнейших застрахован от этого? Я бы сказал даже, наоборот, с ними-то как раз чаще всего и случается. Когда идея — перенести Биби-ханым обратно в Самарканд — овладела им, он уже не мог найти себе места.

Решившись, он вдруг сорвался в Ташкент, как в воду бросился. Пришел в руководящие инстанции с просьбой, изложенной на бланке музея, разрешить ему, Юсупову Мамеду Салиховичу, перевезти прах Биби-ханым в Самарканд. Было это в сорок восьмом году (спустя два года после моей «встречи» с Биби-ханым), и он добился, получил разрешение и пришел в кустарно-художественный музей за царицей.

Как перевезти ее на аэродром? На грузовике? Вдруг рассыплется от тряски? Да и на арбе может ее растряссти. Мамед Салихович решил нанять четырех рослых носильщиков, тех, что носят на траурных носилках покойников на мусульманские кладбища.

С чрезвычайными предосторожностями взгромоздил саркофаг на носилки и, дрожа за сохранность великой царицы, любимой жены Тимура, пошел пешком рядом с этой необычной процессией через весь Ташкент, от Шелковичной улицы до аэропорта. Шли мимо прохожие, скользя пустыми глазами по носилкам. Однако обратиться к прохожим, рассказать им — какое совершается историческое событие — Мамеду Салиховичу казалось небезопасным. Не в силах удержаться, Мамед Салихович стал рассказывать об этом носильщикам. Носильщики не были проникнуты чувством историзма. В самый разгар его рассказа о величии этого часа, они переглянулись, дружно поставили носилки на мостовую и сказали, что дальше не понесут, если им не прибавят оплату.

Напрасно Мамед Салихович (перевозивший прах отчасти на деньги музея, отчасти на свои скромные личные сбережения) их стыдил, напрасно объяснял, как должны гордиться, что участвуют в траурном cortege самой Биби-ханым, они стояли на своем.

— Я бы на вашем месте сам бы еще заплатил за это! — в

отчаянии воскликнул Мамед Салихович.

Это окончательно погубило дело: носильщики, обидевшись, показали спины и зашагали прочь. Пришлось удвоить им плату, тогда они взгромоздили носилки на плечи и понесли царицу дальше.

Добрались до аэродрома. Пойти к аэропортовскому начальству, оставив Биби-ханым на носильщиков, Мамед Салихович не решался. Наконец «присмотреть» за саркофагом взялся сторож склада горючего. Биби-ханым засунули между бочек бензина. Мамед Салихович расплатился с носильщиками и побежал к зданию аэропорта.

Начальник аэропорта оказался человеком романтическим: услышав, что речь идет о любимой жене Тимура, тотчас же, невзирая на стенания остающихся по ее вине пассажиров, разбронировал несколько мест в самолете ЛИ-2, который должен был лететь в Самарканд. Общими усилиями саркофаг с Биби-ханым втащили на боковую скамью. И среди пассажиров, чрезвычайно оживившихся от эдакого соседства, Биби-ханым стала свершать свой последний путь в родной город, где прожила всю жизнь и умерла полтысячи лет назад.

— Мамед Салихович мне признался потом, — рассказывал Ремпель, — что, хотя обычно боялся летать на самолетах, на этот раз присутствие Биби-ханым его успокоило. Он, историк, даже представить себе не мог, чтобы с прахом жены Тимура (значит, и с ним) в воздухе могло что-либо приключиться. Так, под охраной великой тени, прибыл он в Самарканд.

С аэродрома Мамед Салихович позвонил к себе в музей: оказалось, машины, на которую рассчитывал и на которой мог бы ехать хотя бы со скоростью три километра в час, — машины этой не дали. Позвонил в облисполком, никого в этот неурочный час не застал. Тогда скрепя сердце Мамед Салихович нанял «левый» грузовичок — полуторку, взобрался наверх, обнял саркофаг, чтобы царицу не растрясло. Поехали...

Самаркандцы знают, кто такая Биби-ханым, слух о ее приезде молниеносно облетел город. Горожане повалили в музей поглазеть на царицу. Напрасно Мамед Салихович утверждал, что никакой Биби-ханым нет. Не хотел, чтобы знали об этом, пока не подготовят похороны. Люди ходили за ним по пятам, терпеливо слушая его объяснения, и будто не слышали ни слова, спрашивали опять и опять: «А где же Биби-ханым?»

Спустя несколько дней в присутствии небольшой комиссии Биби-ханым захоронили обратно — в ее мавзолее...

Счастливым день

От развалин Биби-ханым выкатили за город: решил навестить обсерваторию Улугбека. Мне хотелось еще раз прикоснуться к мраморным плитам древнего секстанта, равного которому по величине не знал мир. Въехали на холм Кухек, миновав чайхану, построенную для посетителей, и выключили мотор прямо перед новым, облицованным разноцветными изразцами строением — футляром над сохранившейся подземной частью обсерватории, — вошли и перенесли на пять веков назад...

Вниз, в полумрак высеченной в скале траншеи, уходят два ряда каменных ступеней. Меж них из глубины взлетают дуги гигантского, поставленного по меридиану секстанта. Наблюдая прохождение звезд над этими дугами, кутаясь в теплый халат от подземной сырости по ночам, со ступеньки на ступеньку поднимался тут Улугбек — внук Тимура, наследник его империи, мыслитель и астроном, о котором вскоре после его трагической смерти Алишер Навои писал: «Улугбек протянул руку к наукам и добился многого. Перед его глазами небо стало близким и опустилось вниз».

Тебе будет легко представить, какова была мировая слава Улугбека, если скажу, что на европейских гравюрах XVII века, окруженный шестью крупнейшими астрономами мира, рядом с Птолемеем, Коперником и Тихо Браге, на почетном месте — по правую руку Урании, музы астрономов, — восседает за круглым столом мирза Улугбек. Самая известная из его работ: «Зидж-и-Гурагани» — астрономические таблицы и каталог звезд, более точный, чем европейские каталоги сто лет спустя. «Величайшим наблюдателем» называл Улугбека Лаплас.

В медресе, основанном Улугбеком, молодых людей обучали, кроме богословия, светским наукам — истории, географии и, конечно, астрономии. Трудно поверить (сказано, будто сегодня), однако слова принадлежат Улугбеку: «Религии рассеиваются как туман, царства разрушаются, но труды ученых остаются на вечные времена».

Ты понимаешь, что мусульмане-фанатики ненавидели его столь же неистово, как католические фанатики ненавидели Галилея. Однако Улугбек был царем, внуком Тимура, воинствующее духовенство не могло ни счесть его, как Джордано Бруно, ни заставить всенародно отречься от взглядов, как Галилея. Оно воспользовалось Абдул Лятифом, сыном Улугбека, домогавшимся власти. Народное предание гласило, что Улугбек был обезглавлен наемными убийцами, подосланными сыном.

Долгое время доподлинно не было известно, правда ли, что убийца отрубил ему голову, или это был слух, создание народной фантазии. Чтобы узнать, так ли, ученые, вскрывая гробницу Тимура, вскрыли и гробницу Улугбека.

Волнующая была минута: вокруг, обнажив головы, столпились ученые — русские и узбеки. Когда в немой тишине подняли крышку гроба и все увидели отрубленную голову с перебитыми шейными позвонками, многие отвернулись, чтобы смахнуть с глаз невольными выступившими слезы: в это мгновение все остро почувствовали живую связь настоящего с прошлым.

При вскрытии гробницы Улугбека, кстати говоря, присутствовал Алексей Козловский, подробно мне все рассказавший. Именно в этот день окончательно созрел у него замысел оперы «Улугбек», он засел за нее, и премьера состоялась в Ташкенте еще в дни войны.

«Счастливым день! Закончена постройка медресе! И сын вернулся...» — так начинается одна из лучших арий Улугбека. Примирение с сыном наполняет сердце Улугбека радостью, однако мы, сидящие на спектакле, знаем, что раскаянье сына лицемерный ход, что завтра он станет отцеубийцей, и светлая, мажорная музыка этой арии для нас окрашивается глубочайшим трагизмом.

7 мая. Бухара.

Шоссе проходит по густонаселенному району. Всюду «голосующие». Если бы ты знала, как легко, едучи в машине, стать равнодушным! На хороших участках едем со скоростью сто десять — сто двадцать километров, но попадались и разбитые участки, где делали всего двадцать-тридцать километров. Значит, чтобы успеть до вечера в Бухару, надо спешить, а тут голосуют...

У них свои дела: на базар, с базара привезти домой продукты, съездить в гости, может, и на свидание... А эта «Волга» — пес ее возьми! — пронесется мимо, и едущим плевать на тебя! Поднял руку, а они мимо! И ведь машина-то пустая!.. Сколько нелестных слов небось несется нам вслед.

Но ведь, может быть, на самом деле нужда, несчастье: ребенок заболел, надо съездить за доктором... Мало ли что! Да и любовь: не попадешь вовремя — вся жизнь пойдет иначе!

Старик в пестром халате поднял руку.

— Арип! Ну хоть старика возьмем!

Берем, старик молчит, надулся, не в своей тарелке — видит, что чужие: едет, так и не сказал — куда и зачем. Довозим, высаживаем, к нам устремляется целая толпа, удираем, Арип

ворчит:

— Машину надо беречь. При полной нагрузке через два-три дня начнут лопаться баллоны. Нам далеко, где им понять?

И уже перед нами город Навои...

О Навои! — вот мира существо!

Неверность и жестокость — суть его.

Будь верным, но о верности забудь.

Коль хочешь быть богатым, бедным будь.

Из глубины веков звучит голос поэта, в невзгодах подбадривает тебя... Но когда ты счастлив такой удачной, такой полной и разнообразной поездкой, как эта, и попадаешь в нынешний Навои, по сути дела, в новый город («Поедете мимо Навои — не поленитесь свернуть с шоссе, не пожалеете», — напутствовали меня в Ташкенте), тогда на язык приходят совсем другие его строки:

Пусть онемее у того язык,

Кто постоянно порицать привык!

Действительно, есть чем восхититься: в городе — кварталы новых, разноцветных, великолепных домов. Построенные в современном стиле — синие, красные, желтые, зеленые (не целиком, а с цветными поясами) — дома эти, наверно, понравились бы Маяковскому, с ними смело можно входить в коммунистическое «далёко».

Покидая Навои, мы увидели в стороне от шоссе гигант энергетики — завод, обросший мачтами высокого напряжения так густо, как обрастает опятами пень. Но вот и это ушло, уплыло назад, степь, ветер, солончаки...

Из головы не уходит драматическая судьба Навои. Его ближайший друг султан Хусейн Байкара был вынужден изгнать его из Герата: такова была сила мусульманских улемов и шейхов. Легенда, очень похожая на правду, повествует, что перед тем, как Навои под бой барабана ушел в изгнание, последнюю ночь султан Хусейн и Навои, расставаясь, провели в душевной беседе.

Да и в наши дни сила духовных владык в некоторых мусульманских государствах, с которыми мы соседствуем, так велика, что трудно даже представить. Впрочем, и у нас, в не такие уж далекие времена, я был невольным свидетелем того, какую власть над мусульманами имеет шейх.

Случилось, правда, это не здесь, не в Средней Азии, а на

Северном Кавказе, но вполне могло быть и тут.

Ноябрь тысяча девятьсот тридцать третьего года. Приближалось шестнадцатилетие Октября. Меня командировали в Грозный писать о работе политотделов МТС. В редакции «Грозненского рабочего» мне посоветовали на праздничные дни поехать в горное селение Шатой:

— Седьмого в Грозный на базар съедутся отовсюду, попутную арбу ничего не стоит найти! А в Шатой дадим записку уполномоченному ГПУ: единственный русский в районе, пописывает в газету, в его сакле все журналисты находят приют.

Назавтра сыскал на базаре попутную арбу. Выехали во второй половине дня. Маленькие колеса горской арбы всю дорогу подпрыгивали на камнях. Добрались до Шатоя ночью; на улочках ни души, белели сакли, освещенные ломкими лучами месяца. Хозяин арбы довез меня до сакли уполномоченного (почему-то вертится на языке фамилия Криворотов, пусть, надо же, рассказывая, его как-то именовать!).

Постучал в ворота, сонная курица, всполошившись, перенеслась в сумрак крыши. Криворотова поднял с постели. При тусклом свете керосиновой лампочки с закопченным и разбитым стеклом он прочел записку из редакции и уложил меня спать, отложив знакомство на утро.

Проснувшись часиков в восемь, нашел Криворотова во дворе, был занят с милиционером. Сказал коротко: «Умывальник в углу! Чайник на очаге! Сахар, хлеб на полке!», и вновь повернулся к милиционеру: где-то кого-то убили, было не до знакомств!

Низенький, давно не стриженный — лохмы торчат из-под барашковой шапочки, грудь крест-накрест перетянута пулеметными лентами: ни дать ни взять матрос времен гражданской войны! Что ж, на людей, для которых со времен Шамиля высший шик — газыри с десятью патронами на груди, пулеметные ленты должны были производить впечатление: верный расчет.

Я попил наскоро чайку и решил прогуляться по Шатою. Чеченские крестьяне, идущие с перекинутыми через плечо сумами-хурджинами, и всадники, из-под бешметов которых торчали кончики кинжалов, привели меня на базар. Солнце низко висело над горами, огромные камни неправильной формы отбрасывали косые тени, розоватыми казались оседланные лошади, привязанные к камням и деревьям. Продавали кто что: малину, яблоки, овощи. Из корзин среди прутьев торчали красные гребешки кур.

Продавцы и покупатели нет-нет да поглядывали в сторону Сунжи, сердито клокотавшей на камнях где-то за обрывом внизу. Спросил одного-другого, не ответили: не понимали по-русски. Подошел к обрыву: глубоко внизу, в клочьях пены, падая с уступа на уступ, выла река. По самому краю обрыва лепилась тропка: страшно на такую ступить, не то что проехать верхом! О подобных тропках на Востоке говорят: идешь по ней, как по реснице. Поежившись, отступил от обрыва, вернулся к малине и курам.

Вдруг будто ветер прошел по базару, все вскочили, побежали к обрыву, на этой самой тропке показались два всадника. (Потом узнал: скачки по случаю праздника, старт где-то в горах, финиш тут, в Шатое.) Один всадник, в золотистой папахе, с башлыком на шее, обогнал второго на голову лошади (как только вдвоем уместились они на этой тропке-реснице!) и внезапно повернул коня поперек склона так, что конь второго встал на дыбы. Все затаили дыхание. Вставший на дыбы конь (произошло в считанные секунды!), покачившись на задних ногах, вместо того, чтобы рухнуть в пропасть, каким-то чудом зацепился копытами за склон и выбрался на тропу.

Первым подъехал к финишу тот, в золотой папахе, как позже узнал, принадлежавший к центроевскому тейпу (роду). Вторым подъехал спасшийся от гибели заместитель начальника шатоевской почты: принадлежал к другому тейпу, если не ошибаюсь, шатоевскому. Не слезая с коней, они начали пререкаться. Почтарь оскорбил центроевца, тот ударил его плеткой: на щеке остался след.

Не прошло и мгновения, как весь базар выхватил кинжалы. Род на род! Не на жизнь, на смерть! Никто на меня, чужака, внимания не обращал! Выбрался из свалки, бегом к Криворотову: «Там драка! Кинжалы!» Криворотов молча открыл сарайчик, выкатил пулемет — и к базару, я за ним! Побойсь! Криворотов дал над головами очередь из пулемета: ноль внимания! Те же кинжалы, те же искаженные злобой лица!.. Вторую очередь! Ноль внимания! Знают, этот русский с пулеметными газырями не станет в них стрелять.

Надвинув на лоб барашковую шапочку, Криворотов с деловым видом покатыл пулемет назад, запер обратно в сарайчик, сказал: «Пойдем к шейху!» Прошли с полквартала. Криворотов постучался в калитку, нам открыли, провели к толстяку, сидевшему на ковре. Глядел на него с любопытством, знал — шейх издревле соединяет в себе власть религии и светскую власть. Но этот такой, как рисовали тогда на плакатах — встанет, собственных ног из-под живота не увидит, неужто что-то может?!

— Праздник! А на базаре драка! Нехорошо! — сказал Криворотов.

Шейх неспешно поднялся с ковра, напялил с помощью мальчишки бешмет, не сходявший на животе, и двинулся с нами. На базар вышли гуськом: впереди шейх, за ним низенький Криворотов, позади я, длинный, худой. Никогда этого не забуду! Шейх шел по базару, произнося нараспев священные стихи, небрежно, даже лениво, взмахивая то одной рукой, то другой. При виде шейха кинжалы опускались: не прошло трех минут, драка прекратилась, не прошло двадцати, раненые и убитые были убраны. Базар опять стал торговать.

Перед самым въездом в Бухару Арип резко затормозил, вспыхнула освещенная нашими фарами табличка: «Скорость в Бухаре ограничена 30 км в час», на лице Арипа — недоумение и усмешка. Однако когда въехали в город (Арип в Бухаре не бывал) и покатали по узким улицам-щелям, на которых бегают и играют ребяташки (больше им играть негде, они тут хозяева улиц), усмешка с лица Арипа сползла: практически ехали со скоростью в двадцать, кое-где в пять километров. Добрались до новой гостиницы, устроились, сразу легли и заснули как убитые.

8 мая. Бухара

Утром проснулся, луч солнца посреди комнаты, и в этом луче светящихся пылинок — ты, твоя тень. Боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть видение, луч быстро погас, ты растаяла. И весь день в городе не было солнца.

Только вечером, в час заката (видел это тоже из гостиницы), тяжелая, необычная для Бухары туча на горизонте приоткрылась. Из-под нее на мгновение блеснул красный луч: красный луч прорезал серое пространство небес! Ахнул, никогда не видел этого зрелища, хотя о нем и читал. Знаю, какая редкость! Туча его тут же накрыла, и мне показалось, что с тобой что-то случилось.

Вот если бы увидел зеленый луч (что тоже величайшая редкость), я согласно шотландской легенде никогда бы не совершил ошибки в сердечных делах. А есть ли какая-нибудь легенда о красном луче? Может, ты знаешь? Зеленого луча — увы! — не видал. Надеюсь, теперь тебе ясно, почему так часто ошибаюсь, вижу козла там, где на самом деле нет ничего.

С утра ходил к мавзолею Исмаила Саманида: побывать в Бухаре и не поглядеть еще раз на это чудо архитектуры? Он в парке культуры на месте бывшего каршинского кладбища. Людей в парке было мало, сидели на скамье два старика, да ребяташки в белых панамках бегали вокруг воспитательницы детского сада.

Мавзолей Исмaила Саманида не потрясает ни грандиозностью — невелик, ни пышностью украшений — их нет и в помине! — сложен из простого желтого кирпича. И все же это едва ли не прекраснейший памятник среднеазиатского зодчества: благородное изящество и воздушность этого здания X века достигнуты рисунком кирпичной кладки стен, по красоте линий поистине волшебной. Кирпич стал тут предметом творчества (это единственный на Востоке памятник такого рода). Безвестный строитель его показал, что настоящий художник может и из кирпича создать совершенное произведение искусства.

Меня пробирает дрожь, когда думаю, что тысячу лет назад мавзолей Исмaила Саманида видел своими глазами Абу Али Ибн-Сина: он родом бухарец, здесь учился и прожил юность, а остальную жизнь скитался, спасаясь от преследований: «Когда я стал велик, то ни один город и ни одна страна не оказались в состоянии дать мне пристанища; когда безмерно возросла моя цена, то не нашлось для меня покупателя», — с горечью писал он.

Люблю погружаться в пласты истории. В памяти возникают слова, сказанные еще раньше — за тысячу лет до Ибн-Сины по поводу куда более древних времен: «О истлевшие времена, и истлевшие сказания, и дни, что ушли, и следы, которые стерлись...» Когда-нибудь и о нас с тобой скажут так. Впрочем, не все следы стираются.

Так живи, чтоб сам ты смертью был избавлен от живых,
А не так живи, чтоб смертью от себя избавить их!

Это двестишестидесятилетие Санои, поэта XII века, в переводе А. Кочеткова я бы высек на мраморе посреди Бухары. Не все следы стираются...

Был у меня прадед Иван, его следы не стерлись. Как живой встал он сегодня перед моими глазами, когда прошел под Токи-Тильпак-Фурошоном, одним из трех сохранившихся в Бухаре старинных торговых куполов.

В каменных нишах Токи-Тильпак-Фурошона во времена эмирата продавались шапки — представляешь? — одни шапки, шапки всех среднеазиатских фасонов. Здесь, разглядывая их, не раз проходил прадед Иван — первый русский востоковед, изучавший Среднюю Азию.

Прадед Иван и два послесловия

Начну с пустякового, с букв «о» и «е». Историки обычно его именуют Виткевичем: ссылаются на то, что в «документах» — буква «е». Уж если заниматься буквоедством, мне остается лишь улыбнуться: на всех моих подписях, когда пишешь скорописью, буква «о» всегда выглядит как «е». Мало того, благодаря давним общениям с Польшей в русском языке гораздо естественней звучит Виткевич.

Как хорошо это знаю! Постоянно получаю письма на эту фамилию: даже из Союза писателей с адресом, напечатанным типографским способом. Нет ничего легче, как доказать по «документам», что на самом деле и я никакой не Виткович, а ежели меня кто-нибудь так именует, — недоразумение.

Между тем на самом деле фамилия наша (знаю с детства, по рассказам отца) не польского, а сербского происхождения. Да и прадеда моего называли Иваном (по-польски было бы Ян!) в честь его деда — выходца из Сербии, бежавшего от турок в Польшу.

Еще когда я был десяти-одиннадцатилетним мальчиком, отец с гордостью рассказывал мне о своем деде Иване: о том, что за активное участие в заговоре вильненских гимназистов против царя был приговорен к смертной казни через повешение, что смертный приговор из-за несовершеннолетия ему заменили ссылкой на Южный Урал, куда был отдан в солдаты, что на Урале изучил восточные языки и сделался таким знатоком Востока, что его взял из солдат к себе в адъютанты Перовский — генерал-губернатор Оренбургского края, что к деду Ивану наезжала из Польши его будущая жена (моя прабабка — литовка), пока совсем не переселилась к нему, разделив с ним невзгоды, что, прославившись своими работами по Востоку, дед Иван был вызван в Петербург для доклада царю, накануне приема был найден убитым, а его книги, бумаги и географические карты Туркестана таинственно исчезли. Это знаю с детства — задолго до того, как документы были опубликованы.

Потом уже из работ историков узнал, что Ивана приговорили к повешению, когда ему было четырнадцать лет, потом отдали в солдаты в Орскую крепость, что, изучив у караванщиков языки, он на свой страх и риск совершил два смелых путешествия в Бухару, что в Оренбурге близко сошелся с писателем Владимиром Далем (прославившимся потом составлением Толкового словаря русского языка), что описание Бухары прадеда Ивана сохранено нам как раз в записях В. Даля, что среди бумаг, таинственно исчезнувших в день убийства, если верить полицейскому

донесению, было двадцать рукописных словарей — каждый от шестисот до девятисот страниц, больше ста рукописных карт и множество тетрадей со сказками и стихами, записанными в Средней Азии и Афганистане, и что спустя сто лет кое-что из этого обнаружилось в Англии, а это значит, что убили его англичане, чтобы завладеть бумагами, а заодно рассчитаться за то, что он выжил из Афганистана английского резидента Бернса: не смогли убить на Востоке, расправились в Петербурге. Кстати, Бернс в своей книге именовал его правильно — Витковичем!

Жизнь и смерть прадеда Ивана проложили глубокий след в семье его сына — моего деда Антона: в честь отца Антон назвал старшего сына Иваном; мой отец Stanisław, наслушавшись рассказов о деде, воодушевленный ими, еще учась в реальном училище в Елисаветграде, был сослан как «бунтовщик» в Соловки, так и не окончив училища; брат отца Альберт был, наоборот, заморожен рассказами о среднеазиатских приключениях деда Ивана, двенадцатилетним мальчишкой сбежал из дому в Туркестан. Много лет о нем не было ни слуху ни духу, лишь перед первой империалистической войной «нашелся», уже немолодой, обзаведшийся семьей, а во время войны переселился в Варшаву. С ним я никогда не встречался, но табличку с его именем на принадлежавшем ему доме на Жуковской улице видел в двадцать втором году, когда приехал в Ташкент.

А теперь два послесловия. Было у меня в жизни удивительное событие, которое прямо связываю с прадедом Иваном.

В 1960 году впервые в жизни посетил Литву. Трясусь в автобусе из Каунаса в Бирштанас, раннее утро, сквозь пыльное стекло вижу поля и леса, никогда тут не бывал, но ощущаю, как пахнет вон тот луг, как влажен воздух. Такое чувство, что видел это тысячи раз, что это моя родина, все мне мило, каждый полевой цветок, каждый куст. Трудно рассказать тебе, какое чувство охватило меня, какая полнота ощущений. Среди луга автобус из-за какой-то неполадки остановился. Я выскочил, и мне в лицо сразу пахнуло всем, что ждал, что безошибочно угадал: щек и лба коснулся реденький туман — свой, литовский, неповторимый, со своей особой влажностью.

С этого дня жил как во сне. Неман и леса вокруг Бирштанаса меня околдовали, все на прогулках приобретало для меня таинственный изначальный смысл, литовская и польская речь ласкали слух, как музыка. Ну, польская... как-то объяснимо: в детстве слышал, как отец разговаривал по-польски с тетей Тосей и тетей Богусей.

Но литовская? Не слышал ее никогда! И тут мне впервые

пришло в голову: уж не наследство ли это, доставшееся от прадеда и прабабки?! Признаки наследственности передаются, как тебе известно, как раз через два поколения: цвет глаз, цвет волос, некоторые физические особенности. На этом границы науки кончаются.

Кто знает, быть может, вместе с генами передаются еще и воспоминания? Самые сильные ощущения? Если так, то именно Литву должны были оставить мне в наследство прабабка и прадед. Ведь Литва была их детством — самыми острыми ощущениями жизни: в далекой ссылке им должна была мерещиться милая земля детства, и эта тоска по родине сильнее другого должна была отозваться в крови правнука. Фантастика? Может быть.

Но когда после Бирштанаса приехал в Вильнюс (город прадеда Ивана), со мной начало твориться нечто и впрямь фантастическое. Мало того, что было такое чувство, будто вернулся домой и что самое большое счастье — жить тут, в этом городе... Иду по улице, говорю себе: вон там, за углом, должен быть храм, ясно рисую себе его, убыстряю шаги, почти бегом заворачиваю за угол. Передо мной этот самый храм (никогда не видел его — понимаешь?!). Мне казалось, что сошел с ума. Бродил по Вильнюсу, чтобы убедиться вновь и вновь в том, что многое угадываю, многое знаю. Конечно же, и ошибался, однако прими в расчет, что за сто сорок лет Вильнюс не раз перестраивался, согласишься: даже одно попадание из семи — фантастика!

После этого расспрашивал многих, кое-кто рассказал мне — правда, туманней — о похожих случаях. Но вот однажды задал этот вопрос в доме Козловских. Оказалось, в юности Галя пережила такое же.

В 1921 году, когда молодая Советская Республика установила дипломатические отношения с Турцией, Галя вместе с отцом попала в Стамбул. Отец ее, Л. Ф. Герус, старый большевик, родом донской казак, был послан с семьей в Турцию в составе нашего торгового представительства.

Гале было тогда четырнадцать лет. Вместе с матерью пошла осмотреть старую византийскую церковь. Этот район Стамбула был тогда полуразрушен: незадолго горел. Где пустырями, где улицами шли... Вдруг Галя схватила мать за руку: «Там за углом — баня!» Свернули за угол, видят — баня! «А там — мечеть!» Мать была потрясена. Сама Галя потом всю жизнь не могла себе объяснить, в чем было дело, теперь же после моего рассказа:

— Да ведь прабабка моя турчанка! С детства знаю: ее

девчонкой пленили донские казаки при взятии Измаила. Нет ничего невероятного, если она детство провела в Стамбуле, как раз в той части города...

Опять: райская земля детства и по ней на далекой чужбине тоска! Есть над чем задуматься.

Раз уж вспомнил прадеда, расскажу тебе (совершенно в духе его дневниковых записей, пересказанных Далем) историю о последнем амударьинском тигре. Случилась на моих глазах.

Рассказ с неожиданным концом

В 1946 году летом я приехал в Ходжейли — пристань в низовьях Аму — и вошел в кабинет начальника пароходства в то мгновение, когда там мучительно раздумывали над загадкой. Была в нескольких десятках километров ниже Ходжейли на берегу, заросшем тутами — среднеазиатскими джунглями, — бакенная будка, жили в ней два бакенщика. Дня три до того шел мимо буксир, шел вечером: огни на бакенах не горят, бакенщиков не видать... Погудел-погудел пароход и ушел.

Допустим, бакенщики в ближайшем селении загуляли на свадьбе, непорядок, конечно, но все может быть... Загадка не в этом! Вот в чем: наутро на моторной лодке туда поехал инспектор. И от него ни слуху ни духу! Ждали-пождали день, два... Надо что-то предпринимать! Подумали-погадали, решили на этот раз послать катер. Я получил разрешение ехать со всеми.

Потащились на катере по Аму. С нами были милиционер и врач. На всякий случай прихватили три ижевских ружья (откуда-то со склада!), к ним патроны с жаканами: словом, экспедиция! Я стоял у борта, не мог оторвать взгляда от Аму, катящей свои кофейно-рыжие воды. Над нею волновался и дрожал нагретый нижний слой воздуха, все время изменяя очертания далеких предметов: встречного буксира, что тащил за собой баржу, каракульской отары, спустившейся к реке на водопой, колхозного каюка, над которым реял черный прямоугольный парус.

Стали подъезжать, все оказалось на месте — бакенная будка и столб с перекладинами и шарами: покачивается на воде лодка бакенщика, рядом на приколе — моторка инспектора, но людей хоть бы душа! Сбросили якорь, спустили с борта лодку, в нее прыгнули двое матросов и я. Мне, как бывалому охотнику, вручили ружье.

Гребем к берегу, солнце греет спину, будка все ближе, рядом с ней, возвышаясь над зарослями, облитые полуденным светом недвижные листья туранга, местного тополя. Тишина! Только весла шлеп-шлеп.

Причалили, привязали лодку, вышли, огляделись — ни звука. Жутковато, от этого и сами молчим: ощущение затаившейся угрозы. Сторожко оглядываясь, подходим на цыпочках к будке, постучали. Всплеск голосов, уловил слово «тигр». Вскинул ружье, встав спиной к стене, освободил пальцем предохранитель, глядявваюсь в заросли...

А внутри гремят: отодвигают столы, засовы, дверь распахивается, нас буквально втаскивают внутрь, захлопнув

тотчас же дверь. Двое бакенщиков, обросшие, небритые, третий инспектор, тоже с подглазьями усталости, ни слова не говоря, подводят меня первого (потому что в руках ружье) к забаррикадированному боковому оконцу. Гляжу, под столбом с перекладами (с реки-то не видно!) лежит тигрище. Глядит на катер, позевывает, раскрывая пасть. Конечно, нас видел! От этой мысли озноб...

Прицеливаюсь через стекло. Тут тигр встает на лапы (на нас и не глядит). Тороплюсь, нажимаю на спусковой крючок. Осечка! Дрожащими руками меняю патрон. Тем временем тигр царственной походкой скрывается в кустарниках. Ушел...

С катера сошли на берег остальные, оживление. смех, суета. Теперь тигр не подойдет — все понимают, однако поставили троих караульных с ружьями. Я ружье отдал, захотелось потолкаться, поболтать...

Бакенщики рассказали: однажды утром встают, а под столбом лежит тигр. Забаррикадировались — ружей-то нет! Ружья на складе в Ходжейли, а не тут! Прошел день, тигр все лежит да смотрит сквозь заросли на реку, на идущие мимо буксиры, баржи, каюки. Ночью не спали, чудилась у порога мягкая переступь звериных лап. Встало солнышко, а он лежит, позевывает, место, что ли, понравилось...

Приехал инспектор: как и мы, тигра не заметил. Открыли ему. Он: «Ах вы, такие-сякие!» Его втащили, как и нас, и к окну — сразу язык прикусил. Еще прошла ночь, наутро тигр снова на вахте — деваться некуда! Не выйдешь! Не закричишь! Как в мышеловке, сидели втроем, затаясь.

Спросишь:

— А в чем неожиданный конец?

Догадайся! Думаешь, убили тигра? Нет! Устроили охоту и поймали живьем? Нет! Оставили бакенщикам ружья? Как бы не так — ружья увезли обратно на склад! Не догадаешься. Просто разобрали бакенную будку по бревнышку, погрузили вместе с пожитками на катер и перевезли на противоположный берег Аму, там дом вновь собрали. Все, в том числе и я, превратились в строителей, и бакены загорелись. Победу одержал тигр.

8 мая. Бухара. Полночь

Прошелся по вечерней Бухаре. Смотрел на толпы девушек и юношей, гуляющих, веселящихся. И, глядя на них, вспомнил, как сюда приезжал в том же 1946 году.

Ничего в юности так страстно не хотят, как стать единственными, неповторимыми, и нигде так далеко от себя

этого не ищут. Одни лишь гении сразу летят как птицы, остальные долго скачут на чужих конях. Когда седла хоть и чужие, но необычные, ярко раскрашенные, их седоки, не отнимающие ног от своих причудливых стремян, со временем превращаются сами в окаменелые растения.

Ясно увидел это, встретившись с Сашей Бугославским — помнишь? — адептом самовитого слова, футуристом, жившим в Баку в двадцатых годах. Но как встретил его здесь, в Бухаре, — отдельный рассказ.

В 1946 году меня обуяла идея написать художественную географию Узбекистана, своего рода беллетристический путеводитель. Натолкнул меня на это писатель Николай Николаевич Михайлов, прославившийся книгами-путешествиями. После революции не было еще тогда издано ни одной популярной книги о земле, которую считаю второй родиной.

Мне захотелось «открыть» Узбекистан тысячам людей, а для этого (и младенцу ясно) необходимо было все посмотреть своими глазами, год-полтора ездить, глазеть и глазеть.

Кто мог дать столь длительную командировку? Никто! Хотя убейся, надо самому найти — и не один, а десяток путей! Для начала взял командировку от «Гудка». Оказалось, счастливая мысль! Сумел, приехав в Ташкент, выпросить в управлении железной дороги себе отдельный вагон: крошечный вагончик о два окна на каждую сторону, двухосный — на четырех колесиках, с самоваром и проводником.

Прицепил свою «коробочку» (как величают ее железнодорожники) к товарному составу — и прямехонько в Бухару. Со станции Каган маневровый паровоз подогнал по ветке мою миниатюрную гостиничку под старинную стену Бухары, тогда еще вздымавшуюся над окрестными домами и деревьями, но уже осыпавшуюся, изборожденную гигантскими трещинами.

Пройдя сквозь катакомбы бухарских улочек, разыскал обком партии, пришел с письмом (подпись Усмана Юсупова, секретаря ЦК, был у него в Ташкенте, рассказал о замысле): в письме слова обычные: «Прошу оказать всемерное содействие...» Отзвук здесь, в Бухаре, тоже нормальный: «Съездите туда-то, посмотрите то-то...» (о «Гудке» я — ни гугу! Слишком мелко!) Вежливый вопрос:

— Где остановились?

— У меня свой вагон.

Будто кто взмахнул волшебным жезлом! Секретарь обкома взял трубку телефона — распорядился передвинуть вагон под единственный у бухарской стены телефонизированный столб, а внутри установить аппарат, подключив его к бухарской сети: хотя телефон был мне ни к чему, промолчал — как-никак свидетельство о правах!

В кабинет вызвали и незамедлительно отрядили со мной заведующую лекторской группой обкома Исмаилову и двух инструкторов, прикомандировали еще и знатока бухарской старины Шаева, прикрепили машину — «виллис» военного образца, лучшего по тому времени желать не мог, всюду

проедешь! Наконец, наивысшая благодать послевоенного года — обкомовской паек: два кило баранины, кило сахара, бутылка кунжутного масла, пачка чая и четыреста граммов слипшихся конфет-подушечек ярко-розового цвета. Магическая сила таилась в словах «отдельный вагон».

Со свитой стал объезжать и обходить Бухару. О тогдашних впечатлениях распространяться не стану, скажу лишь, за три дня в Бухаре успел увидеть столько, сколько не удалось бы и за две недели.

На третий день останавливаем наш «виллис» возле Лябихауза. Над водоемом парит аист, щелкая клювом. Зеленовато-черная вода недвижно застыла у каменных ступеней: осколок старой Бухары. Целы стены древних зданий, хоть и обшарпаны. Стою, наслаждаясь воздухом старины.

Вдруг от стены Ханako-мечети отделяется того же цвета серая, выгоревшая шинель, окликает меня. Вглядываюсь: Бугославский! Обнялись. На Сашу с недоумением взирает моя «свита», объяснил в двух словах — кто. Сговорились: вечером придет ко мне в вагон, покалякаем!

Век буду помнить тот вечер. Приходит Саша, проводник вносит самовар, вываливаю на стол полученные богатства. Каждое мое движение Саша провожает мрачным взглядом, на вопросы отвечает односложно, явно задираясь: мол, ты-то эвон куда вознесся, о чем же с тобой толковать!

И уже чувствую себя бесконечно виноватым: виноват, что отдельный вагон и что на столе баранина, зажаренная проводником, а на газете слипшиеся подушечки... Сидя рядышком на вагонной полке, чаевничаем. Разговор не клеится. Так и не склеился бы и мне незачем сейчас было бы тебе это рассказывать, если бы в разгар нашей трапезы в вагон не вошел человек в кожанке, извинившись, извлек из чемоданчика инструмент и стал отсоединять телефон.

— Но почему?

— Так приказано, — сказал он и, прихватив аппарат, удалился.

Мы с Сашей с недоумением поглядели друг на друга. Вдруг у нас погас свет, почти тотчас же на столе звякнули стаканы, и чай переплеснулся на разостланную газету: это прикоснулся к нашим буферам паровоз. Выглянули, проводника не видно, куда-то отлучился, мерцают звезды, рядом пыхтящая громада паровоза... Услышали, как на наш вагон накинули крюк.

— Что это означает? — крикнул я машинисту, соскочив на землю.

— Так надо, — сказал машинист.

И «коробочка» поехала. Вскочив на ступеньки, вернулся к Саше. Нас повезли сперва в одну сторону — по полке поплыло слабое отражение фонаря, горевшего вдалеке у вокзальчика «Бухарки», потом — назад и, наконец, оставили в стороне на запасном пути. На глазах Саши мой «отдельный вагон» превратился в то, чем был на самом деле — в «коробочку» с два окна, на четырех колесиках.

Даже в темноте я чувствовал, как с каждой секундой Саша веселел, хотя беспокойство и сквозило в его голосе. Разгадка пришла быстро: услышали, как паровоз вновь приближался, увидели вереницу ярко освещенных окон длинного пульмановского вагона, его подвезли под тот самый столб. Тут объявился мой проводник: внес горящую свечу, прилепил ее, накапав стеарина на стол, и многозначительно кивнул на окно:

— Абдурахманов приехал... Его вагон. Абдурахманов — тогдашний Председатель Совета

Министров Узбекской республики. Пустячное событие это взломало лед между мной и Сашей. Посмеялись над причудами судьбы и, попивая чаек, стали разговаривать без лишних затей. Невдалеке сверкали окна правительственного вагона, где-то рядом тоненькими голосами, будто младенцы, плакали шакалы, в ту пору еще прибегавшие по ночам из пустыни под стены Бухары.

Саша рассказывал: живет так же, в каморке, притом полуразрушенной. На работу взять никто не решается: «Бродяга!» Что ни день, «выдает» новое стихотворение — извлек из кармана листки. Под стихами при колеблющихся отблесках свечи разглядел отпечатки экслибрисов: и в шестьдесят не оставил своего детского развлечения! Прочел вслух несколько стихотворений, все то же, не стихи — окаменелости.

Жизнь с годами учит нас, смягчая углы отношений, чаще и чаще прибегать к вежливым неправдам. Однако говорить вежливости, когда речь идет о призвании, — это конец. Любимая профессия требует прямоты: в этом случае щадить чье бы то ни было самолюбие — равносильно измене своему делу.

Вот передо мной шестидесятилетний поэт, жизнь позади, неколебимо стоит на своем! Посылает стихи (с отпечатками экслибрисов) в ташкентские газеты и журналы, отовсюду возвращают. Ясно представил ухмыляющиеся лица редакционных сотрудников: «Опять от этого бухарского графомана...» Голодный и гордый! Еле я сумел, да и то благодаря приключению с «коробочкой», наладить с ним человеческий разговор. С удовольствием сидит у меня, ест, пьет... Неужто подниму против него меч?!

Не поднял... Теперь, когда Саши давно нет на свете, могу

рассказать, как оно было. А тогда... Тогда наутро униженно просил Исмаилову, чтобы устроила Бугославского ну хоть заведующим красным уголком. Обещала. Твердой уверенности, что выполнит просьбу, у меня не было. Уехал...

9 мая. Бухара

С утра вышел на площадь и сел на скамью недалеко от гостиницы... Розы! Каких только нет оттенков. Вдруг кто-то садится рядом с добродушным смешком. Федя Тюменев! Давний знакомый, пиротехник, фейерверкер, один из самых опытных и искусных мастеров огня и дыма в нашем кино, чудесный человек, а главное, безотказный: ежели даже скажут сделать такое, с чем его пиротехника ну никак не может управиться, не скажет «нет». И знаешь, почему? Чтобы не испортить настроение человеку. Есть такие люди, хоть и редки.

Об одном таком слышал от Александра Петровича Довженко. В 1956–1957 годах в Москве, в сценарной студии, вел я мастерскую, в ней осваивали сценарное мастерство молодые писатели из национальных республик, а на редколлегии сценарной студии раз в неделю встречался с Довженко.

Как-то раз Александр Петрович и рассказал, как всегда подмешивая в русскую речь украинские слова:

— ... Вот у меня був директор — це директор! Rogozovskiy! Я снимал Щорса. Ну, надо снимать сцену смерти батько Боженко. Везут его по хлебам, по житю, на коне, покрытом буркой. А батько Боженко говорит: «Великодушно извините, шо помираю не на поле брани, а на плечах у хлопців!» Вот и говорю Rogozovskiy: «Хиба нельзя привезти на место съемки рояль и поставить прямо в жито? Шоб нести батько Боженко под музыку!» Rogozovskiy говорит: «Зачем один рояль, Александр Петрович? Надо поставить в хлеба два рояля: на одном будут играть — откуда понесут, а на другом — куда понесут, шоб всюду слышно было!» Хороший директор!..

Довженко растроганно улыбнулся и заключил:

— Роялев не було, но он мне не сказал «ни!». Через глухую глинобитную, по высоте двухэтажную улочку-щель, важно именуемую улицей Крупской, вышли мы с Федей на главную магистраль, прорезающую Бухару, и профланировали вдоль ряда старых морщинисто-черных тутовников. Их стволы до того кривы, что кажется, деревья изогнулись, стремясь дотянуться корнями до воды, и в этом могучем непосильном напряжении так и застыли. Дошли до Лябихауза: огромного выложенного каменными плитами водоема, окруженного с трех сторон монументальными

медресе: порталы их серы, ноздреваты, и прямо из стен торчат кустики сухой травы.

Идут люди, развеваются на ветру галстуки и кончики шелковых косынок, у водоема сидят продавцы роз. Эти еще в пестрых халатах, кое-кто в чалмах. Присели мы с Федей на каменную ступеньку водоема: разговоры о том о сем. Как всегда, дело дошло до Ходжи Насреддина, верней, на этот раз до его ишака.

Забавная история приключилась (о ней напомнил мне Федя), когда снимали «Насреддина в Бухаре».

Крик ишака

В числе «актеров» был осел. Фото осла вклеили в альбом фотопроб главных персонажей, его утвердил художественный совет. Наступил день съемки ишака: в определенный момент нужно было, чтобы он «ответил» Ходже Насреддину — заорал. Свою роль ишак вел хоть и не блестяще, но сносно. Однако, когда дошло до крика, вместо того чтобы вытянуть шею и издать трубные клики, ишак мирно стоял, помахивая хвостом.

Целый день билась дрессировщица. Назавтра ее сменил Наби Ганиев, работавший у Протазанова вторым режиссером: однако сколько ни колот палкой, ни уговаривал, ишак орать не хотел.

Подошел какой-то старик — дело было на базаре, где снималась массовка:

— Сынок, что ты делаешь со своим ишаком?

— Да вот колю его палкой и уговариваю, чтобы заорал! — сказал Наби Ганиев.

Старик усмехнулся:

— Неужели не видишь, это влюбленный ишак!

Ганиев устало отшутился:

— Вижу. Именно потому я не только уговариваю его, а прибегаю к помощи палки.

Старик сказал:

— Только человек способен орать, когда его колют палкой, и молчать при виде возлюбленной, ибо у человека от любви спирает дыхание. А влюбленный ишак поступает наоборот...

С этими словами он скрылся за поворотом улочки и спустя минуту появился вновь, ведя в поводу ослицу. Увидев ее, ишак заорал.

— Бабай! — воскликнул Ганиев. — Откуда ты узнал, что именно эта ишачка его возлюбленная?!

— Э-э, — сказал старик. — Разве тебе не известно, что ишаки тем и отличаются от людей, что готовы объясняться в любви каждой попавшейся на дороге ишачке?

Шутка шуткой, но съемка с этой минуты наладилась: как только нужно было, чтобы ишак затрубил, мимо проводили ослицу — безотказное действие!

Вспомнили с Федей, посмеялись. Федя спросил: какая была моя первая работа в кино? Ответил «Дождь в Новом Вавилоне». Не шутил.

Учился зимой 1928/29 года в Ленинграде, в Институте истории искусств и зарабатывал деньги на жизнь в студенческой трудартели. То нас посылали в порт разгружать вагоны с

«балансом», то на кинофабрике — снимался в массовках, таскал осветительную аппаратуру в цирке после вечерних представлений, где по ночам в фильме «Смертный номер» участвовали «сто львов» капитана Шнейдера. Однажды мне доверили первую самостоятельную работу: поливать через голову оператора актеров из кишки с распылителем в «Новом Вавилоне» — фильме Козинцева и Трауберга.

Как счастлив был на премьере: «Дождик-то мой!» Ни разу потом, работая в кино, не испытывал такого чистого счастья. На премьерах собственных фильмов всегда был привкус горечи: выходило не совсем так, а порой и совсем не так, как мечталось в работе над сценарием.

В сценарии комедии «Небеса», которую в 1938 году снимал режиссер Тарич на Одесской киностудии, большая и притом комедийная роль была у собаки. Съемки животных нередко оборачиваются против сценария.

Жила-была в Одессе собака — южнорусская овчарка, с белой шерстью, до того густой, что еле видны глаза. Ее откопал помощник режиссера и привел фотографа к дворовой будке. Всем фото понравилось: очень подходила для роли деревенской собаки. Сговорились с хозяевами — сколько им заплатят. И исчезли... Надолго! Уехали в Москву утверждать режиссерский сценарий, заодно и фотопробы актеров. Месяц жили в Москве, актеров утвердили, в том числе и собаку.

Вернулись в Одессу, в один из первых же дней отправились за четвероногой актрисой. Помощник режиссера скрылся в калитке и спустя минуту вышел со смущенным видом.

Тарич взволнованно спросил:

— Что случилось?

— Собаку остригли..

— Ка-ак остригли?!

— Подо льва.

Калитка распахнулась, из нее появилась процессия: впереди шел хозяин, важно ведя на поводке пса с белой гривой и кисточкой на хвосте

— Зарезали! — завопил режиссер, схватившись за голову.

В суматохе шумного разговора, в котором, как всегда в Одессе, принимала участие целая улица (все друг друга оскорбляли и не оскорблялись), выяснилось: договорившись с киностудией, хозяева переселили ее из конуры в дом. Она сделалась гордостью семьи. Соседи приносили ей конфеты и кости...

Мало-помалу в сердца обитателей улицы начало закрадываться беспокойство: уехала киногруппа в Москву — и ни слуху ни духу! Вдруг в комитете не приглянулось фото их героини?! Или самому режиссеру разонравилась... вдруг найдет другую?! На междворовом совете возобладало мнение, что следует собаку на всякий случай улучшить, тем более что на той же улице отыскался парикмахер, стригший собаку «самого Дурова», когда цирк гастролировал в Одессе.

И теперь, к негодованию улицы, отказались снимать «льва». Пес из покоев был выдворен в конуру. Вместо него взяли (времени на поиски не было) первого попавшегося эрдельтерьера.

И так как на экране он оказался не больно хорош, собачью роль укоротили вчетверо. Ножницы парикмахера ворвались в святое искусство!

Кончается день, сумерки, жара спадает. Стою у окна, вдыхая прохладу. Где-то вдали закричал ишак, с другого конца Бухары отозвался другой. Еще и еще... Ишаки покричали, покричали и одновременно умолкли. Расскажу-ка я тебе еще одну забавную историю про ишака Насреддина.

Карьера Фроси Ковалевой

Жила на свете Фрося Ковалева, работала актрисой в одном из белорусских театров. Началась война, успела вместе с мужем уехать из Минска, прежде чем туда ворвались гитлеровские танки. Мужа, тоже актера, приняли в Московский театр сатиры. Фросе устроиться не удалось, слишком много было актрис.

В 1944 году Театр сатиры начал работать над нашей (моей и Л. Соловьева) пьесой «Веселый грешник» о Ходже Насреддине. Ставили Б. Бибилов и О. Пыжова. Ишака, как и в Янгиле, решили «сделать» из двух мальчиков, прикрыв «ослиной шкурой». Когда спектакль был готов, Н. М. Горчакову (художественному руководителю театра) многое не понравилось, и он стал спектакль переделывать. Как всегда ровным, едва слышным голосом Николай Михайлович говорил:

— Ослик должен быть девушкой, изящной, легкой. Вы не знаете зрителя, ему необходим привкус эротики, иначе спектакль не будет иметь успеха.

Мы пытались спорить. Горчаков слушал, глядя на нас голубыми глазами, ласково щурясь, обворожительно улыбаясь, но был непоколебим. Нам пришлось смириться. Николай Михайлович предложил роль осла актрисам — отказались. Тогда собрал молодых актрис и, ласково улыбаясь, сказал:

— Кто сыграет ослика, тому в следующем спектакле дам главную роль, а в этом спектакле — второе место на афише.

Как ни заманчиво было обещание, ни одна актриса не решилась выйти перед зрителями «на посмеище». Тогда на репетиции Горчаков, чуть возвысив голос против обычного, сказал нам, чтобы и другие услышали:

— Упрямятся? Ну, я им покажу!..

Началась безмолвная борьба, Горчаков был в ярости: это чувствовали все, хотя лицо по-прежнему отечески «улыбалось». Однажды на репетиции к нему подошел один из «эмирских стражников» и сказал, что Фрося, его жена, согласна играть ишака. В тот же день Фрося была зачислена приказом в штат Театра сатиры, и ее прописала в Москве милиция, и она получила продовольственную карточку: словом, ишак Ходжи Насреддина ей невероятно помог.

Напуганные слухами об угрозе Николая Михайловича, актрисы начали приходить одна за другой: согласны играть ишака! Николай Михайлович, все так же обворожительно улыбаясь, их отметал: торжество его было полным. Фрося Ковалева сыграла осла, и стала на концертах выступать как

актриса Московского театра сатиры, и в следующем спектакле (Горчаков был человек слова!) получила главную роль.

Семь городов Востока оспаривают друг у друга место могилы Ходжи Насреддина: каждый утверждает, что похоронен у них. Но все сходятся на том, что родился он в Бухаре. В Испании есть памятник Дон-Кихоту, в Бельгии воздвигли памятник комиссару Мегрэ — герою Сименона... Публикуя в 1966 году в «Новом мире» очерки «Дороги, встречи, рассказы», я писал: «Хорошо бы поставить в Бухаре памятник Насреддину, чтобы перед идущим ли, едущим ли неожиданно появлялся из-за угла Ходжа Насреддин со своим ишаком». Как видно, мои строки разбудили фантазию бухарцев: прошло немного лет, и вот уже — мог ли я надеяться на это! — каменный Ходжа Насреддин едет по Бухаре на своем ишаке.

10 мая. Бухара

Не кажется ли тебе, что мы иногда ведем себя как дети. Стоит мне сказать: «Ты виновата!», сразу встаешь на дыбы: «Нет, это ты виноват!» Какое ребячество — только и делать, что виноватить друг друга! Не пора ли не только мне, но и тебе стать снисходительней друг к другу, не ерепениться по пустякам?

Да и что все наши «Ты виноват!» перед потерями, которыми «одаряет» людей жизнь! Печальные и вместе с тем странные истории случаются на свете.

Был у меня знакомый Н. Ф. Бондаренко. Жил в Ашхабаде. В ночь ашхабадского землетрясения у него погибла семья, это перевернуло его жизнь, напомнило, что смерть может прийти в любой день. И он взял обыкновенный чугунный казан, в котором готовят плов, вложил в него, химически обработав, фотографии Ашхабада до землетрясения и после землетрясения и другие интереснейшие документы, вложил туда же фотографии погибших жены и детей, залил все воском и закопал в Каракумах для... далеких потомков.

Улыбаешься? Что ж, может, и нелепо, все-таки что-то в этом есть: забота о своем месте в будущем не покидает мыслящего человека, твердо знающего, что люди жили до него и будут жить после него.

Раз в жизни и мне довелось в роли потомка «открыть» завещанный предками клад. Знаю, какое это волнение! Было не здесь, не в Бухаре, а по ту сторону пустыни Кызылкум, в Хиве, в 1946 году.

Слоняясь по Хиве, забрел я в мавзолей Пахлавана Махмуда — святыню хивинцев — прелестный мавзолей, построенный мастером, получившим у современников за удивительное искусство прозвище Джинн. На стенах, меж поливных изразцов, мое внимание привлекли два пояса начертанных арабским шрифтом стихов, спросил спутника — научного сотрудника хивинского музея, что за стихи? Тот пожал плечами. Арабского языка, как и большинство хивинцев, он не знал.

Понимаешь ли, года за три до того, копаясь в исторических материалах, наткнулся на Пахлавана Махмуда, его образ меня пленил: в XIII веке был самым сильным борцом своего времени, на его выступления в Хорезме, Хорасане, Индии стекались из далеких городов тысячные толпы, чтобы хоть издали посмотреть на прославленного пахлавана (силача). Однажды два войска даже прервали битву — установили перемирие, чтобы вместе присутствовать на поединке Пахлавана Махмуда.

Согласно свидетельствам современников Пахлаван Махмуд, кроме того, слагал музыку и стихи. Сунулся я в Ташкенте к востоковедам: ни в одном хранилище рукописей стихов его тогда не было. Ну и, попав в Хиву, стал расспрашивать, мне сказали, что два дивана (сборника) Пахлавана Махмуда гуляют где-то по рукам: будто бы, собираясь по ночам, их читают старые люди. Добраться до них мне не удалось. В мавзолее же стихи на стенах — по внешнему виду, по строфике — показались мне непохожими на те, какие обычно в мечетях. Подумал: уж не его ли стихи?

Спустя несколько дней посчастливилось в Хиве найти старика, учившегося в медресе и читающего по-арабски. Обнаружилось, что это не арабский язык, а фарси (хивинцы, как правило, не знают и фарси), а главное, что это (угадал! понимаешь!) рубаи — четверостишия. Передо мной был избранный том стихов Пахлавана Махмуда. Да каких!

Над решеткой надгробия:

Сто гор кавказских истолочь пестом,
Сто лет в тюрьме томиться под замком,
Окрасить кровью сердца небо — легче,
Чем провести мгновение с глупцом.

На стенах:

Хоть трус усердно золото чернит,
Он в медь его вовек не обратит.
Псу — всякий трус, реке — герой подобен,
А где тот пес, что реку осквернит?

Зимой костер — прекрасней нежных роз,
Кусок кошмы — прекрасней шелка кос.
Пирьяр-Вали вам говорит: прекрасней
Клеветника — цыганский драный пес.

И в других та же свобода мысли и поэзия жизни, не имеющие к исламу даже отдаленного отношения. И его-то сделали хивинским святым!

А получилось так: весь Хорезм гордился своим богатырем, которого никто не мог одолеть. После его смерти хивинцы именем его нарекли канал, орошающий хивинский оазис: канал Палван-яб («палван» — то же, что «пахлаван»). Его именем называли городские ворота: Палван-дарваза. А кочевавшие по соседству туркмены-номуды сделали литературный псевдоним Пахлавана Махмуда — Пирьяр-Вали — своим воинским кличем: устрашая врагов этим именем, они бросались в битву. Что против такой славы могли поделать ревнители веры?

Тогда они решили посмертно «приручить» Пахлавана Махмуда. Сколько раз в истории народов так же посмертно «приручали» популярных философов и поэтов, выдергивая из них отдельные строки, объявляя их главными в наследстве, выхолащивая и умерщвляя живое. Хивинские ревнители веры объявили Пахлавана Махмуда святым. Порукой успеха было для них то, что народ не знал грамоты, никто не мог сам прочесть рубаи на стенах. Пахлаван Махмуд, скептик, завещавший похоронить себя дома, в Хиве, внутри своей шубошвейной мастерской, превратился посмертно в святого, а его мавзолей, голубой купол которого сияет в центре Хивы, — в храм.

Тогда же написал об этом в книге. И теперь в мавзолее Пахлавана Махмуда под арабскими письменами его четверостиший висят доски с переводом стихов: храм опять превратился в избранный однотомник. Приятно думать, что вернул его людям.

В поездках по землям Хорезма не раз останавливался я перед развалинами, засыпанными песками пустынь, и всегда сжималось сердце! Хаварезм! Страна Света! Какая полная тут была жизнь! Сколько надежд! И что от всего осталось?!

Давно известно, легенды — следы ушедшей жизни. По

исследованиям академика С. П. Толстова, историю трагической любви Гариба и Шасенем знали еще в древнем Хорезме: там она произошла, потрясла современников и оттуда из уст в уста пошла через века.

Я бродил среди развалин крепости шаха Ахмада, где согласно легенде все началось, и, глядя, как бы не наступить на змею, единственную жительницу этих покинутых мест, — поднимал из-под ног то битые черепки, то обломок медного предмета, то бусину. Прелестнейшая из всех известных мне легенд Востока о любви тоже полусасыпана песками, перегружена множеством инородных «камушков»: среди осколков лишь угадываются очертания «прекрасного храма».

И мне захотелось самому проникнуть в тайны мастерства художников-реставраторов, возвращающих памятникам прошлого первозданную красоту, захотелось с помощью материала, обработка которого — мое ремесло, с помощью слова очистить легенду о Гарибе и Шасенем от песка времен, собрать и склеить все то, что раскрошилось в изустных пересказах.

Начал я с того, что стал выбирать лучшие словесные кирпичи и класть их на место: несколько чудесных по красоте камней «вытесали» переводчики А. Кочетков и Г. Шенгели. Использовал я и запись конца легенды, сделанную М. Лермонтовым.

Кроме тщательности, которой требовала эта работа, трудность была еще в том, чтобы соединить древние речевые обороты народной поэзии с простым языком человеческих чувств — так, чтобы они сплелись воедино, не мешая друг другу, иначе мозаика слов и звучаний заслонила бы человеческую историю, которая некогда так взволновала сердца и продолжает их волновать.

На свой страх и риск строка за строкой восстановил я тридцать две узорчатых словесных плиты, из которых состоит этот древний храм любви, с тем чтобы предложить его тебе и людям на обозрение.

Рукопись захватил с собой. Сегодня и завтра, дыша воздухом старины, подправляю, добавляю, если что-либо попросится на кончик пера, и привезу. Надеюсь, она доставит тебе удовольствие. Однако, печатая ее, вынужден буду вынести этот миниатюрный роман за рамки моего путешествия, иначе он величиной своей собьет ритм книги и сомнет ее конец.

На этом поставлю точку. Грустно думать, что путешествие кончается, весело думать, что скоро увижу тебя.

13 мая. Ташкент

До посадки в самолет еще полчаса. Приехал в аэропорт за час

— зарегистрировать билет и сдать чемодан. Привык, чуть передышка — раскрывать «колибри», и вот пишу... Отгостился, отъездился. Пора и домой: за свой стол, за чистый лист бумаги, один вид которого влечет к работе.

Замечала ли ты: каждый год мы меняемся и забываем, какими были. Если бы не это спасительное свойство все забывать, людям было бы жить куда тяжелей. Да и разве можно глядеть назад, когда идешь вперед: эдак вывернешь шею, споткнешься, лоб расшибешь. Но раз в жизни, вероятно, каждому необходимо оглянуться, вспомнить все, увидеть себя со стороны.

Конечно, опыта с годами прибавляется. Вместе с тем со дна души выступают мели, и мы перестаем их замечать. Уходят увлечения юности, и остаются предрассудки души. Мелочи пятнают разум, личные обиды вырастают до вселенских масштабов. Человек боится трезво глядеть на мир, так как это угнетает надежду. Из-за предрассудков мы бываем почти не в состоянии разобраться — кто прав, кто виноват в каком-либо деле, потому что прежде всего спрашиваем о другом человеке, «кто он и откуда», и это закрывает суть дела.

Встреча с самим собой — со своим прошлым заставляет человека думать. Оглядываясь назад, ты свободен от уличных сплетен, зависти соседей, повседневных житейских забот — от всего, что из века в век отрывает человека от созерцания великого и дробит его дни, затемняет ум, ожесточает сердце. Время предстает перед глазами очищенным, освещается внутренним светом.

На своем веку мы видели всякое, всякое пережили. Но когда обнимаешь все взглядом, становится осязаемым главное: в Средней Азии в течение веков о человеке говорили: «Тугульды — улыды» — «жил — умер», так бесплодно проходила жизнь большинства людей. О моих сверстниках, современниках, этого не скажешь никак, они заполнили последние полвека таким количеством дел и событий, каких хватило бы не на одно столетие, и благодаря их труду человек переместился в центр жизни.

Теперь говорят: «Человек без любви — осел, человек без стремлений — глина». Именно этим — любовью человека и его стремлениями, свершенными и еще не свершенными, — ныне оценивается его жизнь. Вот почему, прощаясь со своим прошлым, отделяя его от себя, чтобы вновь повернуться к будущему, говорю: пусть будет труд, пусть будет счастье!.. И пусть будут и происшествия: ведь мы еще живем!

... Конец поездке, воспоминаниям: через семь часов — дома! И опять стану жить сегодняшним и завтрашним днем, как все, как

всегда.

А пока... Хочу занять твой досуг небольшим романом о любви. Это легенда Средней Азии... и жизнь. Пусть это будет приложением к моим письмам.

Роман о Гарибе и Шасенем





Все начинается с игры в этом подлунном мире и кончается бедою.

Это случилось в тот час, когда веревки шатра мрака натянулись на колышки светил и звезд, попросту было вечером. О, Диарбекир, без которого не могут жить хоть раз здесь побывавшие! Пахло полынью, позвякивали бубенцы на шеях еще не уснувших верблюдов, и всюду слышались детские голоса.

— Гариб! — сказала Шасенем, прыгая на одной ноге. — Давай играть в поцелуи. Если завтра я приду в мектеб первая, ты проиграл два поцелуя, ты первый — я проиграла!

— Зачем буду играть в эту игру? — сказал Гариб. Он уже носил папаху на голове — ему шел пятнадцатый год, ей не исполнилось четырнадцати.

— Боишься проиграть? — засмеялась Шасенем.

— Хочешь, сыграем, мне все равно.

— Гляди же, не проиграй! — сказала Шасенем и побежала к башенкам, обрамлявшим ворота Золотой крепости шаха Ахмада.

А Гариб свернул к стойбищу войлочных кибиток, которые едва виднелись во тьме.

Всю ночь прохлада поглаживала землю. В воздухе, забираясь в кибитки, реяли сны. Пришел час, когда небо положило, как подарок на блюдо, золотой диск солнца. Шасенем вбежала во дворик мектеба — еще нет Гариба! — и стала поджидать, глядя на ворота. Один за другим входили ученики: меньшие принялись метать альчики — бабки. Долговязый Шавелед спросил:

— Хорошо ли сегодня почивал ваш отец, шах Ахмад, да не сядет ни одна пылинка на пути его совершенства?!

Шасенем в ответ только тряхнула косичками, а когда в ворота вошел Гариб, запрыгала:

— Ты проиграл! Ты проиграл! Плати два поцелуя! — и

подставила щеку.

Гариб не знал, куда деть глаза от стыда: ведь на него смотрел Шавелед! Гордо Гариб два раза прикоснулся губами к щеке Шасенем и сказал:

— Давай сыграем еще!

— Опять проиграешь! — сказала Шасенем.

К ним подошел Шавелед:

— Примите и меня в эту игру.

— Нет, — сказала Шасенем.

— Почему?

— А ты подумай! — сказала Шасенем и засмеялась. — К долговязому долго ум не приходит! — и убежала в мектеб.

Мир потемнел для Шавеледа, как бычок кинулся он на Гариба. Удар Гариба сшиб его с ног, Шавелед вскочил, готовясь нанести ответный удар. Но в воротах показалась чалма, за нею рыжая, крашенная хной борода, а потом и весь целиком domuла Сеитнияз-мюнеджим. Ученики исчезли в помещении.

Они расстелили там свои кошмы и коврики — мальчики с одной стороны, девочки с другой, прислонили тетради и книги на доски-подставки, открыли пеналы с чернильницами, поджали под себя ноги и начали зубрить каждый свое, покачиваясь вперед и назад, сгибаясь и разгибаясь. Младшие учили азбуку, старшие — священные стихи. Домула Сеитнияз-мюнеджим уселся, возгласил:

— Благословение над шахом Ахмадом и над семьей его, пока сверкает молния и солнце восходит с востока! — и посмотрел одним глазом на Шасенем.

2

О, комната шахини, драгоценный алмаз! Сколько в ней ковров! Сколько одеял! Сколько сундуков! И все блестит, будто смазано салом. Шах Ахмад сидел на сундуке. А шахиня, разодетая — одних колец на ее руках было шестнадцать, нарядная, как курица, которая привела себя в порядок клювом, ходила по комнате и жалобно говорила:

— То кровь льется из моих глаз, то сердце горит от скорби...

— Что случилось? — спросил шах.

Шахиня хлопнула в ладоши, и в комнату вошел Шавелед. Он упал на колени:

— Милостивый шах! Если сказать — язык жжет, не сказать — тоже плохо.

— Говори!

— Гариб осмелился солнце измазать грязью, он играет с лунной в поцелуи!

Шах швырнул Шавеледу серебряную монету:

— Бери и убирайся!

Подобрав монету, Шавелед удалился. Шах походил, походил и сказал:

— А почему бы им не играть в поцелуи? Всем известно, их обручили еще в колыбели.

Шахиня пришла в великий гнев:

— Как? Вы согласны, чтобы они играли в поцелуи?! Но Гариб так беден, что его кибитку можно на одной курице перевезти!

Шах сказал:

— Я написал бумагу визирю, отцу Гариба, что выдам за его сына свою дочь.

— Раз визирь умер, его бумага тоже умерла, — сказала шахиня. — А украшать райской розой верблюда... Вы хотите, чтобы все шахи и падишахи перестали посылать к вам послов?

— Не хочу...

— Ну а если не хотите, так нечего выдавать Шасенем за безродного сироту! А я... я Шасенем не пущу больше в мектеб. Нечего ей учиться!

— Пусть не учится... — сказал шах.

— Да! Она уже достигла брачного возраста, — сказала шахиня и дернула шаха за рукав. — О мой шах! Выдайте ее за Шавеледа, его отец как-никак мой брат, а не какой-то там сын чабана.

— Нет, — сказал шах. — Шавелед доносчик, а донощиков награждают деньгами, за них не отдают дочерей.

3

И еще один черный ворон ночи скрылся в гнезде, и взлетел еще один белый гусь утра. Гариб вбежал во дворик мектеба, заглянул во все углы, обрадовался, что пришел первым, и стал поджидать, глядя на ворота. Один за другим входили ученики, меньшие начали метать альчики-бабки. Шавелед сказал:

— Мечтаешь, Гариб? Как бы к дырявому халату пришить золотую заплату? — захохотал и ушел в помещение мектеба.

А Шасенем все еще нет. Нет и нет Шасенем! Где же, спросите, была Шасенем? Во дворце. Она была во дворце и металась по комнате, и в ее уши входили, не достигая сердца, слова шахини:

— Дитя! Я тебе говорю, а ты меня слушайся!

— Ну в последний раз! — крикнула Шасенем.

— Нет! Ты уже достигла брачного возраста. Хватит тебе буквами да звездами баловаться.

— Только на сегодняшний день пусти!

— Нет, теперь ты займешься другим: настало время тебе готовиться к свадьбе.

— Ты хочешь отдать меня замуж? — удивилась Шасенем, ибо эти слова достигли дна ее души. — За кого?

— Благонравная дочь не задает такие вопросы, — сказала шахиня, вышла и заперла снаружи комнату Шасенем на замок.

О Гариб! Не оглядывайся на ворота, не ожидай, что в них покажется солнце! Не солнце, крашенная хной борода в них показалась. Ученики бросились в дверь, домула Сеитнияз-мюнеджим скрылся за ними, лишь тогда Гариб оторвал глаза от ворот и вошел в помещение.

Покачиваясь, ученики уже зубрили каждый свое. Только успел Гариб постелить свою войлочную кошму, как услышал:

— Эй! Гариб! Ты выучил свой урок?

Гариб подошел к домуле, но взор его все еще блуждал возле дверей.

— Ты думаешь, что урок за тебя мне ответит вон та дверь? — спросил домула.

Ученики захихикали. Гариб бросил вокруг отчаянный взгляд и неожиданно для себя запел:

О друзья мои дорогие,
Что случилось? Любимой нет!
Мусульмане, братья родные,
Что случилось? Любимой нет!..

Домула выпучил глаза, ученики разинули рты. Гариб пел.

«Я приду», — она обещала,
Но минут утекло немало,
Время завтрака миновало...
Что случилось? Любимой нет!..

Домула взвизгнул:

— Ты что?! — поднял палку.

Гариб увернулся и выскочил вон. Нахлобучив папаху, слетевшую с его головы, он помчался прямо к крепости шаха Ахмада; крадучись, проскользнул за спиной ясаула с золотым копьём, охраняющего ворота; вскочил на коня с золотой попоной:

конь стоял под окнами дворца возле золотых яслей с кишмишем и горохом. Со спины коня Гариб взобрался в окно и очутился в комнате Шасенем.

— Гариб?! — воскликнула Шасенем. — Давай свою щеку! Я проиграла! Скорей! А то нас могут увидеть, и тогда все пропало. Меня больше не пускают в мектеб! Говорят, я достигла брачного возраста. Скорей давай щеку!

— Нет, Сенем, мы не будем больше играть в эту игру. Всем известно, мы предназначены с колыбели друг другу. Завтра же пошлю мать к шаху Ахмаду сватать тебя.

— А если отец меня тебе не отдаст?

— Тогда я тебя украду! — сказал Гариб и выпрыгнул в окно.

Шасенем выглянула: вздрагивая кожей, стоял конь возле яслей с кишмишем и горохом, но Гариба и след простыл.

4

— Что стрела минует цель, видно по натянутой тетиве. Перед шахом Ахмадом стояла мать Гариба, теснились придворные, старая Абадан говорила:

— ... Шасенем и Гариб достигли брачного возраста. Настало время, справедливый шах, исполнить бумагу.

Она протянула шаху бумагу, на ней две подписи и печать. Шах Ахмад поморщился и сказал:

— Раз твой муж умер, бумага тоже умерла, — разорвал бумагу и швырнул клочки на ковер.

Держатель царственного кувшина полил шаху воды — вымыть руки после бумаги, и держатель царственного полотенца стал их вытирать. Абадан поправила клок седых волос на голове и сказала:

— О шах! Каждое неисполненное обещание — это безводное облако, нена точенная сабля и бесплодное дерево. Не будет тебе удачи! — и повернулась, чтобы уйти.

Но ясаулы подхватили ее под руки и поставили перед троном.

— Вот, оказывается, какой у тебя злодейский умысел! — сказал шах.

Держатель царственного полотенца воскликнул:

— Наш шах — по ярости и мести Сатурн! По милости — Юпитер! По силе и стремительности — Марс! А по могуществу таков, что солнце является его рабом!

— Повелеваю! — сказал шах. — Имущество у этой

презренной старухи отобрать. А ее, и ее сына Гариба, и ее дочь изгнать в Змеиные пески. Пусть пасут там наших овец.

5

О превратный мир! Дудели трубы, гремели барабаны, толпились люди, ясаулы уводили в изгнание Гариба, его старую мать Абадан и его сестру смуглую Гюль-Джамаль: у всех троих руки были связаны за спиной. За ними ясаул вел под уздцы клячу, такую худую, что и вороне клюннуть некуда. На клячу была навьючена ветхая кибитка: рваные кошмы трепались на ветру и торчали колья.

В окне Золотой крепости стояли шах, шахиня и Шасенем. Шасенем крикнула:

— Гариб!

Гариб услышал, обернулся, крикнул:

— Не забывай меня! Помни, что я живу!

Ясаулы копытами подтолкнули Гариба. Шасенем вцепилась руками в подоконник, да так, что шах и шахиня не могли оттащить ее от окна. Она смотрела, как ясаулы все дальше уводили в пески Гариба, его мать, и сестру, и навьюченную кибитку. И когда все исчезло среди песчаных барханов, Шасенем сказала:

— О великий аллах, охрани его от бед и несчастий и не посылай ему другого горя, кроме любви ко мне!

6

Жаждающему судьба посылает воду не только в золотом сосуде, но и под камнем в пустыне. Смуглая Гюль-Джамаль, сестра Гариба, пасла шахских овец, свистел и щелкал в ее руке бич, вился дымок над рваной кибиткой, старая Абадан готовила пищу, выходя из кибитки и вновь в ней скрываясь. Из-за барханов появился путник, он был в простой одежде, с посохом, в пастушьей папaxe, борода его была одета серебром.

— Мир этому дому, — сказал путник.

— Добро пожаловать, здравствуй, — ответила Абадан. — Войди в кибитку, странник. Сядь, отдохни, сними свою обувь.

Путник вступил в полумрак кибитки. В ней было пусто, только на очаге в казане варилось мясо, на решетчатом осто

висело несколько кожаных бурдюков и сосудов, да в стороне на кошме лежал Гариб: его глаза были широко открыты, но в них не было жизни. Путник сел возле очага и снял свои грубые башмаки. Абадан кивнула на Гариба:

— Сынок. Уже целый год лежит.

— А какова причина болезни?

Абадан положила гостю в миску кусок мяса и сказала:

— Хотя тело его здесь, но его сердце там. Только раз в сутки, вскоре, как загорится звезда Зухре... он сядет, возьмет в руки саз и запоет. Но и тогда он нас не узнает...

Гариб пошевелился.

— Вот... Сейчас... — прошептала мать.

В дверном проеме на небе начала разгораться Зухре, вечерняя звезда. Гариб привстал, мать сунула ему в руки саз, Гариб ударил пальцами по струнам и запел:

Я сбился, о Зухре, с дороги,
Сведи меня на верный путь,
Я, как Меджнун, лежу убогий.
Как мне Лейли мою вернуть?..

Гюль-Джамаль пригнала к кибитке отару овец на ночлег, вошла, поклонилась гостю, взяла в руки мясо, стала с жадностью есть. Гариб пел:

Без милой плача и рыдая,
Я на костре лежу, сгорая.
Я — лебедь, вокруг — пустыня злая,
Дай мне в воде крылом плеснуть.
Ответа просит раб гонимый,
Лежащий здесь, огнем палимый:
Соединимся ль мы с любимой,
Увидимся ль когда-нибудь?

— Увидитесь! — сказал странник. Гариб медленно повернулся к гостю:

— Кто ты?

У Гюль-Джамаль от удивления выпало мясо из рук, мать ахнула:

— Заговорил... Гариб заговорил! Мой верблюжонок! Вглядываясь в странника, Гариб спросил:

— Ты Хидыр, покровитель пустыни?

— Для тебя куда важнее, что я прибыл из Диарбекира и

видел Шасенем, — уклончиво сказал странник.

— Горе мое выше головы моей! — воскликнул Гариб и вскочил. — Где ты видел Шасенем?

— В саду... И красоту ее сада невозможно описать: войдешь в него — грусть переходит в радость, слезы в смех. Шах подарил этот сад Шасенем, чтобы она могла выбрать там себе жениха. Но Шасенем всем отказывает, она ждет тебя, Гариб!

Гариб схватился руками за сердце и бросился вон из кибитки. За ним под шатер ночи выбежала старая Абадан.

— Гариб! — крикнула мать.

Гариб повернул обратно, подбежал к страннику, который уже стоял у входа в кибитку:

— Может быть, это была вовсе не Шасенем?

— Эта девушка такой красоты, что ни ешь, ни пей, только любишься, а идет она такой плавной поступью, как будто раздумывает — наступить или не наступить.

— Да, это Шасенем! — убедился Гариб и склонил голову перед матерью. — Прости меня, мать.

— Не уходи, сынок! — воскликнула Абадан и заплакала.

Гариб обнял ее:

— Не плачь, мать.

— Не обращай внимания на мои слезы, сынок. Иди, только помни... — Она отерла глаза. — Где бы ты ни был — даже в кривом переулке, всегда говори прямо. И еще помни: короткий меч в руках храбреца становится длинным. И еще... — Абадан зашла в кибитку, вынесла саз и папаху, дала сыну в руки саз, надела ему на голову папаху. — ... Если нет советчика, положи шапку на землю и хоть с ней посоветуйся.

Она обняла сына, и Гариб под шатром звездного неба пошел по пескам.

Сказано: «Полнота удовольствий и улада от богатств этого мира в том, чтобы повидать невиданное, и поесть нееденное, и найти не найденное, а это все возможно только на базаре». О, базар в Диарбекире! Чего там нет: и ковры, и седла, и украшенные переметные сумы на верблюдах, и детские колыбели, и глиняные сосуды с шербетом, и дыни с пестрой в родинках кожурой, и белые шарики крута — сухого сыра пустыни, и высушенные бараньи желудки, и бархатные чувяки, отделанные серебром, и плиточный чай, который снимает усталость, и

украшения женщин, и бисер, о котором говорят, что это слезы девушек, подвешенных злым дэвом за косы, и парча, и чекмени, и многое другое.

Посреди базара лежали верблюды, возле них сустились купцы-караванщики, под грудями хвороста махали хвостами ослы. Всюду сновали на лошадях покупатели, расталкивая толпу окриками. А позади всего высилась Золотая крепость шаха Ахмада. Гариб ходил по базару, когда услышал голос глашатая:

— Э-эй! Шасенем, дочь шаха Ахмада, купит раба!.. Э-эй! Нужен раб, искусный в деле выращивания цветов!..

Гариб сорвал с головы папаху, положил на землю:

— Шапка моя! Посоветуй! Надо ли делать, что задумал?.. Надо! — надел папаху и пошел прямо к лежащим посреди базара верблюдам.

Молодой купец, судя по маленькой шапочке приехавший из Ширвана, нарядный, с закрученными усами и расчесанной бородой, укладывал в переметные сумы своих верблюдов каракулевые шкурки.

— Уважаемый купец, у меня к вам дело, — сказал Гариб.

— Если ты намерен предложить мне гнилой горох, не начинай разговора!

— Я хочу, чтобы вы заработали тысячу червонцев. Продайте меня как своего раба Шасенем, дочери шаха Ахмада.

Купец засмеялся:

— Ты что, дурак или влюбленный? Лучшему рабу цена сорок динаров, — он посмотрел на Гариба. — Мне как раз нужен погонщик верблюдов. Поедем со мной в Халап-Ширван, там так много красавиц, что ты не будешь знать, какую выбрать.

— Мне нужна одна! — сказал Гариб и повернулся, чтобы уйти.

С неожиданным проворством купец его остановил:

— Куда ж ты? Если настаиваешь, так и быть — продам тебя... Только надо сперва, чтоб стражники не придрались, превратить тебя в плешивого негра. Сейчас достанем бараний желудок и... Эй, мальчик!

Купец бросил невесть откуда вынырнувшему мальчику несколько монет, что-то вполголоса сказал. Мальчик, сверкая пятками, исчез в базарной толпе, а купец взял Гариба за руку и ввел его в кольцо лежавших и стоявших верблюдов, так что они отгородили их от базара. И это было как раз вовремя, потому что со стороны Золотой крепости к базару подошел долговязый Шавелед: за год из юноши он превратился в мужчину. Он шел, покручивая маленькие усики, нюхая воздух, как шакал, зорко глядяваясь по сторонам. Мимо пробежал мальчик, держа в

одной руке высушенный бараний желудок, в другой — глиняную баночку с краской и кисть, но Шавелед не удостоил его взглядом.

А Гариб и купец сидели на коврике в кольце верблюдов. Купец похвалялся:

— ... Я опытный человек в делах любви. Если женщина увидит меня, сразу теряет разум. Не веришь? Так слушай... Три дня назад иду я тут по базару, а навстречу...

Меж верблюжьих голов и горбов вынырнул мальчик, купец взял у него желудок, краску и кисть, бросил ему еще монетку, и мальчик умчался.

— Давай голову!

Гариб подставил голову, купец стал натягивать на затылок Гариба и прилаживать высушенный бараний желудок:

— Так вот, иду я... Навстречу девушка. Посмотрел я на нее, она в ответ приоткрыла покрывало. И я увидел, что волосы ее, как полчища эфиопов, лицо, как снег, а уста, как бальзам для больных тысяч городов...

Приладив желудок, купец взялся за кисть, обмакнул ее в баночку и принялся красить Гарибу лицо:

— ... Я пошел следом и говорю ей стих: «Золотым блестя халатом, милая, иди сюда, с подбородком розоватым, милая, иди сюда!» Молчит. Я говорю еще стих. Опять молчит. Тогда я протянул ей кинжал: «О красавица! Или пронзи мне кинжалом печень, или заговори!» И она заговорила. Когда я услышал ее голос, осел убежал и веревку унес, пропала петля! Я пошел к ее отцу, положил перед ним саблю и саван и сказал: «Или убей меня и заверни в этот саван, или отдай мне свою дочь в жены!»

Эзбер-ходжа стал докрашивать Гариба, поворачивая его, рассматривая свою работу придирчивым оком.

— Ну и что отец? Купец усмехнулся:

— Мне некогда делать подарки и ждать. Я купец, я заплатил за нее сто червонцев и на следующий день сыграл свадьбу. Но тут прибежал какой-то человек и сказал: «Шах Амад прослышал про красоту твоей жены и велел привести ее во дворец!» И мы с Гюль-Нагаль решили бежать!

Слова эти вошли не только в уши Гариба, их услышал еще и Шавелед. Просунув голову меж верблюжьих горбов, он увидел купца, который говорил какому-то плешивцу:

— Думаешь, хвастаю? Вот Гюль-Нагаль!

С переметной сумы лежащего верблюда купец снял шкурку каракуля. И Шавелед издали увидел лицо красавицы Гюль-Нагаль. Купец нежно сказал:

— Прости, моя любимая. Но глаза раба не в счет.

И вновь прикрыл ее шкуркой. Шавелед пригнулся, отскочил и

На базаре ясаулы расчищали палками дорогу для Шасенем. Ее подружки, закрытые шелковыми покрывалами, шли пересмеиваясь. На Шасенем было надето десять разноцветных вуалей, но и через десять вуалей ее красота спорила с красотой луны. Подталкивая плешивого раба, к Шасенем подошел купец и низко склонился.

— Чего тебе, купец?

— О похитительница красоты красавиц! Я Эзбер-ходжа, прибыл из Ширвана. Как сказал поэт: «На родине оставив дым обыкновенных дров, пришел в страну, где амброй пахнет даже дым костров». И я хочу продать вам раба.

— А он умеет выращивать цветы? — спросила Шасенем.

— Он сын садовника, внук садовника и правнук садовника! Его отец выращивал нарциссы еще в его колыбели, чтобы приучить к ремеслу с детства!..

— Сколько же ты хочешь за него?

— Я прошу... Пусть не рассердится госпожа... Я не из тех торговцев, которые показывают пшеницу, а продают ячмень... Я прошу за него...

— Сколько?

— Тысячу червонцев! — сказал купец, глядя на кончик своего сапога.

— Дорого же стоит твой плешивец! — весело сказала Шасенем. — Почему он так удивительно дорог?

— Мой раб еще и музыкант, и певец, и вдобавок влюбленный. Но я могу цену сбавить...

— Вели ему спеть что-нибудь!

Эзбер-ходжа сделал знак плешивцу, тот ударил пальцами по струнам саза и запел:

Острым умом пойми странные мои речи.

Хочешь раба купить? Можешь купить, Сенем...

Я с красотой одной издавна жажду встречи...

Хочешь раба купить? Можешь купить, Сенем...

Только одних цепей ждут, томясь, мои плечи...

Хочешь раба купить? Можешь купить, Сенем...

оставившим в нем тысячу вздохов.

— Куплю, пожалуй... — сказала, взяла из рук подружки расписной сундучок с червонцами, дала Эзберу-ходже, повелела рабу: — Следуй за нами!

И Гариб пошел за ней и толпой ее говорливых подружек.

Где найти слова, чтобы описать сад Шасенем?! Вы и сами знаете: соловьи в нем свистели, и горлинки ворковали, и павлины расхаживали, и попугаи пересмеивались, и журчали ручьи. Падал от солнца свет на розы, свет от роз на солнце падал, отливало сад всеми красками. Точеные колонки на террасе дворца Шасенем были подобны копьям, нацеленным в облака. Перед террасой стояли полукругом кибитки подружек: камышовые циновки были скатаны так, что кибитки проведал ласковый ветерок. А чтобы ни один любопытный взор не мог подсмотреть, сад с четырех сторон был обнесен кирпичной стеной...

Чернявая подружка Шасенем указала плешивому рабу на одну из кибиток, Гариб скрылся в ней. Чернявая убежала, но вскоре вернулась, неся таз с водою, поставила таз перед Гарибом:

— Умойся! И жди, чтобы ушло солнце. В тот миг, когда в верхнем отверстии кибитки покажется звезда Говхер-Жемчужина, ты увидишь в дверях совсем другую жемчужину, — она выскользнула из кибитки.

И Гариб начал смывать краску с лица.

9

Эй, купец! Береги свое счастье! Знай, шесть мешков, наполненных скорпионами, подстерегают его, и жадность готова развязать эти мешки. Было так. Шах Ахмад сидел в комнате шахини на сундуке.

— А она на самом деле красивая... эта... жена купца?

— Такая красавица, что, глядя на нее, можно только посвистывать, — сказал Шавелед.

Шах швырнул ему кошелек с серебром, и Шавелед покинул покой. Шах сказал:

— Сейчас же повелю схватить ее!

— Вот как! — сказала шахиня. — Если ты ее схватишь, весь базар будет говорить: «Это тот шах Ахмад, который отнимает жен у купцов!»

— Ну и пусть! Какое мне дело! Шахиня подбоченилась:

— Уж если начнут говорить.... Всем известно: беда валится на голову с языка.

— Но если она красавица, ей место в моем дворце, а не в мешке какого-то купчишки!

— Никуда она не денется, — сказала шахиня. — Когда караван уйдет, пошли вдогонку переодетых воинов. Под видом разбойников они нападут, схватят красотку, и пусть будет славен аллах в небесах!

И опять черный ворон ночи взял под крыло золотое яйцо небосвода. Мирно звякал бубенец в хвосте каравана. Жадно вдыхая ночной воздух, покачивалась на верблюде в кеджебе-паланкине белолицая Гюль-Нагаль. Впереди рядом с караванбаши шел Эбер-ходжа, заткнув обе полы халата за пояс. Вдруг позади послышались топот копыт, разбойный свист, крик о помощи. Эбер-ходжа бросился назад, подбежал к своим верблюдам и остолбенел.

Какие-то разбойники в лохмотьях, из-под которых выглядывала одежда ясаулов, схватили Гюль-Нагаль, заткнули ей рот и, перекинув через седло, приторачивали к коню. А она, стараясь отбиться, извивалась в их руках как змея.

Эбер-ходжа смотрел, выпучив глаза. Разбойники захохотали, гикнули и умчались, и пыль от копыт их коней заслонила звезды. Эбер-ходжа сказал:

— Эй, шах! Пусть и смерть тебе на здоровье будет! — подошел к остановившемуся каравану, взобрался в опустевшее кеджебе, вздохнул и поник головой.

10

Шах Амад пребывал на троне. Достойные сидеть сидели, другие же остались стоять. На почетном месте восседали послы в чужеземных одеждах. Шахиншахский посол говорил:

— ... На это я ответил шахиншаху так: «Правитель, который задумал сделать своих подданных хорошими людьми, должен прежде сам стать хорошим человеком, дабы не уподобиться тому глупцу, который решил выпрямить кривую тень, не выпрямив самого предмета, который дает эту тень».

— Мудро! Мудро! — закивал шах Ахмад. — Шахиншаху делает честь, что у него такие визири, как ты...

Пока шах вел беседу с послами, шахиня, посадив Гюль-Нагаль на один из своих серебряных сундуков, учила ее:

— Не отвечай взглядом на взгляд, ибо первый взгляд принадлежит тебе, а второй — направлен против тебя. Лучше бросайся прямо в ноги. Поняла?

— Да.

— При шахиншахских послых он не посмеет тебе отказать. Поняла? И тогда мы добьемся — ты своего, я своего!

Она набросила на голову Гюль-Нагаль покрывало, вывела ее за дверь, передала из рук в руки ясаулам, а сама подошла к решетчатому окошку, через которое был виден тронный зал. Она смотрела, как ясаулы ввели в зал Гюль-Нагаль, закрытую шелковым покрывалом, и как шах вежливо обратился к Гюль-Нагаль:

— Красавица! Ты цветок какого сада? Откуда улетела, где опустишься? Как тебя зовут?

Он протянул руку — приоткрыть ее покрывало, но Гюль-Нагаль бросилась ему в ноги:

— О защитите меня! Великий шах! Будьте мне отцом в день воскресения мертвых!..

Шах поглядел на чужеземных послов и опустил голову. Гюль-Нагаль лежала у его ног, рыдая и причитая:

— Будьте мне отцом!.. Будьте мне отцом в судный день!..

Горели факелы, послы смотрели на шаха.

— Что ж... — вздохнул шах. — Как видно, наше намерение не попало в круг исполнения, не совпало с центром возможности. Одна была у нас дочь, а теперь их стало две. Отведите ее к Шасенем.

Шахиня за решетчатым окном улыбнулась и пошла прочь.

11

Гариб ждал и ждал Шасенем, а она не шла. Он сказал: «Замолчите, соловьи! Я не могу слушать вас, потому что вы сидите на ветках вместе со своими подругами, а я тут один жду, жду!» А Шасенем все еще не было. Ум улетел из его головы, и он стал бесноватым от любви. Сверкали звезды в верхнем отверстии кибитки, но Гариб их не видел, так как душа его была охвачена дымом.

Птицей влетела Шасенем.

— Гариб! — сказала она и протянула к нему руки. Он сказал:

— Я раскаиваюсь, что пришел.

— Зачем же тогда пришел? Уходи, раз не любишь!

— Нет, это ты не любишь! Пять часов я жду тебя здесь, а ты там веселишься.

— Что ты говоришь! — сказала Шасенем. — Весь день я дрожала, ожидая ночи. А ты... Не любишь — прямо скажи!

— Это ты не любишь! На базаре ты даже не обрадовалась. Просто купила раба, чтобы развлечься. А мне и грязная дорога казалась ковром: так стремился к тебе!

— Это я не люблю?! Ночью я только и делала, что говорила: «Может быть, Гариб придет утром». А утром говорила: «Может быть, он явится вечером». Так целый год! А ты там сидел и обо мне не думал.

— Это ты не думала! — крикнул Гариб. — Живешь в красивом саду. К тебе приезжают свататься женихи, ты смеялась с ними, веселилась!..

— Я притворялась радостной, хлопала в ладоши, но у меня в руках не оставалось ничего, кроме ветра. Днем и ночью думала только о тебе. А ты... Не любишь, ну и уходи!

— Нет! Я уйду, потому что ты не любишь! Уйду! И не вернусь никогда.

Шатаясь, Гариб пошел к выходу из кибитки. Стоя на пороге, Шасенем сказала нежно:

— О, Гариб! Убил ты меня. Уходи! Гариб обернулся:

— Сенем...

И, плача, они кинулись друг к другу.

12

Из пустых слов не сварить плов, подавай рис да мясо. В укромном уголке разговаривали долговязый Шавелед и рыжебородый Сеитнияз-мюнеджим. Шавелед говорил:

— Узнав от базарных соглядатаев, я подумал — что же это за раб, за которого платят тысячу червонцев? Я проник ночью в сад Шасенем и увидел там... Гариба.

— И ты донес шаху? — спросил домула.

— Нет. Шах Ахмад сказал: «Никогда не выдам дочь за доносчика». — Шавелед ухмыльнулся. — Если шах кривой, и ты прищурь глаз. Отныне я стану как будто я лев и тигр. Вот почему и пришел к вам.

— А я при чем? — насторожился домула.

— Вы ни при чем. А вот ваши звезды... Угадывать, узнавать, а потом и доносить... Это их дело. Поможете мне?

Домула сказал:

— Шайтана спросили: «Глину есть будешь?» Шайтан спросил: «Масла дать не забудешь?»

Шавелед засмеялся и протянул домуле кошелек.

Сказано: «Время благоприятствует, а звезда управляет». Увы, время не благоприятствовало Гарибу и Шасенем, зато звезд на небе было больше, чем надо, и каждая желала управлять чьей-то судьбой. Шах Ахмад, и послы, и придворные сидели на террасе дворца и, задравши головы, глядели в небо. Домула Сеитнияз-мюнеджим говорил:

— ... И я установил положение звезд, которые господствуют над градусом движения звезд, и градус вредного воздействия, и узнал, что изгнанный в Змеиные пески Гариб вынул голову из ярма покорности и шею — из ошейника повиновения и проник к той, на белизне глаза которой надо писать чернотой зрчка и рисовать жидким золотом, — к самой Шасенем.

В сердце шаха вонзилось копьё гнева:

— Клянусь, обоим отрублю головы!

— О солнце солнц! Шасенем не виновата, — сказал домула. — С ней это случилось просто потому, что луна находилась в созвездии Весов. Гариб! Вот, кто во всем виновен! И ему одному надлежит переселиться из мира живых в мир усопших.

Шах Ахмад сказал:

— Ясаулы! За мной! — и повернулся к домуле Сеитнияз-мюнеджиму. — Но если твои звезды ошиблись, я отрублю головы не им, а тебе! Так и знай!

Установив на голове золотое перо, пальцы по-китайски хной раскрасив, как павлин охорашиваясь, как попугай-птица разговаривая, Шасенем расхаживала по ночному саду. С нею гуляла Гюль-Нагаль.

Любуясь ими, Гариб играл на сазе и пел:

Две пери нежные, гуляя,
Идут, качаясь плавно-плавно.
Моя душа в преддверье рая:
Идут, качаясь плавно-плавно.

Как две луны в воздушных латах,
Как две волшебницы богатых,
Как бы два сирина хохлатых, —

Идут, качаясь плавно-плавно.

Одна — бутон, другая — роза,
Но у Сенем изящней поза.
Любуйтесь все! Как явь и греза
Идут, качаясь плавно-плавно...

В ворота загремели:

— Шасенем! Открой!

— Отец... — Шасенем заметалась. — Прячься скорей! — Она открыла перед Гарибом глиняную корчагу с шербетом. — Нет, сюда, — показала в громадный бурдюк для сбивания масла. — Нет...

К каждой кибитке возле входа была прислонена длинная, свернутая в трубку циновка. Гюль-Нагаль вместе с Шасенем, закатав циновку с Гарибом, опять прислонили ее к кибитке.

В ворота гремели. Из кибиток появились, протирая глаза, подружки Шасенем. Они открыли ворота, вошел шах, отстранил рукой дочь и пропустил ясаулов. Ясаулы устремились во все концы сада, завизжали и разбежались по своим кибиткам подружки.

— О тень над головой моей, любимый отец, — говорила Шасенем, идя за шахом. — Кого вы ищете?

Шах не ответил: сперва заглянул в корчагу с шербетом, потом в бурдюк для сбивания масла, и только тогда спросил дочь:

— Где Гариб?

— Какой Гариб? — сказала Шасенем. — Ах, тот? — и засмеялась.

Гюль-Нагаль сказала:

— Искать тут Гариба все равно что печь чуреки на лунном свете, его здесь нет.

— А чей это саз? — спросил шах, поднимая саз. — И кто тут пел?

— Это я пела, — сказала Гюль-Нагаль. — Это мой саз, о названный отец мой.

Шах Ахмад покосился на нее, а Шасенем сказала:

— Вы так разгневаны, что уже не отличаете зла от добра.

Подбежали ясаулы:

— О повелитель! Мы все перерыли. Его тут нет.

— Хорошо же! — сказал шах и пошел прочь.

За ним выбежали ясаулы, и Шасенем заперла ворота. Когда Гюль-Нагаль развернула циновку с Гарибом, Шасенем прошептала:

— Гариб...

— Сенем...

Он и она были и до этого красивы, а счастье еще увеличило их красоту. Гюль-Нагаль расплакалась,

— Что с тобой?

— Да-а, вы счастливы... — сказала Гюль-Нагаль. — А я как одинокая уточка... Где Эзбер-ходжа?.. Где любимый мой муж?..

— Не плачь, — ласково сказала Шасенем.

— Он был настоящим шахом красавцев, — говорила Гюль-Нагаль; всхлипывая. — И вдруг переодетые разбойники...

— Если бы разбойники напали на Шасенем, — сказал Гариб, — я бы умер, а не отдал ее!

Гюль-Нагаль сказала:

— Посмотрела бы я на тебя, если бы у тебя было триста шкурок каракуля, бросил бы ты каракуль, чтобы спасти жену, которую все равно нельзя спасти, или не бросил бы!

Гариб хотел что-то ответить, но в ворота загремели, и послышался голос;

— Шах Ахмад повелел, чтобы его дочь прибыла в Золотую крепость.

15

В маленькой комнатке при огоньке светильника сидели шах Ахмад и рыжебородый домула Сеитнияз-мюнеджим. Шах говорил:

— Мне не важно знать, кто ошибся: твои звезды или ты сам. Но слова шаха не должны зря падать на землю. Если тебя пощажу, меня никто не будет бояться.

— О солнце солнц...

— Молчи, когда говорю! Если бы вид крови был мне приятен, не стал бы с тобой и разговаривать. Возьми!.. — Шах протянул ему кошелек. — Встань, уйди, пока еще на дворе нельзя различить лиц и беги из Диарбекира.

Домула встал, судорожно сжимая кошелек и кланяясь.

— И постарайся, чтобы тебя не поймали. А то придется рубить тебе голову. Не доставляй мне эту неприятность.

— Я постараюсь... постараюсь...

Пятясь, домула скрылся в дверях, а на пороге вырос ясаул:

— О повелитель! Твоя дочь! Вошла Шасенем.

— Дитя мое, — сказал шах. — Возьми вон ту книгу и почитай мне, чтобы сердце мое успокоилось, а душа возвысилась.

Шасенем взяла со столика книгу, под села к светильнику,

начала читать:

«О птица сердца, тайных слез не проливай, не проливай:
А коли вылетела, — тайн не выдавай, не выдавай...»

Шах прервал ее:

— А может, Гариб у тебя был? Говори правду. Я сразу вижу, кто врет, кто не врет.

— Клянусь, не был!

— Ну, ну, не сердись... Верю тебе... Читай! Шасенем читала дальше:

«Из-за любимой умереть — нет лучшей доли на земле;
Того, кто стал рабом любви, не отвергай, не отвергай...»

Шах вздохнул:

— Подумать только, я по ошибке чуть не отрубил тебе голову...

Шасенем читала:

«Иди же, сердце, в смертный бой с толпой напастей, мук
и бед,
Но тайных горестей любви не разглашай, не
разглашай...»

О, царь певцов! Из-за тебя умирают и те, кто вдали, и те, кто около тебя. Гариб и Гюль-Нагаль, дожидаясь Шасенем, сидели в саду. Вдруг Гюль-Нагаль сбросила с себя платок, и ее черные косы упали на грудь:

— Гариб, посмотри на меня, ведь я не хуже Шасенем.

Гариб глянул на нее и опять вперился в ночь. Гюль-Нагаль встала и сняла халат, оставшись в длинных штанах и рубахе:

— Разве в моем присутствии не кажутся дурнушками красавицы?

— Ты красивая... — сказал Гариб.

— Нет, нет, не подходи! Гариб уставился на нее:

— Я не думал...

— Смотри на меня издали, чтобы не сгореть.

— О чем говоришь? — удивился Гариб.

Глядя из-под опущенных ресниц, Гюль-Нагаль нежно заговорила:

— Удобный случай проносится как облако. И кто видел льдину, не тающую от огня... — Она приблизила свои волосы к глазам Гариба. — Посмотри на мои кудри: ты найдешь в них шесть достоинств — локоны, завитки, узлы, изгибы, извилины и извороты.

— Гюль-Нагаль! Ведь Шасенем любит тебя!

— Не бойся, я ничего ей не скажу. И потом, кто боится шипов, — не срывает роз.

— Не думал я, что ты из такого сада плод! — сказал Гариб и вскочил, чтобы уйти.

Гюль-Нагаль расхохоталась:

— А ты мне и поверил. О Гариб! Я сказала это в шутку. Я хотела тебя испытать. Клянусь, в шутку! Ну, что глядишь на меня? Мое сердце чище зеркала!

Она гордо подняла голову и принялась надевать халат и платок:

— Теперь я убедилась, ты истинный влюбленный и достоин любви Шасенем.

Гариб сощурился:

— Эх... — Недоговорил и пошел в глубину сада. Гюль-Нагаль сказала вслед едва слышно:

— Никогда не забуду...

Если бы писал Эзбер-ходжа, а не мы, он бы сказал: «Приходит утро, листья золотит, дворец камфарный в небесах блестит, в шатер луны вонзились копыта солнца, луна укрыла голову под щит». И все только ради того, чтобы сообщить, что наступило утро.

В это утро все женщины и девушки Диарбекира рисовали себе брови сурьмой: кто сурьмился перед зеркалом, кто, склонившись над своим отражением в водоеме. Даже шахиня в Золотой крепости, глядясь в свое большое, хотя и мутное зеркало, рисовала себе брови толщиной в палец.

Шасенем сидела в кибитке, Гюль-Нагаль тоже рисовала ей брови. А в глубине сада Гариб перебирал струны саза и напевал:

Весна! Раскрылись розы вновь!
Ну а моя не развернется ли?
У соловья струится кровь,
Моя ж из сердца не прольется ли..

Вокруг расхаживали павлины, покачивались влажные чашечки роз, две ладони опустились ему на глаза, Гариб засмеялся:

— Я так рад, что ты пришла, Сенем.

— Скажи еще что-нибудь.

— Мое сердце опьянено любовью и поглупело, — сказал он.

— Как раз это я хотела услышать.

Она сняла ладони с его глаз, и он увидел Шасенем: ее брови соединяла полоса сурьмы.

— Что ты сделала! Твоей красоте сурьма не нужна! Гариб протянул руку стереть нарисованную бровь,

Шасенем отпрянула, Гариб — за ней. Смеясь, они побежали к кирпичной стене, которой был обнесен сад.

Но тут через стену к ним перепрыгнул Шавелед, Шасенем взвизгнула, Гариб бросился на Шавеледа, повалил прижал к земле.

— Подожди... Подожди, Гариб... — хрипел Шавелед, не пытаясь вырваться. — Я пришел предупредить тебя о беде!

— Пусть скажет, — сказала Шасенем. Прижатый к земле, Шавелед с трудом повернул голову к Шасенем:

— Смягчи свое сердце, это не подобает твоей красоте.

— Что ты пришел сказать? — спросила она.

— Гариб, то, что было между нами, забудь. — сказал Шавелед. — Я пришел предупредить тебя: шах Ахмад придумал хитрость, как тебя изловить и казнить.

— Отпусти его!

Гариб разжал руки, Шавелед поднялся и, отряхиваясь от земли, сказал:

— Уже скажут в Змеиные пески ясаулы, чтобы перевезти обратно в Диарбекир кибитку твоей матери и сестры. «Волчонок придет в свое логово, — сказал шах. — Тут ему и голову с плеч». Я пришел предупредить: ведь я тебя люблю как брата, а Шасенем как сестру.

Шасенем сказала:

— В твоих словах где-то есть ложь.

— Пусть мою печень разорвут собаки, если я говорю неправду!

— Не верю тебе, — усмехнулась Шасенем.

— Я всегда держу в руках веревку истины! Не убежит: сам будет виноват, что остался без головы! — И полез обратно через стену.

Гариб хотел его задержать, но Шасенем махнула рукой — пусть уходит. Сидя на стене, Шавелед сказал:

— И еще я хотел похвалить сурьму на твоих глазах, Шасенем. Твои брови, как лук, ресницы, как стрелы, а...

Договорить ему не пришлось: Гариб бросился к нему, и Шавелед провалился за стену. Морщась, Шасенем стерла с лица сурьму.

— Его клятвам нельзя верить. Но если в его словах есть правда... Тебе надо бежать. Уезжай, Гариб! Потом отец забудет, и ты вернешься...

— Позор, спасая жизнь, уйти от любимой! — сказал Гариб.

— Но ты погибнешь!

— Умру, а тебя не оставлю!

— Ты не любишь меня. — Шасенем опустила голову и пошла.

Гариб одним прыжком догнал ее:

— Сенем! Скажи, и я достану с неба солнце! Скажи, и я...

— Тебе надо уехать, а не лазить на небо за солнцем. Раз Шавелед тебя видел, против тебя нацелится каждое копьё, каждый камень!

Гариб сказал:

— Если стены твоего сада будут даже из раскаленного железа и вся земля будет пропитана ядом, и тогда не покину тебя! Я не страшусь смерти!

— Пустые слова!

— Пустые слова?! — крикнул Гариб и кинулся к воротам.

— Гариб!..

Но его нельзя было удержать, ноги сами бежали туда, куда их вело сердце. Он выскочил из ворот и бросился через площадь к Золотой крепости шаха Ахмада. Шасенем выскочила за ним:

— Гариб!.. Гариб!..

Гюль-Нагаль и подружки схватили ее за руки, остановили.

А Гариб промчался мимо Шавеледа, мимо ясаулов, охраняющих ворота, ясаулы устремились за ним. По каменной лестнице Гариб вбежал на верх башни, закрыл за собой на болт тяжелую дверь. В нее с разбега уткнулись ясаулы, затрясли, загрохотали. С вершины башни Гариб крикнул:

— Э-эй, люди Диарбекира!.. — и, ударив пальцами по струнам саза, запел:

Что услышит отец — не страшись, моя нежная!

Пусть нас ждет даже смерть, Шасенем дорогая!

Пусть даже смерть нам грозит неизбежная, —
Счастья знали мы час, Шасенем дорогая...

К Золотой крепости сбегались толпы народа, с башни долетал голос Гариба:

Твой отец нам грозит, но не бойся, красавица.
Он тебя пощадит, лишь со мною расправится.
Мне не страшно: пусть шея моя окровавится.
Умирают лишь раз, Шасенем дорогая...

Молча слушал народ. В тяжелую дверь, запертую болтом, врезались топоры, летели щепки. Гариб пел:

Соловей свою розу забудет ли милую?
Ты сковала мне сердце волшебною силою.
Пусть мне голову рубят... И все ж над могилою
Будешь солнцем для глаз, Шасенем дорогая.

Тут ясаулы ворвались на вершину башни и схватили Гариба.

18

Пришел день конца его жизни и конца его смерти: Гариб стоял перед шахом, его держали ясаулы.

— Неужели ты забыл о страхе передо мной? — спросил шах.

Гариб сказал:

— Мир полон словами, а я знаю только одно слово: Шасенем.

— Ты безумен, — сказал шах. Гариб сказал:

— Безумие человека в том, что он скоро забывает и горе и радость. А я не безумен: как же могу забыть любимую?

Шах подумал и сказал:

— Отрубить ему голову!

И его слова пошли из уст в уста, пока не дошли до Шасенем.

— Шах приказал отрубить ему голову! — сообщила ей Гюль-Нагаль.

Вырвавшись из рук подружек, Шасенем выскочила на базар. Горожане пробовали остановить ее, уговорить, но она видела только их открывающиеся рты, а слышала «отрубить ему голову» — голос Гюль-Нагаль.

В воротах Золотой крепости ясаулы преградили ей путь. Отбросив их копья, Шасенем кинулась во дворец. Шахиня перехватила ее, тоже что-то говорила, но и ее Шасенем не слыхала, а слышала «отрубить ему голову».

Ничего другого не видя, ничего другого не слыша, вбежала Шасенем в комнату шаха. И он пытался ее успокоить, нежно глядя дочь по голове, что-то говорил, открывая и закрывая рот, пока Шасенем вдруг не заплакала. Сквозь ее плач все тише звучало в ее ушах «отрубить ему голову», все яснее делался голос шаха, сперва он журчал подобно ручью, потом она начала понимать слова:

— ... Пойми, я и сам не хочу рубить ему голову. Но как я могу его не казнить? Я отослал его в Змеиные пески, он вернулся. Без головы он уже не сможет вернуться!

— А если я сделаю так, что он уйдет и не вернется никогда?

— Как так?

— А так...

И, наклонившись к отцу, Шасенем стала объяснять как.

19

В этом мире к сладости примешана горечь, за днем следует ночь, за пиршеством — горе, за радостью — печаль, за богатством — бедность, за дружбой — вражда. Когда ясаулы выпустили Гариба из темницы, он прибежал в сад и крикнул: «Сенем!»

Шасенем вышла к нему:

— Здравствуй, Гариб. Хорошо, что тебя выпустили. А теперь уезжай.

Гариб сказал:

— Меня не страшит ничего, пока ты любишь меня. Шасенем опустила голову:

— Гариб! Я должна сказать тебе правду. Видишь, я спокойна, и глаза мои уже не в слезах, Я тебя не люблю.

— Не говори так со мной, — улыбнулся Гариб. — Смотрю я на твое прекрасное лицо, Сенем, и нет у меня иного желания, как умереть, любуясь тобой.

— Я на самом деле тебя не люблю! Гариб удивился:

— Твое сердце не может чувствовать того, что говорит твой язык. Не верю тебе!

— Я отрезала тебя от своего сердца. Гариб вскочил:

— Сенем! Не шути со мной!

— Мои глаза теперь глядят на тебя как на доску!

— Что ты говоришь! Что ты говоришь! — Гариб потряс кулаками, не веря и не находя себе места.

— Не стучись напрасно в эту дверь, она из холодного железа, — сказала Шасенем.

Гариб обхватил руками ее голову, посмотрел ей в глаза, отшатнулся:

— Вот какова твоя верность. Меня жалеют камни, но не жалеет твое сердце.

— Это все праздные разговоры, — сказала Шасенем. — Ступай отсюда! Я запру за тобой ворота.

Гариб разорвал свой ворот:

— Зачем, зачем я остался тем же, а ты уже не та! И, подняв с земли свой саз, быстро пошел к воротам.

— Гариб... — окликнула его Шасенем, он обернулся, все еще надеясь на чудо. Она спросила: — Куда ты отправишься? В какую сторону? В какой город?

Гариб сказал:

— У бродяги тысяча одна дверь! — И выскочил в ворота.

— Гариб! — крикнула Шасенем и тоже побежала к воротам.

Она выглянула, но Гариб уже скрылся среди базарных лавок.

И Шасенем начала молитву:

О милосердный боже мой,
Молю о помощи Гарибу!
О жаворонок голубой,
Молю о помощи Гарибу!
У снежных гор предел земной...
Ходжа-Ахмед, учитель мой,
Ты с золотою кочергой, —
Молю о помощи Гарибу!..

Судьба так затягивает узел, что его не развязать и тысяче мудрецов. Это было не первое, не второе, а третье или даже четвертое утро после того, как Шасенем рассталась с Гарибом. Шавелед сидел возле речки, что катила мутные воды среди песков, и делал вид, что не замечает Гариба, идущего по караванной тропе.

Гариб подошел:

— Шавелед?!

Шавелед подпрыгнул, словно его укололи шилом снизу, потом вскочил, будто за ним гонится тигр, потом замер, взглядываясь — кого это я вижу перед собой? — потом завопил: «Гариб» — и бросился к нему:

— Сам аллах послал мне тебя!

— Что случилось?

— Не спрашивай! — вздохнул Шавелед. — Шах Ахмад узнал, что я от его имени повелел ясаулам тебя выпустить. И...

— Это сделал ты, Шавелед?!

— ... И шах так разгневался, что приказал лишить меня жизни. Я бежал. И уже четвертое утро в пути...

— Куда же ты?

— Еще час назад я знал. А теперь... Я не умею плавать...

— Иди за мной! — сказал Гариб, засучил штаны и вошел в речку.

Подойдя к воде, Шавелед остановился, умоляюще сложил руки:

— Гариб! Найди брод, а я подожду. Вот тебе палка. И сними-ка лучше одежду...

Гариб скинул верхнее платье, бросил его на песок, положил сверху свой саз, взял у Шавеледа палку и вошел в речку. Он брел, пробуя палкой дно. Становилось все глубже, уже вода по пояс, по грудь, по шею... но вот стало мельче:

— Брод! — сказал Гариб.

Он обернулся и увидел... Из-за песчаных барханов на конях вынеслись шахские ясаулы, с гиканьем подлетели к Шавеледу. Тот кинулся в сторону:

— Спасайся! Гариб!

Ясаулы догнали Шавеледа, схватили его, перекинули через холку коня. Потом подняли с земли одежду Гариба, его саз и унесли, исчезнув среди барханов песка. Гариб из речки растерянно смотрел вслед.

Среди кибиток Диарбекира суетились старая Абадан — мать Гариба и сестра его, смуглая Гюль-Джамаль: им помогали соседки снимать с верблюда и крыть циновками деревянный остов кибитки.

Раздался топот копыт, подскакал Шавелед, соскочил с коня, бросил на землю одежду Гариба и саз и сказал:

— Твой сын утонул, вот его одежда...

Старая Абадан посмотрела на Шавеледа и упала на одежды сына. Из всех кибиток Диарбекира выбежали женщины и мужчины. Мать Гариба, распустив седые волосы, царапала себе лицо:

— О если бы вместо него умерла я!

Толпа расступилась перед Шасенем: простоволосая, она прибежала, когда Шавелед кончал свой рассказ:

— ... И он крикнул так, что в небе замерли птицы, и скрылся под водой!

Сидя перед одеждой сына, мать Гариба била себя по коленям и причитала:

— Погас светильник жизни! Погиб мой Гариб!.. Увидав Шасенем, Шавелед подтвердил:

— Стрела небытия избрала мишенью его душу.

— Не верю тебе! — сказала Шасенем.

— Пусть конь наступит на мои глаза копытом, если я говорю неправду!

— Не верю тебе! — повторила Шасенем. — Где Гариб?!

— Утонул! Вот его одежда и саз...

— Все равно не верю. Гариб жив!

Шасенем наступала на Шавеледа, он пятился, Шасенем преследовала его:

— Где Гариб?! Отвечай!

Вокруг стоял народ, Шавелед криво усмехнулся:

— Постыдись... Дочь шаха... А говоришь такие слова...

22

— Дочь дома, а поступки ее наружу, — негодовала шахиня. — Она опозорила нас перед народом!

— Что же делать? — спросил шах.

— Отдать замуж, — сказала шахиня. — Надо выбить дурь из ее головы. Ей скоро шестнадцать, а она отвергает всех женихов. Если так пойдет дальше, у шаха не будет внука, и наше царство рассыплется в прах.

— Но Гариб умер, — сказал шах. — Весь народ — от семи до семидесяти — оплакивает его.

Шахиня сказала:

— Если бы Гариб стал вашим зятем, все — от семи до семидесяти — задрали бы носы. А теперь, когда Гариб все равно умер, Шасенем можно отдать за человека шахского рода.

— За кого?

— Хотя бы за сына моего брата, за Шавеледа.
— Это тот, который...
— То было раньше, — сказала шахиня. — А теперь он охотится на джейранов как тигр и как лев.

23

О злобный рок! Неужели он и нашу еду сделает горькой? Шасенем и ее подружки вошли в тронный зал.

— Дитя мое, — сказал шах. — Я позвал тебя сообщить нечто важное. Тебе скоро шестнадцать, а у нас до сих пор нет внука. Мы обдумали это и решили отдать тебя в жены Шавеледу.

Шасенем помолчала, потом, не глядя на Шавеледа, сказала:

— Если он хочет жениться на мне, согласна. Но пусть свадьба моя будет не раньше, чем через семь месяцев: в первую пятницу после осеннего праздника.

Шавелед поклонился:

— Я раб желаний прекрасной Шасенем.

Когда Шасенем и подружки вышли из Золотой крепости, Гюль-Нагаль сказала:

— Я бы тоже не стала держать клятву, данную бедному сироте.

— Ты меня не поняла, Гюль-Нагаль. Если Гариб жив, мы за семь месяцев разыщем его. Ты поможешь мне, ты одна, которой я могу довериться.

— А если он умер?

— Если Гариб умер, тогда и я в день моей свадьбы умру.

24

Сказано суфиями: «Кто о любви не болтает, тот недостоин блаженства любви». Торгуя в своей лавчонке в городе Халап-Ширване, Эзбер-ходжа болтал без умолку:

— Моя Гюль-Нагаль была такая красавица, что ей завидовали роза и жасмин... Два дирхема! Спасибо. Заходите еще... Брови у нее гладкие, как птичье перо, кожа, как сливки, нежная и ароматная, и вся красотой своей она была подобна четырнадцатидневной луне...

В лавчонке толпились халап-ширванские жители и их жены, закутанные в покрывала. Они рассматривали украшения и

одежды, которыми торговал Эзбер-ходжа, и не без удовольствия слушали его болтовню.

— Если бы моя Гюль-Нагаль открыла лицо, от ее красоты люди обезумели бы... За кольцо — полдирхема, за жемчужину на кольцо — пять, всего шесть дирхемов... А стан моей Гюль-Нагаль так тонок, что его можно продеть в это кольцо... Очень, очень хорошо на пальце. Носите на здоровье!

Какой-то человек просунул в лавку голову:

— Эй, Эзбер! Возле главного купола какой-то странник поет стихи о любви, да такие, что вся торговля остановилась.

Жены потянули своих мужей за рукава. Не успел Эзбер-ходжа мигнуть, как его лавчонка опустела. Эзбер-ходжа закрыл циновкой дверь своей лавки и вышел на базар.

В тени купола, и под навесами торговых лачуг, и прямо на земле под лучами солнца теснился народ. На каменных плитах сидел Гариб и пел:

... Из-за Сенем я обречен невздам.
И стало ядом то, что было медом,
Стал день неделей мне, а месяц годом,
Распался ум, связать — уменя нет...

— Ты рвешь нашу душу!.. — заливались слезами сидевшие и стоявшие. — Дай бог тебе много сыновей!..

Гариб пел:

И сердце сжато грезой бестолковой,
Кому нужда в моей судьбе суровой?
Нет уточки моей сизоголовой,
И в озере уже волненья нет.

Из базарной толпы вышел Эзбер-ходжа. Сияя, он подошел к Гарибу:

— Эге! Я вижу, ты оставил ремесло садовника!

— Эзбер-ходжа!

— Узнал! — засмеялся купец. — У нас в Ширване говорят: «Аллах создал братьев вместе, но разъединил их кошельки». Ты мне больше, чем брат, ибо на вырученные за тебя деньги я купил лавку. Пойдем, будешь жить у меня, — и повел Гариба по ступенчатой улочке, поднимающейся от базара.

Не отведавший пчелиного жала, в меде сладости не поймет. Подрагивал в светильнике язычок пламени, Гариб и Эзбер-ходжа сидели в лавке, купец говорил:

— ... Если бы ты мне привез даже весть, что в Шемахе подорожали чувяки, это не обрадовало бы меня так, как твой рассказ о Гюль-Нагаль. Суметь обмануть шаха и выкрутиться, а? Настоящая жена купца!

Гариб блеснул глазами:

— На любимую напали, а вы не защитили ее!

— Э-э! — сказал Эзбер-ходжа. — От молнии кальяна не разожжешь! Какой купец может спорить с шахом? А я все-таки от молнии разжег свой кальян. Гюль-Нагаль обрадуется, когда узнает, что я на ее похищении получил хороший барыш. У прежнего хозяина этой лавки дела шли так плохо, что он зажигал днем лампу, иначе его лавку не замечали. А у меня всегда покупатели. Нет в городе женщины, которая не захотела бы похвастать: «Это я купила у того купца, у которого шах отнял жену».

И закончил Эзбер-ходжа так:

— Останешься торговать вместо меня. Я на каждой вещи напишу что почем. Сиди, пой песни о своем разбитом сердце и получай деньги. А я возьму самого быстрого верблюда и помчусь к Гюль-Нагаль на крыльях любви!

О судьба! Одного она возвышает от рыбы до облаков, другого с соломы низводит в колодец. Размышляя об этом, сгорбясь и опираясь на посох, пыльной тропой брел рыжебородый домула Сеитнияз-мюнеджим. Он подошел к перекрестку дорог, осененному могучим чинаром.

Мимо по дороге шествовал караван: размашисто ступали костлявыми ногами верблюды, гремели бубенцы на шеях. В хвосте каравана выступал верблюд такой гордый, что казалось, голова его терлась о купол неба. Рядом шагал купец и говорил:

— Эй, верблюд! Потерпи немного. Дойдем до Диарбекира, досыта накормлю: дам тебе и траву, и персики, и розы из сада.

Домула Сеитнияз-мюнеджим сказал:

— Обманиваешь верблюда?

— Откуда ты? — спросил Эзбер-ходжа, усмехнувшись.

Домула рассказал:

— Шах Ургенча обвинил меня, будто с помощью вредной звезды Миррих я навел мор на коров, и изгнал меня. Невежда этот шах! Где слыхано, чтобы по вине звезд дошли коровы? — Покачивая головой, он побрел вслед за караваном.

Эзбер-ходжа сказал верблюду:

— В Ургенче был мор коров, значит, там сейчас дешевы бычьи шкуры. Эй, верблюд! Надо ехать в Ургенч, — и свел своего верблюда с дороги на тропу, по которой пришел звездочет.

Надо ли удивляться, что он разминулся с Гюль-Нагаль, которую Шасенем послала в Халап-Ширван, как только до нее дошел слух, что Гариб там и поет на базаре песни.

«У нее два языка во рту» — сказано о таких. Гюль-Нагаль стояла в лавке Эзбера-ходжи перед Гарибом и говорила:

— И как только я с ним разминулась? Я осматривала каждый встречный караван от Диарбекира до Мерва, от Мерва до Тебриза и от Тебриза до Халап-Ширвана...

— Ты приехала от Шасенем?

— Ну да! И пришла за тобой. Целых два месяца добиралась!

Гариб сказал:

— Будь Шасенем даже солнцем, не взгляну на нее! Будь она даже живой водой, я и глотка не выпью!

— Почему?

— Нелюбимый к нелюбящей не пойду!

— Ты прав, — сказала Гюль-Нагаль, — Шасенем не достойна такой любви, как твоя. У нее нет сердца.

— Не надо так говорить!

— Тебе даже ее уродство кажется красотой!

— Красивей Шасенем нет никого на земле! Гюль-Нагаль засмеялась:

— Ты скажешь, что и талия у нее как у муравья, и рот как фисташка, и дым от ее вздохов поднимается до небес! А она о тебе даже не думает! В Диарбекире все веселятся. И Шасенем веселится!..

Так она вертела сразу двумя языками, не зная и не желая знать, что в этот утренний час в далеком Диарбекире Шасенем, стоя у ворот, говорила Эзберу-ходже:

— ... Скажи ему от меня: «О Гариб! Если не поспеешь вовремя, не застанешь меня в живых! Не медли ни минуты, Гариб!

Если сидишь — встань, если стоишь — не садись! Взнуздай коня и скачи день и ночь...» Запомнил?

— Да.

— А теперь езжай! Два месяца пути — туда, два — назад. Гариб только-только успеет прискакать! Спеши! Никуда не сворачивай с дороги!

— А бычьи шкуры? — спросил купец. Шасенем рассмеялась:

— Пока продашь бычьи шкуры, пройдет неделя. Ты же говоришь, что дня не можешь прожить без Гюль-Нагаль!

— Аллах свидетель, я спешил к Гюль-Нагаль, — сказал купец. — Все ночи в пути я не спал, скорбя о ней и стеная. Но в Ургенче были дешевы бычьи шкуры: мог ли не заехать туда?

— Вот и разминулся! Скачи же скорее к ней! И привези мне Гариба!

Купец сказал:

— За бычьи шкуры я выручу не меньше четырехсот червонцев.

— Ладно, — сказала Шасенем, — Давай твои бычьи шкуры!

Подружка подала ей сундучок, Шасенем вынула мешочек с деньгами и протянула купцу, Эзбер-ходжа сбросил с верблюда переметные сумы, позвеневав червонцами, повесил мешочек себе на шею — и за пазуху.

— Надеюсь, купец, на обратном пути ты не заедешь в Ургенч?

— В Ургенч нет, но я хотел посетить Бухару. Нынче там, говорят, дешевый урюк.

— Дешевый урюк, всемогущий аллах! — воскликнула Шасенем. — Я заплачу тебе всю цену не купленного тобой урюка, если ты поедешь домой, никуда не сворачивая, и привезешь мне Гариба!

— О роза среди роз! — воскликнул купец. — Я привезу тебе Гариба. Привезу! Мне известно, каково нетерпение любящих!.. — Он влез на верблюда. — ... У меня самого от ожидания, что увижу Гюль-Нагаль, сердце прыгает как птичка джикджикий!

И верблюд повез его, покачивая змеиною головой.

Он был еще жив, Гариб, но завидовал мертвым. Сидя перед лавкой Эзбера-ходжи, он пел:

О Шасенем! В моей гортани

Родился стон: что делать мне —

Исчезла милая в тумане,
И нет ее! Что делать мне?..

Вокруг заливался слезами народ:

— Это Меджнун... Новый Меджнун, тоскующий по Лейли...

На базар вступил караван, возвращающийся из дальних странствий. Гариб пел:

Вода и пища стали ядом.
Душа была цветущим садом, —
Но ледяным ударил градом
Небесный свод. Что делать мне?

— Гариб! — крикнул Эзбер-ходжа, подходя во главе каравана.

— Здравствуйте, Эзбер-ходжа! Они обнялись.

— Я думал, ты давно в Диарбекире! — сказал купец. — Ведь Шасенем послала за тобой Гюль-Нагаль!

Тут в дверях лавки показалась Гюль-Нагаль.

— О, владычица моего сердца! — возопил купец, подбежав к ней. — Целый год я твердил: «Ты — розы ветвь, я — пойманный соловей, песню любви поющий в петле, дорогая...»

Гариб тронул его за рукав:

— Эзбер-ходжа... Вы что-то хотели сказать про Шасенем...

— Ну да! И я удивляюсь, что ты еще тут! Разве не знаешь, что у нее назначена свадьба?

— Свадьба?!

— Да. Шасенем сказала: если вовремя не приедешь, она примет яд и умрет.

— Когда свадьба? — спросил одними губами Гариб.

— Понимаешь ли... — смутился купец. — В Бухаре был дешев урюк. И я...

— Когда свадьба?! — повторил Гариб. Ему ответила Гюль-Нагаль почти весело:

— Сегодня.

— Сегодня?! Эзбер-ходжа сказал:

— Да, в первую пятницу после осенних праздников. Значит, сегодня.

Дикими глазами Гариб посмотрел вокруг и со всех ног ринулся неизвестно куда.

— Гариб! — крикнул Эзбер-ходжа. Куда ты? Где Диарбекир, а где Халап-Ширван. Туда два месяца пути!

Но Гариб скрылся за поворотом улочки. Купец поглядел на ширванцев, слышавших и видевших все, махнул рукой:

— Этот сгорел от любви, — и спросил у Гюль-Нагаль. — Но почему ты ему не сказала про свадьбу?

— Пусть поплачет, — ответила Гюль-Нагаль. — За то, что меня оскорбил.

— Он осмелился?! Гюль-Нагаль усмехнулась:

— Нет, на это-то он не осмелился. Просто он сказал... Но я уже забыла, что он сказал: я не помню обид.

— Ты хорошая, — сказал Эзбер-ходжа и обнял жену.

Разве может сравниться чья-либо быстрота с быстротою влюбленного сердца? Мир велик, есть в нем пустыни, есть сады, есть реки, и есть даже моря. И помимо того, мир полон чудес. Едва Гариб выбежал за город, слышит — топот, глядит — рядом всадник сдерживает коня, и конь бьется в узде, будто в челку ему забрался муравей.

— Юноша, — спросил всадник. — Куда держишь путь?

— Я хотел попасть сегодня в Тебриз!

— Садись позади меня на коня!

Гариб вскочил на седло позади всадника.

— Закрой глаза!

Гариб обхватил руками всадника, зажмурился.

— Теперь открой!

Гариб глянул и не поверил себе: перед ним белели стены и минареты Тебриза.

— Виноват, я ошибся... Я хотел сказать, мне надо в Мерв!

— Верблюд хорош горбатый, а слово прямое! Закрой глаза... Теперь открой!

Перед ними блестели голубые купола и минареты Мерва, Гариб слез с коня и упал на колени:

— Виноват, трижды виноват: но ты знаешь, если человек решил лгать с утра, то должен лгать до конца. На самом деле мне надо в Диарбекир!

— Экой ты неверный! — сказал всадник. — Ну да что делать: прощаю тебя в последний раз. Садись!

Гариб опять взобрался на коня.

— Закрой глаза... Теперь открой!

И Гариб вскрикнул от радости: перед ним была Золотая крепость шаха Ахмада. Смеркалось, в небе загорались звезды. Гариб слез с коня:

— Кто ты, чудесный всадник? И как мне тебя отблагодарить?

Всадник приподнял надвинутую на глаза пастушью шапку, Гариб узнал его:

— Хидыр? Покровитель пустыни?!

Да, это был он в своей простой одежде.

— Возьми из-под копыт моего коня ком земли, — сказал Хидыр. — Если тебе не поверят, что был сегодня в Халап-Ширване, вели привести слепую: помажь ей глаза, и она прозреет.

Гариб наклонился, взял из-под копыт коня ком земли, поднял голову: всадник и лошадь исчезли.

30

Небо стало совсем темным и покрылось звездным бисером, когда Гариб добрался до кибитки своей матери. Остановившись у входа, он громко кашлянул:

— Мать! Ради странствующего твоего сынапусти переночевать.

И услышал знакомый голос:

— У меня нет сына. Он утонул. А для ночлега есть дома богатых. Ступай в Золотую крепость — там свадьба.

— Мать, я твой сын, — сказал Гариб и вошел. Решетчатый остов кибитки был едва виден в красном отсвете угасающего очага.

— Мой сын утонул. Говорят тебе, утонул! — сердито сказала мать. — Его нет в живых.

— Не говори так со мной, о матушка, не прибавляй горя к горю!..

Гариб раздул угли очага, заплясали отблески пламени, и в их свете увидел лицо матери: она была слепа.

— С тех пор как я рассталась с Гарибом, я не расставалась со слезами о нем и ослепла. Садись, коли вошел! — добавила она сердито.

Гариб сел, оглядывая убогие стены кибитки, взгляд его остановился на сазе, висевшем на решетке:

— Что это висит у тебя на стене?

— Любопытный ты гость, — проворчала мать. — Это саз, это значит, что на нем играют и поют.

— Позволь мне взять его в руки.

— Нельзя, это саз моего несчастного сына. Уже семь месяцев ничья рука не дотрагивалась до него.

Гариб взял в руки саз и тронул струны:

— Позволь мне, матушка, пойти с этим сазом на свадьбу. Я

там буду петь и играть, и все, что получу, принесу тебе.

— Не позволю, — сказала мать. — С тех пор, как нет моего сына, его саз не выходил из дома... — и добавила: — Хочешь идти на свадьбу — иди. Чего ждешь? Раз взял саз, так бери!

Перед Золотой крепостью шаха Ахмада теснился народ, из ворот доносились звуки свадебных барабанов. Какой-то старик, опершись обеими руками на посох, говорил:

— Таков этот мир: поет соловей, а роза достается колючкам.

А во дворце при свете факелов шел пир. Кто-то возгласил:

— Восхвалим невесту!

Все повернулись к положу, за которым скрывалась невеста.

— Она словно солнце в созвездии Близнецов! Будто луна в созвездии Рака! — начал восхваления рыжебородый домула Сеитнияз-мюнеджим, вновь допущенный ко двору.

— И я бы сказал про нее «месяц», да рот у нее есть! — подхватил другой визирь. — Сказал бы «солнце», да глаза есть!

— Ее красота такова, что она может сказать: «Ручей, остановись — я буду струиться. Луна, не свети — я буду сиять!» — сказал третий.

Заиграли музыканты. Нестройным хором кричали захмелевшие гости, Шавелед хвастал.

— Она так красива, что жаль коснуться ее немытыми руками!

А по ту сторону полога сидела Шасенем и держала чашу с шербетом. Позади нее в маленькую дверь вошла Гюль-Джамаль, сестра Гариба, она вынула из одежды сосудик. Шасенем подставила чашу, и Гюль-Джамаль дрожащими руками — каплю за каплей начала капать из сосудика яд.

Музыканты на пиру умолкли. Перекрывая шум голосов, распорядитель пира крикнул:

— Эй! Есть ли человек, чье сердце воспламенилось от любви? Кто споет нам песню?!

Из теснящейся в дверях толпы вышел Гариб с сазом в руках, его папаха была надвинута на глаза:

— Позвольте мне, бедному страннику...

Шавелед сказал ему:

— Хорошо споешь — награжу!

За пологом Шасенем поднесла чашу с ядом к губам, Гюль-Джамаль закрыла лицо руками и отвернулась. Но зазвучали слова песни, Шасенем замерла.

О пери, твои ресницы —
Ресницы милой моей.
Ты вся — подобье жар-птицы,
Жар-птицы — милой моей...

Гости громкими возгласами одобрили первый куплет. То подыгрывая себе на сазе, то щелкая пальцами по деке, Гариб пел:

Ты вьешься, как в море рыбка,
Ты станом играешь гибко,
Жемчужина твоя улыбка,
Улыбка милой моей...

Узнав голос Гариба, Шасенем отбросила чашу с ядом.
— Так-то ты держишь клятву?! — сказала Гюль-Джамаль. —
Значит, сегодня ты станешь женой Шавеледа?!
— Ты не узнала, а я узнала милый голос, — сказала Шасенем.
Гариб пел:

О черных кудрей мерцанье,
О поступь твоя джейранья,
О мускусное дыханье,
Дыханье милой моей!

Распахнув полог, Шасенем спрыгнула вниз:
— Держи меня, Гариб!
Гариб подхватил ее, гости вскочили. Шавелед кинулся к Гарибу с кинжалом, замахнулся — вонзить кинжал в спину, но десять рук вцепились в его руку, и кто-то сказал:
— Не обаграй кровью свою свадьбу. Пусть сам шах Ахмад судит его...

О сердце! У одних оно охвачено пламенем, у других сковано льдом. Гариб связанный стоял перед шахом Ахмадом, Шавелед ему говорил:
— Что у тебя, кроме саза и струн? Ты умеешь только, настроив саз, брэнчать на нем и драть горло. Как осмелился ты подумать о Шасенем?!

Но тут сказал шах:

— Эй, Гариб! Откуда ты взялся?

— Сегодня я был в Халап-Ширване да узнал про свадьбу и прискакал!

— Ты лжешь! — сказал шах. — От нас до Ширвана два месяца пути!

— Меня привез Хидыр на своем коне. Все засмеялись.

— На смех не ответишь смехом — смех обидится! — гордо сказал Гариб.

— А где доказательства? — спросил шах.

— У меня за пазухой.

— Развяжите его!

Ясаулы развязали руки Гарибу, он вынул из-за пазухи комок земли:

— Вот земля из-под копыт коня Хидыра. Приведите слепую, я верну ей зрение.

По повелению шаха два ясаула кинулись к выходу. Шах поглядел на Гариба, подошел к окну, кинул взгляд на площадь. Под куполом звездного неба бурлила толпа:

— Гариб... Ашик-Гариб... Гариб...

Ясаулы втолкнули в тронный зал старую Абадан, ее вела за руку Гюль-Джамаль. Гариб подошел к матери, провел по ее глазам комом земли. Абадан широко открыла глаза, ее неподвижный взор ожил, она крикнула:

— Гариб! — и упала сыну на грудь. Распахнулась дверь, вбежала Шасенем и бросилась шаху в ноги:

— Пощади Гариба, отец!

Шах посмотрел на дочь, глянул на окно, из которого несло: «Гариб... Ашик-Гариб...» и сказал:

— Как видно, придется его голову оставить на месте, иначе как бы я отдал тебя за него замуж, если у него не будет головы.

Шасенем подошла к Гарибу. Счастливые, они взялись за руки. А старик в воротах сказал так, что услышали все:

— Пусть глупцы дуют на звезды, все равно они не погаснут!

Я познакомился с Виктором Станиславовичем Витковичем в начале тридцатых годов, полвека тому назад, в столице Киргизии — городе Фрунзе. Он очень любил Среднюю Азию, любил Киргизию. Виктор Виткович был моим другом. Мы пронесли эту дружбу через всю жизнь.

Он был участливейшим из людей. Он был добр и

благороден во всех проявлениях своей прекрасной, чистой души. Он был заразительно жизнерадостен и предельно искренен в своих отношениях с людьми и в своем творчестве. Он любил людей и был любим ими.

Виктор Виткович был замечательным писателем. Его проза — еще одно свидетельство его дарования и высоких душевных качеств. Очень жаль, что он не дождался выхода этой книги.

Арсений Тарковский, май 1983 года